

Юлия Яковлева

УКРОЩЕНИЕ КРАСНОГО КОНЯ



Annotation

На дворе 1931 год. Будущие красные маршалы и недобитые коннозаводчики царской России занимаются улучшением орловской породы рысаков. Селекцией в крупном масштабе занято и государство — насилием и голодом, показательными процессами и ловлей диверсантов улучшается советская порода людей. Следователь Зайцев берется за дело о гибели лошадей. Но уже не так важно, как он найдет преступника, самое главное — кого за время расследования он сумеет вытолкнуть из-под копыт страшного красного коня...

- [Юлия Яковлева](#)
 - [Начало](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Последняя глава](#)
-

Юлия Яковлева

Укрощение красного коня

Начало

Раннее нежное летнее солнце всегда было городу к лицу.

В серых пожухлых домах на другой стороне проспекта появилось что-то легкое, бумажное.

Его сапожная будка быстро накалялась. На стеклах цвели пыльные пятна и потеки — не разглядеть толком прохожих. Внутри становилось душновато. Он двинул рукой по щеколде — пихнул дверь. Подпрыгнула и закачалась, стуча об стекло, табличка «Открыто». На тротуаре отскочил парень: чуть не ушибло дверью.

— Эй, старичок, размахнулся! Сам не рассыпся, — рассмеялся парень, поймав скрипучую створку.

«Старик?» — он не удержался, высунулся. Но только и успел, что поглядеть вслед. А туфли-то у наглеца, отметил мимоходом, уже летние, парусиновые. Упруго шлепали. Веселые такие, молодые.

Голову овевал невский ветерок.

Сапожник поглядел на солнце, прижмурился, сердито задвинулся обратно в будку. В станке пяткой вверх был зажат старый жеваный сапог со сбитым каблуком. Под станком валялись другие пациенты всех размеров и мастей, тянуло несильным, но стойким запахом немых ног. Граждане понесли в ремонт зимнее — убирают к лету.

Ковырнул шилом. Каблук совсем негодный. Да и сапог тоже. Ткни — развалится. Раньше такое выбрасывали.

О, это раньше. Много он знал о таких сапогах и их владельцах — раньше?

«Старичок»! Какой же он старик? Не обидно. Потому что неправда. О нем еще можно сказать: за пятьдесят.

И проспект этот, как его, дьявола?.. Володарского. Литейный он! Литейный! Ах, как сверкали на нем фонари перед шикарными доходными домами. Раньше. Как летали огненные рысаки под синими сетками. Раньше.

Вот здесь по соседству у него была холостяцкая квартирка. Маленькая, богат он никогда не был. Собирались по вечерам, свои, полковые. А дамы... Быстроживущие милые мотыльки полусвета. У нее были каштановые волосы. Влажный, арабский, что называется, глаз. Как только другие описывают красивых женщин? Он не умел. Он

их боялся. С той подлой истории... После той истории его словно пришибло. Вот кобылу описать — другое дело. Шея плавная. Холка короткая. Спина и поясница прочные. Постав ног правильный. Круп спущен умеренно. Как же ее звали? Кручина? Кинь-грусть? Дочка Силвер Винд и Ретивой. Все, все вспоминается, только начни вспоминать. А Ретивая, чья она была дочь?

Он поднял голову от работы. Но окна домов напротив никак не хотели подсказать. Смотрели в ответ как подслеповатые глаза погано состарившейся петербургской демимонденки. Ничего они уже не помнили. Бывшие апартаменты стали коммуналками: десять комнат на десять семей, общая ванная, общий туалет, общая кухня, общая мерзость. Даже пахли эти дома теперь как нищие опустившиеся старухи — мочой и ветхой плотью.

А прохожие топали, шаркали, цокали по проспекту мимо. Неразличимые в своей черно-серо-бурой, пыльной, стоптанной копеечной озабоченности. Носки, задники, подошвы. Ни одного элегантного, ловкого, кокетливого... Он с омерзением выругал себя за эту свою новую, такую советскую, имени Володарского привычку первым делом смотреть на обувь. Поднял взгляд. На лица. Но и лица, плывшие мимо, были под стать штиблетам.

Он снова занялся работой. Поддел каблук клыками молотка, шваркнул по ручке ладонью и сорвал его ко всем чертям.

По стеклу постучали.

И снова — проклятая привычка! — он сперва посмотрел именно на туфлю. Лакированный нос встал на порог будки. Пыхнуло сладким и душным. Под нос сунулась квитанция. Он взял, изучил через очки лиловатые закорючки. Сверился с полкой. Вернул бумажку.

— Не готовы.

— Как это не готовы?

Туфли новые, без заломов даже — а ступни широкие, лицо непропеченное. И новенькая шляпка не помогала. Баба, манька. Такой никакое ателье «Смерть мужьям», никакой закрытый распределитель, никакие талоны высокопоставленного мужа, никакой «Торгсин» — ничто не поможет. Класс-гегемон.

— Не готовы.

Он попробовал закрыть дверь. Лакированный нос не дал. В дверь уперлась мощная рука. «Сложение сырое, с наливками», —

профессионально и презрительно отметил он. Таких кобыл браковали. А баба верещала:

— Вчера должны быть готовы! Сволочь, вредитель чертов. При мне тогда делай! С места не сойдешь, пока не сделаешь! Да я тебе покажу! Ты у меня кровью захаркаешь! Гад!

Брань лилась из накрашенного рта. Красная «о», жирный шрифт.

Он таких мильон раз видал. Их он не боялся. Спокойно перевернул табличку: «Закрето». Снял фартук. Отпихнув бабу плечом, вышел. Демонстративно посмотрел на часы. Под носом у нее навесил замок. Щелкнул дужкой. И пошел по проспекту имени дьявола Володарского. По Литейному. Брань летела вслед, но не долетала.

Чем хорошо быть сапожником — никто не страшен. Работа найдется всегда. А падать ниже все равно уже некуда.

Лестница обтрепалась, как и весь Петербург за годы советской власти. Но даже и такая, пованивающая, изуродованная по стенам масляной краской домоуправа, с давно содранным ковром и загаженными ступенями, оставалась петербургской лестницей. Он замедлил шаг. Прикрыл глаза. Поразительно.

На этой лестнице у него всегда было чувство, что он не поднимается на второй этаж, а выходит из воды. И вода эта смывала все: проспект Володарского, будку, советские словечки, советские привычки, мерзость, отчаяние, тоску. На площадку второго этажа он вступал уже тем, кем был, — постаревшим, но подтянутым и худощавым отставным поручиком N-ского полка. Любителем рысаков.

Он предпочитал считать себя худощавым. Не тощим.

Дверь в квартиру открылась почти сразу. Будто Александр Афанасьевич поджидал. Обменялись улыбками. Молча прошли по темному захламленному старьем, сундуками, тазами коридору. Мимо дверей, за которыми обитали соседи. Александр Афанасьевич пропустил его в свою комнату. На полсекунды плеснул рокот разговоров и то неопределенное бряцанье, смешки, звон, стук, шорох, которыми всегда сопровождается пир. И дверь опять надежно защитила все эти милые звуки. Мягко чмокнула каучуковая лента-присоска, наложенная по всем четырем сторонам.

Пир уже радостно набрал обороты.

Его все приветствовали. Протягивали ему руки через стол. Полковые товарищи. Только они и не вызывали в нем ужас и отвращение, как все остальные люди, после той истории. Он пожимал руки. Быстро с улыбкой отвечал. Порхали смешки, обрывки разговоров. Он уже отодвигал стул. Ему уже наливали. Стукнулись бокалы. За длинным столом их уместилось больше дюжины. Шум переплетался с сизым табачным дымом.

— Ах, дорогой, повтори это еще раз и громко.

— Господин ротмистр! Еще наливочки?

На тарелках было что-то серое. Еда бедняков. Они все теперь бедняки, мелкая шушера — вахтеры, счетоводы, сторожа. Куда еще возьмут бесправного «бывшего», царского офицера? Зато тарелки, бокалы, скатерть, вилки, ножи — хорошего дома. А воспоминания — подлиннее и живее событий дня. Только и слышалось:

— А помните?..

— Господи, благослови вас, Шура, что вы серьезно занимались музыкой.

— Не меня! Не меня! — крикнул седоватый толстячок Александр Афанасьевич, Шура — князь Одоевский. Однополчанин. — Жену мою покойную. Она, бедная, музыку терпеть не могла. Нервы! Дверь пришлось везти из Италии вместе со скрипкой, — хохотнул он.

Все знали этот секрет: комната предназначалась для музыкальных упражнений хозяина, Шуры, князя Одоевского. Его после революции в нее и уплотнили — как в самую маленькую, скромную, почти бедную. Дуракам-пролетариям в голову не могло прийти, что отделка этой кельи обошлась Одоевскому дороже, чем будуар нервной супруги со всеми финтифлюшками. Стены, пол, потолок, дверная коробка — все было искусно изолировано от прочей квартиры. Тоже итальянский мастер работал, между прочим. Специально выписанный. Не комната — музыкальная шкатулка. Ни звука не могло из нее просочиться во вне. Туда, в эсээрию.

— Что, можно и спеть?

И тотчас баритон громко затянул:

— Боже, царя храни! Сильный, державный!

Ткнули в бок, баритон закашлялся. Это вызвало новый взрыв веселья. Незамысловатые уютные шутки.

— Вы прервали большую оперную карьеру!

— Что?

Ему все-таки стало слегка не по себе. Как не по себе может стать человеку на стеклянном мосту: вроде и опора под ногами, но вдруг...

— А это не опасно? — Показал глазами на стены: соседи.

Шура захохотал. И сам же громко подхватил:

— Царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам!

Звон бокалов не дал ему докончить. Радостно сталкивались над столом голоса:

— За тебя дорогой!.. Ваше здоровье!.. Мир этому дому!.. За музыку! За твою скрипку! Что бы мы все без него делали!.. Эти наши собрания для меня — единственная отдушина... Лишь бы не в последний раз!..

Все тянули друг к другу бокалы. Все чокались. И он протягивал. И он чокался. Но вдруг отвел свой бокал. У толстого человека с круглой седой бородкой в ответ сразу напряглись плечи. Рука так и осталась протянутой, блеснуло пенсне на шнурке. Лицо гостя слегка побледнело, но он сделал вид, что не было оскорбления. Поднял бокал, приветствуя, доброжелательно выговорил:

— Что же это вы, Юрий Георгиевич? Далеко тянуться?

— Нет, — холодно отчеканил он. Голос теперь тоже был другой — настоящий. Не тот, что каждый день отвечал советским гражданам, принимая штилеты: «Поглядим-с». Его собственный. Каждый звук по-петербургски отчетлив:

— Я с вами, господин Бутович, не имею охоты чокаться.

Никто в звоне, стуке, разговорах не заметил заминки. Но хозяин, Шура Одоевский, уловил сбой в весело и привычно работавшем механизме. Поспешил к обоим с бутылкой.

— У всех полны чаши? Всего в досталь, господа? — Весело и гостеприимно он поглядывал то на одного, то на другого. Но под гостеприимством сквозила тревога.

— Не знал я, Шура, что ты пригласил сегодня одного нерукоподаваемого господина, видишь ли.

Лицо Бутовича окаменело.

— Полно, Юрий Георгиевич, — выговорил он. — Мы все теперь одно. Стоит ли петушиться?

Юрий Георгиевич вскочил так быстро, что разговор за столом разом умолк. Замерли ножи и вилки, застыли бокалы. Только

тоненький дымок струился вверх из неподвижной сигареты в чьих-то пальцах.

— Не одно мы, господин Бутович. Я большевикам не служу. С комиссарами не якшаюсь. В отличие от вас.

— Я служу не большевикам! — разом вспыхнул Бутович. — Я служу лошадям! Если бы я не остался при конном заводе...

— В своем имении. При своем конном заводе, — презрительно поправил его Юрий Георгиевич.

— Я боролся не за свое имение.

— За свою шкуру, — последовало холодно.

— За лошадей! Да, я боролся! За орловского рысака.

Бутович обвел глазами стол, ища поддержки.

— Это... это нечестно. Вы прощаете другим. Карьеру при советах. А мне — не прощаете? Или здесь другое? Что? Та история? Неужели та история?!

Но едва встречался с чьим-то взглядом, взгляд этот затягивался льдом. Поначалу они еще старались делать вид, что не замечают «слона в комнате», — ради драгоценной редкости их встреч, ради гостеприимного Шуры, ради их прошлого. Но теперь не скрывали чувств. Били презрением.

— Хорошо. Допустим. Признаю. В той истории я перегнул. Но сколько уже можно? Неужели вы не видите главного? Я их спас! Лошади не погибли! Великая русская порода не погибла! Линия великого Крепыша не погибла для России! Потому что я трудился. Боролся! А где все это время были вы, Юрий Георгиевич? Вспоминали своих никчемных американских метисов? Пили горькую и оплакивали судьбу?

Но молчание уже сковало комнату. Даже добродушнейший Шура глядел тяжело и осуждал, одновременно словно извиняясь — уже как хозяин перед гостем — за собственную ненависть.

Бутович встал, бросил салфетку, поймал рукой выскользнувшее стеклышко пенсне. И вышел из комнаты, когда-то давно, в другой жизни обитой итальянским умельцем звуконепроницаемой пробкой.

Вышел обратно в Ленинград 1931 года.

Глава 1

Ольга Дмитриевна снова переложила большую ватную рукавицу, на этот раз с правого края стола на левый.

— ...И самое возмутительное, что эти так называемые специалисты не смыслят ни-че-го. Вы бы видели, что за материал они привезли! Уму непостижимо! И это на валюту!

Из ее слов Зайцеву следовало самому додумать, что валюту советское государство в данном случае профукало.

Рукавица была похожа на огромную кухонную прихватку, только намного толще и длиннее. Трудно было представить, что Ольга Дмитриевна натянет ее на свою худую руку и пойдет трепать, кружить на рукавице очередного пса, сомкнувшего челюсти.

Фамилия Ольги Дмитриевны при этом была Кошкина.

— Где они только раскопали этих шелудивых дворняг! — возмущалась она. — Недотепы! Рвутся руководить, а знаний, опыта — ноль.

— Видимо, немецкие товарищи оказались не такими уж товарищами, — миролюбиво отозвался Зайцев. — Раз подсунули дворняг.

Ему не терпелось уйти. Все, что нужно, он от Ольги Дмитриевны уже получил. Список членов и инструкторов клуба служебного собаководства при ОСОАВИАХИМе лежал на столе под его рукой. Жег руку.

Кто-то из этого списка был дружен с Алексеем Александровичем, спятившим любителем искусства. Картины он любил больше, чем людей. Картины, которые Эрмитаж продавал за ту самую проклятую валюту. За картины Алексей Александрович убивал людей. Выкладывал их телами мизансцены эрмитажных шедевров. И если бы не полез со своим творчеством на Елагин остров, где товарищ Киров задумал разбить парк культуры и отдыха, так бы и пропадали в Ленинграде люди не за грош, так бы и оседали странные убийства в архиве нераскрытых дел.

Хотя какое уж тут «бы», какое прошедшее время! Самое настоящее: Алексей Александрович не пойман, растворился на

просторах советской страны. И даже трупы собак, которыми он травил Зайцева и Нефедова, унесла в Финский залив Нева.

Убийца, которого он остановил, но не поймал.

Убийца, которого он поймает.

Одна зацепка все же осталась: собаки. Идеально выученные служебные псы. Таких в Ленинграде немного. От собаки потянется поводок к человеку.

Таких людей, знатоков собак, еще меньше. Кто-то из этого списка. Тот, кто тренировал собак спятившего эрмитажного убийцы. Или отдал ему выученных псов. Или приручил к нему собак. Или научил его с ними обращаться. Или просто знал — как знают друг друга любители почтовых марок, редких кактусов, голубей. И породистых псов.

Возможно, Алексей Александрович больше не опасен. Трудится бухгалтером в каком-нибудь Рыбинске. Парк на Елагином благополучно возведен и принимает трудящихся, тешит их культурой и отдыхом. И даже преступление Алексея Александровича оплачено. Другими, невиновными.

Кого-то, например начальника Ленинградского угрозыска, бывшего гопэушника Коптельцева, это устраивало. Но Зайцев не принимал плату фальшивыми купонами. Не собирался бросать расследование.

Зайцев, не особенно скрывая, поглядел на часы над головой Ольги Дмитриевны. Представил долгую, темную, муторную дорогу обратно в угрозыск. По солнечной слякоти до платформы, потом электричкой от Фарфоровой. Зайцев, не особенно скрывая, поглядел на часы над головой Ольги Дмитриевны. Хорошо бы успеть на поезд до того, как из проходной Фарфорового завода хлынет очередная смена. Скрипнул стулом. Вид у Ольги Дмитриевны был интеллигентный, но намек она не поняла. Ее страсть к немецким овчаркам была выше условностей.

Она пылала:

— ...Естественно! А свои глаза на что? Конечно, когда нет знаний, опыта, то о чем речь. Только и достоинств — пролетарское происхождение! — выпалила она. И осеклась. Рука, маленькая и белая, замерла поверх грубой серой рукавицы.

Зайцев поспешил на выручку — сделал вид, будто не расслышал. Сменил тему. Подсунул ей список.

— Ольга Дмитриевна, а что, вот эти товарищи давно у вас работают?

Та слишком поспешно схватила листки в синих грядках букв. Слишком сосредоточенно принялась читать. Глаза опустила. Только заалевшее ухо выдавало. И еще рукавица — она снова переехала с края на край.

— Грачев, он у нас... Попова пришла после... Коробов начал как... Штиглиц, — бормотала она, — дай бог памяти...

Зайцев уже смирился с тем, что придется давиться вместе с возвращающимися в город работягами. Имена шуршали, сеялись. Усыпляли, как шум дождя. Одно звякнуло особенно увесисто. Зайцев пробудился, сперва решил, что ослышался.

— Эдгар фон Дюренбург? — повторил он.

Кошкина недоуменно подняла лицо: а что? Зайцев внутренне подивился, что на четырнадцатом году революции, после красного террора, чисток, высылков в советском учреждении, каким Клуб служебного собаководства при ОСОАВИАХИМе, безусловно, был, еще могли забыть осколок прошлого с таким вызывающим именем.

Кошкина прочла выражение его лица.

— Это ее дог — по кличке фон Дюренбург, — терпеливо-надменно пояснила она. — Первый приз на выставке 1914 года. А хозяйка — Палицына, Наталья Дмитриевна Палицына. Наш инструктор.

По уважению в ее голосе Зайцев понял, что товарищ Палицына могла похвастаться знаниями и опытом, а вот пролетарским происхождением — совершенно точно нет. Зайцев внутренне усмехнулся, не выдержал:

— Извините. А Штиглиц — тоже дог?

Кошкина одарила его убийственным взглядом.

— Это наш инструктор. Товарищ Штиглиц. Энтузиаст, преданный делу, — отчетливо произнесла она голосом, от которого ложились на брюхо немецкие овчарки и беспородные пустобрехи, по дурости купленные на государственную валюту.

Зайцев не стал донимать ее вопросами, не тем ли Штиглицам он родственник, Штиглицам-миллионерам и баронам? Вернее, бывшим миллионерам и баронам, бывшим владельцам бывшего дворца в Соляном переулке, ныне здания художественного училища.

Губы товарища Кошкиной сжались в ниточку. Ясно: тем самым.

Зайцев забрал лежавший перед ней список. Убрал за отворот пиджака. Он чувствовал, как в детской игре в горячо и холодно: тепло, тепло. Хвостик поводка, который вел к Алексею Александровичу, явно торчал здесь. Одна из синих фамилий. Что ж, найдем этот хвостик — потянем.

Он поблагодарил товарища Кошкину со всей возможной сердечностью.

Зайцев хлюпал по жиже, чувствуя, как спину напекает солнцем.

— Гр-р-па! — па!

Он чуть не взвился на месте. Лохматая собачонка скалилась, норовила тяпнуть за икру. А поделывать ничего не могла — цепь.

— Гр-р-р-па! — па!

Зайцев ухмыльнулся. Таких волкодавов тренируют, а на цепи — черт знает что, скамейка для ног. С опозданием заметил, что ощутил удар гадливого ужаса, когда шавка залаяла. Ужас прошел. Гадливость — нет.

Он не успел в этом разобраться. Позади стукнула фрамуга, и голос Кошкиной громко позвал:

— Товарищ Зайцев!

— Гр-р-р, — не унималось около будки, где-то под ногами. Позванивала цепь.

Он обернулся.

— Вас к телефону, — неестественно пискляво сообщила Кошкина.

Что еще за фокус? Может, о чем-то подумала, передумала и теперь решила поговорить с глазу на глаз? О чем?

Он зачавкал по грязи обратно. Ботинки уже отяжелели от глины.

К его удивлению, черная трубка действительно лежала на столе. Кошкина сделала в ее сторону знак бровями. Демонстративно отошла, мол, не слушаю. Сняла с вешалки и принялась натягивать толстую ватную куртку. Куртка была продрана в нескольких местах, торчала грязноватая вата. Не хотелось воображать зубы, которые это сделали.

Зайцев остановился с трубкой в руке. Вспомнил шумное звериное дыхание, легкий бег к реке — за ним. Ощущение бьющегося животного в руках. Ледяные объятия реки, еще не сбросившей лед. Серебряные пузыри изо рта.

Кошкина ответила вопросительным взглядом на его слишком долгий.

Зайцев отвернулся, поднес трубку к уху.

— Зайцев. Слушаю.

Он на миг понял, что готов был услышать голос Алексея Александровича.

Ухо защекотал тенорок Крачкина.

— Вася? Хорошо, что застали тебя.

— Я уже еду.

— Пряник разбился, — гробовым тоном произнес Крачкин. И умолк.

— Какой Пряник? — Молчание. — Ты что, пьяный? — попробовал пошутить Зайцев. Но от молчания в трубке веяло чем-то настоящим.

— Поезжай прямо на Семеновский ипподром, — быстро выдавил Крачкин.

Разъединили.

— Все в порядке? — вежливо спросила товарищ Кошкина, застегивая петли своей чудовищной куртки.

* * *

Крачкин не только был совершенно трезв, но даже не шутил. Все лицо его, вся фигура словно подобралась и сжалась. Он был расстроен. Видно было даже издали, едва Зайцев спрыгнул с трамвая у бывшего Семеновского плаца.

Там еще до революции разбили ипподром: поставили павильон, сколотили трибуны, насыпали беговые дорожки.

А еще раньше — вешали людей. Политических преступников.

Крачкин поджидал у входа. Махнул рукой.

Зайцев подошел. В несколько мгновений он перелистнул свою память, как перелистывают одним движением книгу — фр-р-р-р. Но не припомнил никого по кличке Пряник. Ни вора, ни притонщика, ни

бандита, ни беспризорника, ни морфиниста, ни скупщика краденого, ни мелкого жулика. Ни жучка-букмейкера.

На ипподроме играли — по-крупному, по-мелкому и совсем уж микроскопически деля одну рублевую ставку на двоих. Ставили официально — в кассах. И неофициально — у тут же вертевшихся жучков. Эту компанию Зайцев не знал. Здесь облапошивали, да, но не убивали, потому вторая бригада этой публикой не занималась.

— А нас-то почему вызвали?

— Хоть «здрасьте» бы сказал.

— Здравствуй, Крачкин.

— Ты подумай, — пробормотал Крачкин, пропуская его вперед. И огорченно покачал головой.

На полу пустых трибун сквозняк гонял бумажную поземку. Смятые, разорванные билетки битых ставок валялись повсюду. Зайцев пнул ногой бумажные хлопья.

— Играют, — подтвердил Крачкин.

Казино в городе позакрывали совсем недавно, вместе с нэпмановскими ресторанами и прочими значными частными лавочками. Но азарт за пару лет из граждан выветриться не успел. Ипподром, вернее его тотализатор, остался единственным в Ленинграде местом, где всякий, не только оперный Герман, мог убедиться, что наша жизнь игра и сегодня ты, а завтра я.

Маячила фигура милиционера в форме, выставленного на всякий случай.

Зайцев уже видел свернутый остов коляски, беспомощно задравшей два искалеченных колеса. Наездник в полосатой куртке лежал лицом вниз.

Его можно было принять за брошенный с большой высоты манекен. Руки врозь, ноги носками наружу. На лицо осела пыль, моментально свалывшаяся в крови. Бахнула магниевая вспышка рядом, запечатлевая положение тела. Но Зайцев уже и так впитал все детали. Он замедлил шаг. Хотел присесть рядом с телом. Но Крачкин вдруг толкнул его: дальше, мимо. Там уже стояли все. Зайцев удивленно повиновался. Подошел.

Люди расступились, впустили его. Крачкин присел к плоской горе, накрытой простыней. Скорбно и бережно отвел край полотна.

— Какая потеря, — покачал он головой. — Какая удивительная лошадь.

Зайцев увидел острые уши, разметавшуюся гриву на мощной шее в потеках высохшего пота, огромные ноздри на лепной голове. Медно-коричневый блеск шкуры, наконец, осветил в его памяти нужный факт. Перед ним лежал легендарный рысак по кличке Пряник — данной, как легко догадаться, за масть.

Резкий угол, под которым была повернута голова, говорил, что шея лошади сломана.

Зайцев нахмурился.

— Какая потеря, — повторил Крачкин.

Зайцев оставил Крачкина покачивать головой, а других в последний раз глядеть на знаменитого жеребца-рекордсмена. И вернулся к трупку наездника.

Милиционер, поставленный для острастки зевак, двинул по забору кулаком. Помогло на несколько секунд, и к щелям снова прилипли глаза. Несчастья всегда привлекают толпу.

Ворота ипподрома уже впустили санитарную машину, та описала дугу по пустой беговой дорожке. Санитары выгрузили носилки. Терпеливо дожидались разрешения забрать тело в морг.

Самойлов неприязненно глянул на Зайцева и снова уставился на разбитую куклу в полосатой куртке. Показал пальцем на смятые восьмеркой колеса поодаль.

— Вылетел из коляски. Ударился о борт. Хрясь — и тю-тю.

— Несчастный случай на производстве? — пробормотал Зайцев.

— Он. Лошадь то ли споткнулась, то ли ногу подвернула. Короче, полетела через голову на полном скаку. Коляска штопором. Вылетел из нее только так. Не повезло человеку.

— Свидетели?

— Полный ипподром.

— М-да. Бедняга.

— Коня жалко.

Зайцев рассердился: дался им всем этот конь.

— Лошадь, Самойлов, животное, конечно, симпатичное. Четыре ноги, пятый — хвост. Только какого черта нас сюда выдернули?

Несчастный случай. И, как всегда, в панике звонят в уголовный розыск. Хотя достаточно «Скорой».

— Он не мог споткнуться! Он просто не мог!

Зайцев и Самойлов обернулись одновременно. К ним спешил толстенький невысокий пожилой человек с круглой седой бородкой. От бега из кармана выскользнуло пенсне, болталось на шнурке, хлопая по серому кривому пиджачишке. Видно, служащий ипподрома.

— Пряник не мог споткнуться, — запыхавшись выпалил толстяк. — Не такая это лошадь!

— Мог не мог. А споткнулся, — буркнул Самойлов. — Вы, товарищ, кто?

— Вы из уголовного розыска, верно? Все верно? Потому что это я вас вызвал!

Самойлов рассердился.

— И напрасно сделали, гражданин. За ложный вызов, между прочим, мы вас самого привлечь можем. Несчастный случай, а вы нас от дел отрываете.

— Он не ложный! Не несчастный! Не споткнулся! При таком правильном длинном беге, как у Пряника, это исключено.

— Со всеми бывает, — буркнул Самойлов.

— Убийство! Среди белого дня — убийство!

— Погодите. Вы кто? — прервал его Зайцев.

— Я Бутович.

С таким видом, будто все его знают.

— Очень хорошо. — Самойлов сделал знак милиционеру, гонявшему зевак. Мол, прибери, твой кадр.

— Имя-отчество у вас есть, товарищ Бутович?

— Бутович. Яков Иванович.

— Товарищ, мы запишем имя и фамилию, — примирительно ответил Зайцев. И даже показал блокнот.

— Гражданин, отойдемте. — Милиционер потянул его за локоть.

— Вы должны меня выслушать! — Гражданин Бутович, очевидно, почувствовал в Зайцеве поддержку и теперь не сводил с него черных горячих глаз. — Тело Пряника должен немедленно осмотреть ветеринар! Судебный эксперт! Уверяю вас! Надо взять анализы! Обмерить! Его нужно сфотографировать, пока не поздно!

— Зачем? — искренне удивился Зайцев.

— Как? — вскинул брови Бутович. — Это же шедевр!

Терпение у Самойлова лопнуло.

— Вы дворник? Техник? Кассир? Работник ипподрома? Нет? Проводите гражданина за территорию. Свидетельские показания снимем в свою очередь. Если понадобится.

Последняя фраза ясно говорила, что показания Бутовича Якова Петровича уголовный розыск заинтересуют вряд ли.

Не слушая протесты, милиционер повлек толстяка прочь. Доносилось: «Он уникален! Его скелет необходимо тщательным образом обмерить и сохранить для нужд селекционной работы!..»

Самойлов хмыкнул:

— Скелет, ага. Сейчас. Плешь уже проели эти городские сумасшедшие. И у каждого, главное, свой гик...

— Кто это, уже известно? — перебил Зайцев. Кивнул подбородком на тело.

— А как же, — удивился Самойлов. — Леонид Жемчужный.

Зайцев фыркнул.

— Правда, что ли? Жемчужный. Ишь ты. Прямо артист актеатров. Небось до восемнадцатого года каким-нибудь Жопкиным был. Или Козлицевым.

— Деревня ты, Вася. Жемчужный гремел, когда ты еще пешком под стол ходил. Наездник высшей категории. Тренер, инструктор Высших кавалерийских курсов Красной армии, между прочим. Не хухры-мухры.

— Только что-то, я погляжу, насчет коня больше здесь огорчились. — Зайцев кивнул в сторону толпы, все еще окружавшей павшего рысака.

— Ох и деревня же ты, Вася. Говорю, деревня. Нет в тебе страстей. Рыбья кровь. Не игрок ты, не романтик, — балаболит Самойлов по старой привычке. Но Зайцев чувствовал разницу: с некоторых пор Самойлов подтрунивал над ним, как бы изображая Самойлова, который балаболит. Никуда стеклянная стена не делась.

И вдруг тон Самойлова потеплел. Стал настоящим, без всякой стены. Взгляд мечтательно остановился.

— Пряник, — потянул он. — Раз увидишь — не забудешь. Вот идет. Так и вымахивает. Весь в струночку. Ногами как ножницами режет. На голову обходит, потом на полкорпуса, на корпус. И голову только несет как...

— А ты, гляжу, поэт. Денис Давыдов.

— Кто-о?

— Конь в пальто.

Самойлов надулся. Глянул на тело.

— А что этот? С ним все просто. Когда Пряник полетел через себя, этот из коляски — фьють! Ударился о борт. Хрясь — и нет товарища Жемчужного. М-да. Что смотришь рыбьим глазом опять? Эксперт говорит: перелом у основания черепа, травма головы, множественные ушибы... Можно забирать?

Зайцев сел на корточки над телом наездника.

— Дело ясное, — нетерпеливо проговорил Самойлов. — Преступления не имеется. Несчастный случай. Гибель на производстве.

Наездник как будто слушал, прикинув ухом к земле, где его лошадь. Один глаз закрыт, другой полуприкрыт. Кровь уже обволокло пылью. Ладони беспомощно смотрят вверх. От тела веяло одиночеством — еще более глубоким, чем смертное. Зайцеву стало досадно. Все толпятся у лошади, пусть хоть трижды прекрасной, резвой, выдающейся, но все же просто лошади. Хотя тут лежит человек.

Он выпрямился, постоял, словно бы воздавая мертвому последнее внимание. И махнул санитарам.

— Можно забирать.

* * *

Солнце било в окно, обещая летнюю легкость вставания. Наискосок стоял столб золотистой пыли, на паркете лежал нагретый прямоугольник. Зайцев еще несколько мгновений постоял в солнечном свете, чувствуя ступнями нежное тепло дерева, всматриваясь в золотые шары и тени, плывшие за закрытыми веками. Но дурное чувство не прошло. Вчера было что-то не так. В клубе собаководов? Он увидел что-то, чего не заметило сознание? Что? Или мутный осадок оставил сон, которого он не запомнил?

Дурацкая лохматая собачонка?

Что-то вчера было неправильно, не так. Не то.

Зайцев наклонился, подцепил из угла за ухо чугунную гирию. Радио тарашилось безмолвным черным глазом. «Помнишь ли ты?..» — нежно упрекал всю квартиру тенор. Играло у соседей. Немного медленно, но сойдет. Гирия вздымалась, отмеряя такты.

Стукнул гирию обратно в угол, повесил на шею полотенце. Выудил из ящика комода хлеб и чай.

И чуть не налетел в дверях на дворничиху Пашу. Она стояла, занеся вверх кулак.

— А я собралась стучать.

За мощной спиной маячила женская фигура. Паша чуть посторонилась, обернулась к ней.

— Чего стоишь, дурак понюхал, что ли? Бери! Вишь, он с полными руками.

Женщина, не поднимая на Зайцева глаз, забрала у него свертки. Что-то промычала. И тотчас унеслась на кухню. Зайцев успел разглядеть ситцевую спину, узел на затылке.

— Кухарку тебе наняла, — тихо буркнула Паша.

— Че-го?

Еды у Зайцева дома почти не водилось. Бегать по магазинам и стоять в очередях ему все равно было некогда. По давнему уговору он выдавал карточки и деньги Паше. Она сама прихватывала ему в магазинах ежедневную ерунду — хлеб, чай и что повезет: сахар, масло, кильки, мармелад, иногда картошку. Зайцев никогда не спрашивал сдачи. Обедать он предпочитал в столовой угрозыска.

— На черта мне кухарка? Хлеб резать?

— Да ты не бойсь. Спать она будет у меня. В углу за занавеской.

— Паша, ты что, спятила? — бросил он ей уже вслед. Ознакомив его с последними изменениями в хозяйстве, Паша мощно, как баржа, выдвинулась по длинному полутемному коридору мимо соседских дверей из квартиры.

Женщина и правда вернулась с горячим чаем. По виду — деревенская. Лицо худое, обветренное, изрезанное глубокими морщинами. В Ленинграде столько солнца на лицо за всю жизнь не соберешь.

И рука, державшая блюдце, грубая, жесткая. На блюдце — ломти хлеба. Зайцев успел полностью одеться. Даже в пиджак влез. Женщина молча поставила все на стол. На чай и хлеб старательно не смотрела.

— Вы не завтракали? — догадался Зайцев.

Женщина все так же отводила глаза. Промямлила: «Не голодные мы». И выскользнула.

— Вас как зовут? — бросил вслед Зайцев. Но слова ударили в поспешно закрытую дверь.

Он отодвинул стул. Пиджак стеснял. С вольными одинокими завтраками в трусах и в майке отныне, похоже, покончено.

Он отложил пару ломтей хлеба в сторону. Очевидно, что деревенская женщина была голодна и, очевидно, стеснялась. Пусть поест, как будто никто об этом не знает.

— Что за чертовщина? — вслух спросил он.

Несколько раздраженно поболтал ложкой в чашке. Больше по привычке: сахара сегодня не было. Но решил выбросить эту новую странность из головы как минимум до вечера, когда сможет выяснить все у Паши без соседских — любых посторонних — ушей.

Какая еще кухарка?

* * *

Преступником может быть каждый — классовых предубеждений у Зайцева не было. Никаких предубеждений вообще. Он видел всякое: девятилетних детей-убийц, профессоров-воров, женщин-взломщиц, мужчин, промышлявших хипесом — подсыпавших снотворное или наркотик женщинам на свидании, а потом обкрадывавших жертву. Возможности зла, как показывала практика, были безграничны.

Поэтому он внимательно прочел список, полученный в клубе собаководства. Не исключая никого. Сверху донизу. Ни одной фамилии нельзя было исключить только лишь потому, что на слух она была явно пролетарской. У преступников тоже нет предубеждений. Может, за кружкой пива Алексей Александрович предпочел бы интеллигентную компанию себе подобного. Но идя на преступление, не погнушался бы

никем. Одна из фамилий в этом списке принадлежала человеку, который помог убивать. Помог, возможно, сам о том не зная. Адреса прилагались.

Зайцев прикинул: обойти всех? Или всех вызвать? По дверному косяку постучали. Зайцев поднял голову. Тотчас просунулась рука, махнула листками.

— Экспертиза. Торопили — получите!

Тон был недовольный. Бочком протиснулся незнакомый плотный человек. Матово блеснула лысина. Незнакомец положил листки Зайцеву на стол. На толстом волосатом мизинце блеснул перстенок.

— Не понял, — произнес Зайцев. Он ничего не ждал. Тем более никого не торопил.

— А я вам сейчас объясню, — скороговоркой брюзжал незнакомец. — Я на ночную вахту из-за этой спешки вашей был вынужден остаться. Я фамилии своей даже позвонить не успел, чтобы предупредить. Моя супруга ревнива, я и на это пошел. Я, товарищ, готов работать сверхурочно на базе исключения. На базе постоянной я так работать не готов! Понятно? Я не посмотрю, что я здесь четвертый день. Я уволюсь!

Теперь Зайцеву стало яснее. Это, стало быть, их новый эксперт. На столе лежал отчет о вскрытии.

Вот только никакого вскрытия он не запрашивал.

— Вы же тут у нас товарищ Зайцев? — напирал толстяк. — А то я не всех товарищей еще в лицо знаю... Ну так я вам и докладываю.

Зайцев нахмурился.

Оказывается, какое-то дело к его приходу на службу не только уже было открыто, но даже поручено ему. «Вы ко мне по ошибке», — хотел миролюбиво заметить Зайцев. Но фамилия «Жемчужный» уже прыгнула со страниц, размашисто подписанных новым экспертом.

Вчерашний наездник. Кто-то приказал в страшной спешке выпотрошить беднягу, вчера свернувшего себе шею на глазах множества свидетелей. И открыть дело. И даже закрепил это дело за ним, Зайцевым. Кто-то. Начальства теперь — когда слили милицию и ГПУ — стало много.

Но зачем огород? Случай ведь очевидный, прав Самойлов: гибель на производстве. Полный ипподром свидетелей.

Вслух он, прямо и весело глядя новому эксперту в глаза, сказал другое:

— Да. На такую выдающуюся и быструю работу в этих стенах способен мало кто. Полное обследование!..

Тон его был таким восхищенно-сердечным, что ворчун с шумом пыхнул. Он, видно, много еще чего хотел сказать, но не стал.

— Нашли что-нибудь интересное? — спросил Зайцев.

А в мыслях билось: странно, странно, странно.

Толстячок опять пыхнул. Но уже кивнув подбородком на страницы, то есть по адресу покойного:

— Печень умеренного алкоголика. В остальном — спортсмен.

— А причина смерти? — Зайцев с любопытством листал страницы.

— Перелом шейных позвонков. В результате удара при падении.

Никаких сюрпризов. Отчего же сыр-бор?

Смутное чувство беспокойства стало ярким, как мигающий маяк. Странно, странно, странно. Поручить столь стремительную экспертизу, приказать работать всю ночь мог только высокий начальник.

Но вслух Зайцев только опять поблагодарил эксперта, подлив в голос восторга.

Тот что-то буркнул, но по лицу видно было, что похвалы его умаслили. В бурчании можно было расслышать «всего хорошего». При желании.

— До свидания! И спасибо! — крикнул Зайцев вслед.

Лицо его снова стало озабоченным.

Он вспомнил свой недавний — беглый, но совершенно серьезный — разговор с Коптельцевым. «Справишься — молодец. Не справишься — тебе давно уже место в камере». Зато никто из своих не пострадает...

Итак, ему скинули глухое дело. Стоп. Какое уж тут дело, если нет убийства? Есть только очевидный несчастный случай на глазах множества свидетелей.

Чего от него хотят? Чего добиваются?

Заключения «состав преступления не обнаружен, расследование считаю нецелесообразным, дело закрыть»? И его, Зайцева, подписи?

Слишком уж кто-то торопится это дело закрыть, причем его, Зайцева, руками. А торопится — потому что кто-то другой торопится тоже, но только это дело открыть, дать ему ход.

И он, Зайцев, угодил между двух разнонаправленных волей.

Только в одном он был теперь уверен. Пахло это скверно.

Несколько минут тупо смотрел на собственные руки, замком лежавшие на столе. Успокоился. Заставил сознание погрузиться в комнату без окон и дверей. Пустую. Где нет ни тюрем, ни подлости, ни страха, ни суетных конторских забот, ни косых взглядов коллег, ни их прямого молчания. Главное, нет страха.

А что есть?

Что сказал эксперт о смерти наездника Жемчужного? Перелом шеи в результате падения?

Еще есть инстинкт.

Зайцев не закрыл глаза. Он все равно смотрел — и уже не видел перед собой ничего: ни стола, ни собственных рук, ни печи в углу, ни дивана с «чертовой кожей».

Вокруг была пустота.

Пустота опадала и вздымалась в ритме его дыхания. Сперва из бархатистой нестрашной пустоты проявилась опрокинутая беговая коляска. Колеса задраны вверх, погнуты. Потом плоский и все равно громадный труп лошади. Красивая, под страшным неживым углом вывернутая голова.

Вот уже два возможных орудия убийства.

Зайцев взял телефон. Попросил соединить с ипподромом. Дождался ответа, представился. Дождался, пока секретарь директора попадет по рычагу испуганными пальцами.

— В сарае коляска? — быстро и холодно бросал в трубку Зайцев. — Не трогали? Уверены? И сарай заперт? Превосходно. Ничего не трогать.

Он уточнил еще одну деталь. Сбросил рычагом звонок. Потом по внутренней связи распорядился отправить на ипподром техника.

«Состав преступления не обнаружен», «эксперт заключил», «дальнейшее расследование считаю нецелесообразным»... Этого от него сейчас добиваются?

Не добьются.

Когда вокруг играют слишком напористо, сложно и хитро, лучше всего действовать как можно проще и прямее.

Значит, будет вам расследование.

Зайцев снова ударил пальцами по рычагу. На этот раз попросил соединить его с Ветеринарным институтом.

Туда, как сообщил директор ипподрома, вчера увезли — для научных исследований и обмеров — труп знаменитого представителя орловской рысистой породы, шедевр сложной селекции — жеребца по кличке Пряник.

Глава 2

Бежать теперь нужно было в трех направлениях сразу. Разбитая коляска стояла на ипподроме. Мертвая лошадь лежала в холодильнике Ветинститута. Третья цель была ближе всего — по коридору в кабинете, где заседал Юрка Смекалов. Вернее бригада, ведавшая игроками, притонами и прочей такой шушерой.

Зайцев на миг задумался, с которого начать.

И выбрал четвертое.

— Вам назначено? — пискнула из-под фикуса секретарша, но из-за узкой юбки не успела быстро вскочить и остановить визитера.

— А как же, — законопослушно ответил на ходу Зайцев. Стукнул для вида и тотчас распахнул дверь к Коптельцеву.

Тот был один. Поднял голову от стола. И Зайцев сразу заметил мгновенное изменение, что-то вроде легкого паралича, тотчас сковавшего лицо в приветливой гримасе. Коптельцев был явно не рад его видеть.

Зайцев без приглашения уселся напротив. Просиял в сторону шефа. Со стороны могло казаться, что беседуют добрые товарищи.

Коптельцев выслушал, бросил на стол карандаш.

— Ты что, Вася, спятил? У нас и так нехватка кадров повсеместно.

Их взаимный тон мог обмануть постороннего, но друг друга они обмануть не могли. Глазки Коптельцева, подпертые жирными щеками, щурились недобро и испуганно. «Как на бешеную собаку смотрит, — холодно думал Зайцев, наблюдая. — Пришиб бы от страха. Да кого-то он боится еще больше». Рот его при этом выговаривал какую-то служебную белиберду:

— Ввиду того что... разрядка... в соответствии с использованием человеко-часов...

Слова прыскали из него легко, как из-под клавиш бойкой машинистки. И такие же казенные, положенные, протокольные.

Теперь Коптельцев уже не был загадкой, как тогда в 1929-м, когда его «вдруг» назначили начальником Ленинградского уголовного розыска. Вернее, перевели. Из ленинградского же ГПУ. Угрозыск тогда

трясло. Прежний начальник, Леонид Петржак, покончил с собой. Но трясло не от этого. Покончил Леонид Станиславович, потому что проворовался. Нечего в угрозыске воровать, кроме промокашек? Ошибка. А склад улик? А склад изъятых материальных ценностей? К рукам Петржака прилипло, должно быть, немало, раз он сам понял: не выкрутится. Зайцев догадывался: воровал-то поди не один, делился. И делился хорошо так. С важными людьми. Раз понял: живым не уйти.

А шуму тогда в городе из-за этого было много.

Тогда Коптельцев на всех произвел вполне сносное впечатление. Дурачки. На его послужной список смотреть надо было — тогда. Коптельцев десять лет отслужил в ГПУ. Укоренился. А отчего его вдруг перебросили на угрозыск, через год и выяснилось: угрозыск влили в ГПУ. То, что при царизме называли «тайной полицией», «гороховыми пальто», подмяло под себя честный уголовный сыск. Отныне не было в Ленинграде уголовки — все теперь могло стать «политикой». Украл — контрреволюция, убил — террор, обжулил — вредитель. Не было больше преступника, которого нельзя было бы сделать врагом народа.

«Пришиб бы тебя, пришиб», — читалось на лице Коптельцева. Да зуб неймет.

И Зайцев смотрел в ответ единственно возможным в такой ситуации взглядом — открытым и ясным взглядом комсомольского дурака.

Выделить кадр Коптельцев все же отказался наотрез.

— Нет так нет, — мирно согласился Зайцев, вставая. Задвинул стул.

— Ты, Вася, тоже не король сыска тут, между прочим. Сотрудника ему выдели... На всех нагрузка, — ворчал Коптельцев.

«Я еще узнаю, кто это ему прижал хвост. Выяснится», — подумал Зайцев, выходя.

Этот кто-то, по-видимому, и накрыл его, Зайцева, стеклянным колпаком. Но точно так же мог и снять. Дать раздавить.

Зайцева это как раз не беспокоило. Много может случиться с человеком, если он служит в уголовном розыске. Например, финский ножичек. В любой день.

Зайцев давно научился об этом не вспоминать.

Закрыв за собой дверь кабинета (секретарша опять трепыхнулась ему навстречу — и опять упала обратно на стул в своей узкой юбке), Зайцев тут же направил стопы в комсомольское бюро.

Товарищ Розанова — активистка местной комсомольской ячейки — оторвалась от газеты.

Глядя тем же ясным и открытым взглядом и чувствуя внутри холодное веселье, Зайцев завел тот же мотив. Только слова были другие: «комсомолец», «способный сыщик-оперативник», «показал себя», «прозябает на канцелярской работе», «куда смотрит актив».

Актив переспросила:

— Комсомолец? Как его фамилие? Нефедов?

Она совершенно не помнила Нефедова по их случившемуся однажды культпоходу в Русский музей — тогда они бегали в поисках картин, но Розанова думала, что ведет культработу среди сотрудников. Она сделала несколько закорючек в тетради.

— Разъясним товарища, — пообещала она.

* * *

Зайцев понадеялся, что других дел у Розановой сегодня нет и она ринется спасать комсомольца из лап рутины. Розанова была идейная. Коптельцев любил секретарш в узких юбках, с завивкой и парфюмом. А таких баб-кувалд, как Розанова, особенно чесавших языком как по газетной передовице, ненавидел и боялся. И поэтому им уступал.

Но пока бегать приходилось своими ногами. И Зайцев ринулся по лестнице вниз.

Юрку Смекалова он, к счастью, застал на месте. Тот одним пальцем бил по машинке — писал отчет.

— А, Вася, здорово. — Он протянул поверх каретки руку. На указательном пальце краснела зарождающаяся мозоль. Казино с проспектов исчезли, а игроки, каталы, жулики — нет. Просто играли теперь все больше по квартирам, в подпольных притонах. Стучать по машинке Юрке приходилось не меньше, чем при НЭПе.

Он рад был прерваться.

— А то! — поднял пшеничные брови в ответ. — Как же не слышали.

И покачал головой.

— Вот жаль, так жаль. Такая смерть дурная. Глупая. Какая лошадка!.. Птица! Чего?

Зайцев почувствовал, что его опять задело. Вот и Юрку, похоже, мало занимало, что при этом погиб человек. Вот и он тоже: какая лошадь!

— Да ничего. Я не знаток.

— Ой, зря! Такая лошадь!.. Выдающаяся. Ни одного проигрыша. Да чего уж теперь.

Юрка подавил зевок. Внешность у него была от природы такая, что хоть рекламу какао Эйнема с него пиши: румянец, кудри. Вот только работа все больше ночная, бессонная. Кудри сейчас напоминали мочало, под глазами — круги, румянец можно принять за цветение алкогольных пятен. Не реклама Эйнема, а жертва есенинского разврата.

— Ты сегодня спал? — сочувственно спросил Зайцев.

Юрка мотнул головой, опять зевнул, не размыкая челюстей.

— Ладно, ты ж не о лошадках трепаться поди пришел. Чего?

— О лошадках, представь.

— Ну?

— Баранки гну. Ты мне скажи как конский специалист.

— Да какой я специалист! Просто Пряника не знать — это как не знать... Как Уланову не знать! Эрмитаж не знать!

— Ладно, ладно, устыдил. Вот этот Пряник ваш выдающийся. Ни одного проигрыша. А если бы он раз — и проиграл?

— Я бы удивился.

— А кто-то при этом на него поставил. Причем неслабо так.

— На него все ставили, дураков нет. Только выигрыш все равно мизерный. Раз все ставят.

— Ага, — кивнул Зайцев. — Вот так это, значит, устроено?

Юрка оживился.

— Если явный фаворит, то это как пойти и в магазине купить: вот деньги — вот товар. Приятно, но радости мало, — принялся рассуждать он. — Или как с женой это самое. Все знаешь наперед.

— Ты это, в половую тему не углубляйся.

— Пошел ты! Я объясняю по-человечески. На доступном материале. В лошадах-то ты не шаришь.

— А, ну ладно. Валяй. Раз на доступном. Я за культпросвет.

— Так вот. А если вдруг вышло бы так, что ты угадал победителя, которого никто не ждал, то и выигрыш — ого!

— А сколько?

— А это ты на ипподроме спроси. У них учет полный. Котел после заезда опрокидывают и все по книгам бухгалтерским разносят: кому, сколько, за кого.

«Угу», — буркнул Зайцев. Судя по голосу директора ипподрома, кое-что в такие книги не записывалось.

— Хорошо, Юрка. Это все складно. А если, допустим, один — да поставил не на него. Не на Пряника вашего расписного. И вовсе при этом не дурак. А умный человек. Ушлый, я бы даже сказал. Допустим, знал он, что именно в этот день Пряник не выигрывает.

— Пряник не выигрывает?

— Придет вторым. Споткнется. Задержится. На сантиметрик вот такой. — Зайцев показал пальцами. — На секунду да отстанет.

Вид у Юрки был сомневающийся.

— И знал наш человек это наперед, из надежного источника. И даже сам с этим источником договорился выигрыш поделить.

— А, вот оно что. Думаешь, сговорился Жемчужный на заезд.

Юрка с удовольствием вытянул спину, хрустнув суставами, заложил руки за голову, показал острые локти — один продранный. И посмотрел на Зайцева весело-маслянистым взглядом жулика.

— Нее. Быть такого не могло.

— Да ладно. Серафимы у вас там, что ли, на ипподроме?

— Да нее, не серафимы. Просто незачем им. Им и под Усами тепло.

Зайцев сделал вид, что понял. У каждой бригады свои словечки, свой жаргон. Не хотелось зря показывать себя чужаком.

— Тепло, да, может, кому и потеплее хочется. Копеечка-то поди не лишняя. Тем более рублик.

— Рублик! Сотенка тогда уж. Если не тыщонка. Фаворита-то обскакать.

— Вот и я о чем.

— Нет, — вдруг твердо отсек Юрка, выпрастывая руки. И даже весь как будто выпрямился, подобрался. — С Усами не пройдет. Сразу прочухают. Мы тотализатор ипподромовский сами знаешь как пасли поначалу? Особенно как казино закрылись. У-у. И агентов внедряли. И наблюдали. И подкатывали сами. Нет. Усы там такого шороху навели, что ты! Секут ведь все. Без дураков знаток. Народ тамошний это тоже понимает. Если бы кто из наездников лошадь придержал, Усы бы сразу прочухали: на лошадей-то глаз алмаз. И все, привет труженикам Соловков! И рублики бы свои выигранные пересчитать этот твой источник не успел бы.

— Но ведь играют там...

— Играют, — перебил Юрка. Потер глаза, обведенные тенями. — Государство не запрещает.

— Скажешь, все там честно?

— Не скажу все. Но мелочь копеечную мы не гоняем, все равно новая тут же набежит. Не, пока там Усы на трибуне, чисто там. И нам облегчение, вот. — Он кивнул на машинку. — И без ипподрома писанины хватает.

Зайцев глядел на него во все глаза. Он был так изумлен услышанным, что не знал, как половчее уточнить.

— А Усы... часто на трибуне-то?

Юрка, казалось, не замечал его удивления.

— Усы-то? Да как приезжает за надобностью какой на Высшие кавалерийские курсы здешние, так и на ипподром заглянет. Уж непременно. Частенько то есть, да, — хохотнул он.

Зайцев опешил. Не только от самого факта — больше от речей Смекалова, видимо настолько одуревшего от бессонных ночей, что потерявшего всякую осторожность. Зайцев понизил голос:

— погоди, Юрка. Ты что же, хочешь сказать, что товарищ Сталин в Ленинград...

— Сталин?!

Юрка загоготал так, что ремингтон отозвался тоненьким звоном.

— Сталин? Ну, Заяц, ты даешь. Ха-ха! — Юрка утер пальцем увлажнившийся уголок глаза и, наконец, смог выговорить. Глаза у него стали совсем проснувшиеся, хохот Юрку освежил, как холодная вода. — Это ты, мол, Усы? Слушай, Вася, я тебя, конечно, уважаю, ты мужик неглупый, но это уже такой анекдот, что я и рассказать никому

не расскажу — антисоветчина. Буденный! Я о товарище Буденном — маршале Буденном говорю.

* * *

Зайцев валил по лестнице. Ему было досадно на себя, но и смешно тоже. Усы, да уж. На месте Смекалова он бы тоже ржал.

На портретах усы у прославленного маршала-кавалериста товарища Буденного и правда были выдающиеся — две огромные, удало топорщившиеся метелки. Не усы, а переведенные под нос бакенбарды.

Зайцев стучал башмаками по лестнице, размышлял. А как их мыть — часто, редко? Расчесывать? Смазывать надо или нет? Чем? Сами ли они по себе так стоят? Сколько времени требуется, чтобы вырастить эдакое украшение? И каждому ли оно доступно или ограничено природой?

Лестница спускалась в прохладный полумрак вестибюля. Недавно объявили неделю экономии электричества. Только на касках дежурных милиционеров за стойкой лежали солнечные блики, проникавшие через окно. Зайцев отразился в дверном стекле светлым привидением. Он не выдержал. Бросил взгляд на дежурных: нет, головы склонены. По утрам в угрозыске сравнительно тихо. Зайцев, глядя на себя в темное стекло, быстро приложил под нос по два пальца, средний и указательный.

И чуть не подпрыгнул — боковым зрением заметил внизу разворачивающееся движение. Сердце ухнуло. Остроухая тень. Стукнули когти — Туз Треф. Пес, очевидно, дремал на прохладной плитке, пока вожатый дул свой чай в столовой. А теперь вскочил, приветствуя знаконца. Ожидал ласки. Тускло блестел в полумраке нос. Зайцев видел, что это Туз Треф. Видел знакомые круглые рыжие брови. Видел блики в глазах-вишенках. Слышал, как ходит туда-сюда хвост.

Но сумел выдавить только:

— Здорово, друг.

И поспешно толкнул дверь и выкатился наружу.

Весело уже не было. Липкий, гадливый ком, который он тогда почувствовал в клубе, снова стоял внутри.

* * *

Зайцев держался за кожаную петлю. Переполненный трамвай звенел всеми своими кишочками. Будто черно-серые гроздья пассажиров, висевшие на обеих площадках, тянули его назад. Внутри тоже давка, но все-таки свободнее.

Ехали по Лиговке в сторону окраины. Злачные места. Зайцев смотрел и не видел серые обшарпанные дома. Ком внутри рассосался. Осталась досада. Милый, смысленый Туз Треф — и все равно ведь нахлынуло это омерзительное ощущение мощных мышц под руками, этой дикой, извивающейся животной жизни, которую нужно прекратить во что бы то ни стало...

Зайцев отвернулся, стал глядеть на пассажиров. Ни на кого в особенности — взгляд плавал по озабоченным замкнутым лицам. Но все-таки это был взгляд сыщика. Парень поодаль, в спортивной футболке и клетчатой кепчонке, ничем не отличался по виду от других парней в кепке. Точно так же раскачивался вместе со всеми и вместе с трамваем, точно так же держался за кожаную петлю. И все же Зайцев сразу отметил: вор.

Щипачок был еще молодой. Может, и в картотеке нет. Зайцев наблюдал. Трамвай тряхнуло. Щипачок упал на дородную тетку с сумкой. «Пардон», — и задвигался, извиваясь в переполненном проходе, к выходу. Некогда, одернул себя Зайцев. Возвращаться на Гороховую с щипачком на буксире, сдавать, оформлять, терять несколько часов ему сейчас было совсем некстати.

В любом расследовании первые-вторые сутки решают, уйдет ли следствие в прорыв или дело повиснет.

Не было у него этих лишних часов.

Тетка все так же стояла. Большая, хмурая. Зайцев гадал, что там могло быть в ее кошельке. Рублишки, карточки да, может, дешевое зеркальце. Какой ленинградец не знает о карманниках? При себе кошелек держать надо, гражданочка. Отвернулся. Юрка Смекалов прав, убедил он себя: мелюзгу не переловишь, все равно сразу новая набежит.

Город жил своей жизнью, как лес или река. Через запыленное, в потеках окно Зайцев увидел, как щипачок спрыгнул, не дожидаясь остановки. Обокраденная женщина все так же устало глядела перед собой.

Трамвай перенесло через стоячую вонь Обводного канала. Дома лепились все еще плотно, по-городскому. Но за окнами все чаще мелькала зелень. В трамвае стало больше света. Зайцев прикинул: пора выгребать. Двинулся к выходу. Но внезапно повернул, цепляясь за петли, за поручни, тесня плечом пассажиров.

— А, это вы! А я смотрю, вы или не вы, — дружелюбно обратился он к обокраденной. — Тетка глянула подозрительно. А Зайцев уже нырнул рукой за борт пиджака. — Я же вам два целковых был должен. Ну так вот.

И быстро сунул ей в руку мятые бумажки. Она спорить не стала. А глаза чуть блеснули. Зайцев мысленно ухмыльнулся. Пусть думает, что повезло, дурак какой-то перепутал. А потом, обнаружив, что кошелек фукнули, сможет вздохнуть философски и даже поделиться вечером с соседками на кухне: вот ведь день, и не знаешь, где прибыло, где убыло.

И соскочил с трамвая.

Голову оведал совершенно деревенский воздух. Валялась подсолнечная шелуха — лузгать семки было любимой радостью местных обитателей. Водка и пиво, конечно, тоже, но и семки — здесь уже почти была деревня. Сквозь мостовую пробивалась трава. Ботинки сразу же припудрило мягкой пылью. В просвет за серым забором белело развешенное белье. Высоко поднимала лапы курица. От деревьев дышало свежестью. Как только треньканье трамвая удалилось совсем, Зайцев услышал в тишине пение жаворонка.

Среди деревянных домишек здание Ветеринарного института казалось случайным, неуместно городским, как шкаф, который выгрузили приехавшие на лето дачники.

Мощное, высокое, добротное. Ложноклассическая осанка махины говорила об академической родословной, которая уводила в царские времена, когда институт был учрежден.

Зайцев быстро нашел главный вход.

Милиция, уж конечно, нечасто навещала этот институт. Но визит сотрудника угрозыска не удивил, скорее озадачил. Зайцев иронически подумал: оттого что здешние пациенты не пожалуются. Вахтер торопливо набрал номер. «Да вы присядьте», — шепнул он Зайцеву, кладя трубку. Зайцев поднял ладонь, мол, ничего, все в порядке.

Вскоре на площадке высокой лестницы нарисовался юнец. Ассистент, лаборант. Или просто студент.

— Вы товарищ Зайцев? — переспросил он, хотя других товарищей рядом не наблюдалось. — Идемте за мной, я вас провожу к профессору Савченко.

Зайцев почему-то приготовился к запаху животных и госпиталя. Псины и хлорки. Но пахло в коридорах лишь солнцем, мастикой и канцелярией. Профессор Савченко тоже был похож больше на чиновника, чем вивисектора.

— Так-так-так, — выслушал он. — Пряник, да. Выдающийся представитель породы. Исключительный результат исключительно грамотной селекции. А что случилось?

— Вот это мы и выясняем, — пожал плечами Зайцев. — А что, это обычная процедура? Я имею в виду: лошадь сразу же отвезли сюда...

— Необычная, конечно! — всплеснул руками Савченко и тут же сцепил их замком на животе, придав себе вид лектора.

«Вот как?» — хотел сказать Зайцев. Но понукать профессора не требовалось — лекция уже началась.

— Обычно мы принимаем трупы, если есть подозрения. Если лошадь пала. Была больна и заболевание ее может быть инфекционным. Знаете, в условиях города и городского извоза любой случай инфекции...

— Так Пряник был болен? — перебил Зайцев.

— Здоров. — Глаза профессора Савченко блеснули. Он почувствовал внутри толчок шутки. — Здоров, так сказать, как конь!

Шутка была рассчитана на студенческую аудиторию, и Зайцев пропустил ее мимо ушей. Он немного подался вперед.

— Что же тогда необычного?

— Не что — кто! Лошадь. Лошадь необычная! Исключительный экстерьер. Правильность сложения. Ровный нрав. Великолепный ход в упряжке и под седлом. Резвость. Исключительная резвость.

— Так это, товарищ Савченко, мне представляется, очевидные качества. Видные невооруженному глазу. Зачем же вскрывать лошадку?

— Это вы, дорогой мой, действительно не понимаете. Внешние, как вы говорите, качества есть сумма внутренних. Объема легких, размеров и веса сердца. Все важно: особенности кровеносной системы, состояние желудка и кишечника. Обмеры костей. Состояние суставов и связок. После смерти Пряник представляет собой сумму ценнейших сведений. Как для советского животноводства, для селекции орловской породы, так и для науки о лошадях как таковой.

Зайцев выпятил губу, покивал с уважением, мол, дела.

— А сумма сведений эта... Что же, можно мне с ней ознакомиться?

— А вам-то зачем? — простодушно удивился профессор.

Зайцев вполне его понял. Он не знал, чего ищет, что думает найти. Пожал плечами:

— Работа такая. Интересоваться.

— Господи, если это как-то в чем-то вам поможет... Ради бога, молодой человек, ради бога. — Он высунулся в коридор. Остановил кого-то, перекинулся словами. «Товарищ из милиции интересуется» и «Кольцов проводил вскрытие?» — донеслось до Зайцева. Обернулся в кабинет: — Вот, пожалуйста, вас проводят.

Опять светлые канцелярские коридоры. Солнечная пыль, гул шагов и запах мастики.

Зайцев бесчисленное количество раз бывал в морге. И пока шел за сероватым халатом по коридорам и лестницам, представлял себе железный стол на колесиках, плоскую огромную тушу с четырьмя твердыми копытами на странно тонких сухих ногах. Но ошибся.

Товарищ Кольцов за своим письменным столом тоже больше напоминал чиновника.

— Вот. От Савченко. — Серый рукав махнул Зайцеву. Он так и не успел рассмотреть лицо провожатого.

— Здравствуйте, товарищ, — полувопросительно выговорил Кольцов. Широкой ряшкой с коротким носом и баками он походил на кота. Круглые глаза смотрели внимательно на внезапного посетителя и не находили ответа. Не студент, не лаборант, не извозчик, не веттехник, не колхозник — кто?

— Вы из газеты? — наконец, предположил Кольцов. Приподнял свое широкое, несколько прямоугольное туловище, протянул крепкую ладонь. Зайцев пожал — сильная. На носу красные жилки: поддать любит. На вид Кольцову было хорошо за пятьдесят.

— Ленинградский угрозыск. Зайцев.

Глаза сразу как изнутри захлопнулись, это Зайцев заметил мгновенно. Это, впрочем, не значило ничего. Возможно, товарища Кольцова просто бесило, что его отвлекают по пустякам.

— Угрозыск? Сава... Товарищ Савченко, — недовольно поправился он, — сказал только, что вы насчет Пряника.

Под Кольцовым снова скрипнул стул, приняв плотно сбитое тело.

— Все верно. Просто мелочи уточнить хочу. Все-таки лошадь знаменитая.

Кольцов все еще смотрел на него как издалека. Это еще не делало его в чем-либо виноватым. Мало кто рад беседовать с милицией. С уголовным, тем более, розыском.

— Знаете, с такими знаменитыми лошадьми все равно как со знаменитыми людьми, артистами там, учеными или писателями. Все советские граждане перед законом, конечно, равны, но... Знаменитая персона поневоле привлекает внимание. Вы же понимаете, о чем я, верно?

Взгляд не смягчился. Так он, наверное, смотрит на студентов, которые на экзамене лупят мимо темы билета. Надо менять пластинку.

— Да, лошадью Пряник был действительно выдающейся, — без охоты согласился ветеринар.

— Вот-вот, — другим тоном заговорил Зайцев. — Я сам человек не азартный, но даже я, знаете ли, не пропускал его выступлений. Только лишь на чудо природы посмотреть. Даже не знатоку понятно. Вот уж правда — Холстомер.

Он сделал паузу. И на этот раз угадал: интеллигентный милиционер расположил Кольцова несколько эффективнее, чем милиционер-дурачок или милиционер-обыватель.

— Присаживайтесь. Что же вы стоите, — спохватился, показал ладонью Кольцов. — А что вас интересует?

— Вы проводили замеры. Вскрытие...

Кольцов все молчал — ждал вопроса. «Однако. Калач», — подумал Зайцев, глядя в желтоватые рысьи глаза. И, опасаясь, что этот Сусанин поведет его в болота иппологии, быстро предупредил:

— Вопросы селекции и породы в данном случае меня не интересуют.

— Что же интересует уголовный розыск?

Молчание. Баки чуть светились на солнце, валившем в высокое старинное окно без занавесок. Кот, понял Зайцев. Кот, который с каменным терпением ждет мышь. Кажется, он почти дремлет. Почти уже Будда. Как вдруг — молниеносный удар лапы. Да, с таким бессмысленно ходить вокруг да около. Он так может часами сидеть. С таким лучше прямо.

— Я хотел бы посмотреть отчет о вскрытии. Вы ведь составляете такие отчеты?

Кольцов кивнул.

— Все как у людей. Чем, по-вашему, лошади отличаются?

Он принялся приподнимать за уголок папки и бумаги, стопкой лежавшие на столе.

«И что я там собираюсь прочесть, кроме букв? — уныло подумал Зайцев. — Ладно, там как-нибудь разберемся».

Кольцов перекинул Зайцеву тоненькую папку.

— Я заберу, с вашего позволения. — Зайцев положил сверху ладонь, а сам не сводил глаз с товарища Кольцова. Тот не сморгнул, не отвернулся. Только двинул плечом.

— Мне все равно. Это копия.

Ему было не все равно, это Зайцев понял. Кольцов напрягся. Но давить на товарища Кольцова, особенно сейчас, не имело смысла. Все равно что давить на железный шкаф. Сейчас надо было просто уходить. Зайцев поднялся. Сунул папку под мышку. Сердечно поблагодарил за помощь.

Кольцов приподнял в улыбке губу. Зайцев в ответ фальшиво просиял.

«Что же тебя так взволновало, товарищ Кольцов? Что ты там увидел?» — уже в коридоре задал себе вопрос Зайцев. Он отошел к

окну. Кольцов запирался, ясно. В разговоре с милиционером люди могут делать это по тысяче разных причин, и только некоторые — потому что виноваты. Кольцов совершенно точно был в смятении. Но почему? Зайцев пролистал отчет. Он зря опасался каракулей типично докторского почерка, отчет был уже перепечатан машинисткой. Но толку? Ясной выглядела только схема лошади, на которой быстрая и точная рука Кольцова отметила какие-то синие стрелки, неровные овалы. Какие? Что отметила?

— Эй, — крикнул он. — Да, товарищ, вы.

Товарищ был совсем зеленый. Лет двадцати, может, и того меньше. Длиннолапый и тощий, как вдруг вымахавший щенок. Фалды халата были мятыми — отсидел в библиотеке, должно быть.

— Товарищ, — сверкнул Зайцев удостоверением, — я из милиции.

На безусом лице мелькнула тревога. Зайцев поспешил ее развеять.

— Вы не подскажите?.. Вот бумажку получил. А что в ней написано — ни черта не смыслю. Все слова понял, а не понял ничего. Наука. Хоть головой о стену бейся.

Это молокососу польстило. Вид у него стал до смешного надменный и знающий. Он завел руки за спину.

— Вот тут что говорится? — Зайцев протянул страницы, позаботившись, чтобы палец его прикрыл слово «Пряник».

— Посмотрим, посмотрим. — Студент быстро побежал глазами по строчкам, изредка прыгая на рисунок и обратно. — Что это с вашей лошадкой случилось? — участливо спросил он.

— Умерла, — простодушно ответил Зайцев. — На полном, можно сказать, бегу. А на вид такая здоровая.

— Ого. Не такая уж здоровая.

— Что такое? — всполошился «простой мильтон». — Что вы говорите?

Палец студента-ветеринара показал на схему. Губы сложились в трубочку и неумело изобразили свист. Голос зазвенел:

— Легкие по взвешиванию показали почти тридцать килограммов!

— А сколько надо?

— Четыре с половиной. Пять, может. Лошадь-то какая была?

— Хорошая, — огорченно признался Зайцев.

Студент осклабился.

— В смысле — скаковая, гужевая?

— Скаковая. Породистая, — добавил Зайцев.

— Тогда и все шесть с половиной кило могли быть. Но тридцать! Вы что там с ней в милиции делали?

— Это как же тридцать? — волновался милиционер-простак. — Раздуло его, что ли? Это как понимать? А что, тридцать килограмм — от этого лошади умирают?

— Тридцать — это значит, что его легкие были переполнены кровью. Да ваш коняга захлебнулся жидкостями собственного организма. Вот, смотрите.

И показал пальцем на два слова.

Зайцев сунулся к вахтеру.

— Позвонить здесь откуда можно?

— А вам к кому? Я соединю.

«Этому все надо знать», — беззлобно подумал Зайцев. Начальству его, точнее. Посвящать вахтера, а с ним и товарища Савченко Зайцеву не хотелось.

— Мне по городскому.

Тот с неудовольствием кивнул на телефон, висевший на стене. Зайцев отошел. Потрепанный тощий справочник Ветеринарного института вежливо лежал тут же, на маленькой полукруглой приступочке, прибитой у аппарата. Номер Зайцев нашел быстрее, чем выудил из кармана звонкую мелочь.

— Кольцов, — неприветливо пригласил собеседник.

— Причина смерти — коллапс легких. Легкие Пряника в момент смерти были переполнены кровью, — быстро и серьезно проговорил Зайцев. — Он в буквальном смысле слова задохнулся.

Пауза. Длинная-длинная, хватит, чтобы могло прекратиться само время, а ты сам — стать Буддой.

Наконец Кольцов бросил:

— Поднимитесь. Нет, не надо. Я спущусь.

* * *

Руки без папиросы занять было нечем. Зайцев сунул их в карман, облокотился на шершавый ствол, подставил лицо солнцу. В зеленых кронах трещала мелкая птичья дребедень. Кольцов был без пиджака. Зажав папиросу зубами, закатил рукава сорочки. Заговорил — папироса запрыгала в углу рта:

— Я только не пойму, с каких пор уголовный розыск интересуется, отчего умирают лошади?

Кольцов поглядывал на Зайцева сквозь завесу сизоватого дыма — в теплом воздухе она едва колебалась. Изучал. Зайцев ему не мешал. Он видел перед собой железный шкаф. Такой только или взломать, или дать ему открыться самому. Найти ключик, комбинацию шифра. Зайцев не спешил. Ломать товарища Кольцова он не собирался.

— Погиб наездник.

Кольцов, затягиваясь, кивнул, мол, слышали. Выпустил дым.

— Что же здесь уголовного? Печально, но бывает. Служба такая.

Так с ним можно кружить часами — шерочка с машерочкой. Такой закружит. Если захочет. И Зайцев прямо посмотрел ему в глаза.

— Вы мне скажите, что здесь уголовного.

Кольцов пожал плечами.

— Я не знаток законов. Я больше по ветеринарной части.

Сочетание однако — железный и скользкий. Зайцев внимательно смотрел на него. «Сейф, и все же ты стоишь здесь со мной, разговариваешь. Пытаешься узнать — но что? Пытаешься сказать — но что?»

— Хорошо, считайте, порча социалистического имущества.

— Коня-то?

— Пряник был собственностью конеководческого колхоза.

Кивок из-за дыма, мол, допустим.

— Товарищ Кольцов, я понимаю так. Скаковые лошади — они вроде спортсменов-разрядников, верно? Выше, дальше, сильнее. В здоровом теле — здоровый дух. Отличная форма. Курение исключено. Как и другие вредные привычки.

— Насчет курения это верно, пользы здоровью — ноль, один вред. — Кольцов загасил окурок об подошву. Прицельно бросил в каменную урну и только тогда добавил: — Пряник был совершенно здоров. Великолепно здоров.

— И все же коллапс легких. Я не специалист, вы меня поправьте, если я не так что-то понял. Но вот у нас спортсмен-разрядник. Ничем не болел. И вдруг упал и умер от коллапса легких. Так разве бывает?

— В общем, да. Запущенный бронхит, запущенное воспаление легких.

Зайцев подождал, не скажет ли тот еще чего. Не сказал.

— И больную лошадь вывели на состязания?

И тут же спросил себя: а что он вообще знает о наезднике Жемчужном? Его мысль тут же бросила веером карты. Если Юрка Смекалов прав (а он прав — спецы обычно правы), договорной заезд исключен. Что тогда? Самолюбие? Долги? Угрозы? Соцобязательства, да еще когда товарищ маршал на трибуне? Кстати, был ли Буденный в тот день на трибуне — тоже хороший вопрос. Выйти на дорожку несмотря ни на что — и несмотря ни на что победить? А все оказалось так плохо, что легкие лошади не выдержали: мгновенная смерть, авария — и гибель наездника.

Кольцов, задрав вверх красноватую, обрамленную баками ряху, смотрел на шелестящий зеленый шатер.

И пожал плечами.

— Ладно, товарищ Зайцев, — сказал он, — побалакали и ладно. Пора работать. Бывайте.

Повернулся и побрел к главному входу.

«Шалишь», — в спину ему подумал Зайцев.

Он дал Кольцову время войти, подняться по лестнице. И только потом сам толкнул дверь, сунулся к вахтеру.

— Забыл. — Широко улыбаясь, поднял он брови. — Только что сговорились с товарищем Кольцовым на после службы, и как назло — из головы вылетело. «Гудок»? «Свисток»?

Пивные на окраинах Ленинграда, особенно по направлению к вокзалу, не блистали разнообразием названий.

— «Сигнал», что ли? — усмехнулся вахтер. Красные прожилки на носу и щеках Кольцова не обманули: ветеринар любил поддать, и секретом от сослуживцев это не было.

— Вот-вот! Помню, что-то железнодорожное было. Спасибо, отец.

— Алкаши... Как себя звать, скоро забудете, — беззлобно сказал вахтер ему вслед.

* * *

Техник ничего толком не сообщил. Вернее, его сообщения отличались, как всегда, и толковостью, и краткостью. В этом вся проблема. Конструкция коляски соответствовала стандартной. Никакую гайку не свинтила враждебная рука, никакой тросик не подпилила.

Повреждения тоже отвечали картине происшествия. Удар о бортик. Штопор. Еще удар, от которого Жемчужный вылетел, как манекен из цирковой катапульты. А пустая коляска сделала еще несколько затихающих кувырков, превративших ее, такую легкую, в нечто, напоминающее большое смятое насекомое.

— А ее куда теперь? — окликнул техник.

— Пионерам, — распорядился Зайцев, берясь за ручку.

— Чего?

— Пальчиков же нет?

— Только наездника.

Жемчужный сам наладил упряжь перед заездом.

— На металлолом, куда-куда. Отчет только сдай.

* * *

«Сигнал» ничем не отличался от многочисленных «свистков» и «гудков»: кривые ступеньки в подвал, вечернее солнце радостно било в замызганные окошки у самого тротуара. Вошел — и сразу над головой сомкнулся спертый гвалт. Если для ленинградских работниц первейшим утешением было кино, то главным утешением мужского пола на рабочих окраинах был, конечно, зеленый змей. Стоячие столики были густо облеплены страждущими.

Кольцова он увидел сразу: навалившись всем телом, тот нависал над шатким столом в одиночестве. В кружке опускалась пена. Кольцов выбирал из мисочки и бросал в рот соленые горошины. Зайцев ловко

оттер сизоносого страдальца, спешившего воткнуться к Кольцову «на свободное». Без приглашения поставил полную кружку рядом.

Поймал взгляд.

Рысьи глаза уже были подернуты туманом — кружка явно была не первой. Кольцов ничего не сказал. Приподнял кружку. Молча стукнулись. Зайцев сделал несколько глотков. Пиво было отвратительным.

— Лошадь, стало быть, — глядя себе в кружку, пробормотал Кольцов. Потом махнул недопитой кружкой куда-то в сторону, постучал по ней пальцем и поднял палец вверх, мол, еще одну.

— Пряник ничем не болел, — начал Зайцев. Он не знал, так ли это было на самом деле. И в то же время знал: если бы Пряник был поражен воспалением или бронхитом, да еще запущенным, ветеринар увидел бы это на вскрытии.

— А тебе не все равно? — неприветливо бросил Кольцов. Но ждал ответа. Зайцев дунул на пену, спокойно ответил:

— Мне не все равно.

Тот кивнул, хмыкнул, опять опустил губы в пиво. Подошла баба и стукнула полную кружку им на столик. Кольцов вынырнул, кинул в рот горох, пожевал.

— Тебе сколько лет?

Зайцев молча встретил его взгляд.

— Молодой, — ответил за него Кольцов. — Не воевал, стало быть.

— В меня как-то больше постреливали и ножичками тыкали уже в мирное время. Свои, советские граждане.

— М-м. — Кольцов уже вставил в рот папиросу. Чиркнул, поднес к лицу огонек в горсти. Оранжевые блики на миг мигнули в глазах.

— Западный фронт? — спросил Зайцев. Он вдруг все понял. Сложил и возраст, и опыт, и недоверчивость. Бывший военный ветеринар! Царские погоны. Вот отчего Кольцов не спешил приоткрывать свою железную дверцу. Привлекать внимание органов к своей персоне — а значит, и прошлому — ему, забившемуся от советской действительности в солнечной тиши Ветеринарного института, совсем не улыбалось.

— М-м.

Идти теперь следовало только прямо — и до конца.

— Вы, товарищ Кольцов, зря волком на меня глядите. Никакой вы даже не свидетель. Да и я не на службе. И разговорчики наши — в пользу бедных. Исключительно чтобы мое, так сказать, невежество в ветеринарном вопросе прикрыть вашими исключительными знаниями. Дальше я своими силами.

— М-м.

— У меня тоже есть слово чести.

Рысьи баки иронически вздрогнули:

— Слово агента?

Зайцев пропустил издевку мимо ушей.

— И я вам его даю.

Кольцов по виду никак не отреагировал. Выпустил сизое облако. Но вдруг стряхнул вместе с пеплом:

— Браиловичи.

Дверца железного шкафа приоткрылась.

— Не совсем Браиловичи, — наклонив голову, снова заговорил он, — деревенька какая-то. Не важно. Застряли мы там очень крепко: ни мы, 8-й гренадерский Московский гренадерский, вперед, ни немцы назад. Стояли, значит. Дай бог памяти: осень была, а какой год? Шестнадцатый? Позже? Пятнадцать лет всего тому назад, а памяти никакой...

Взгляд его рассеялся. Пьяное балаканье и гвалт в жаркой тесноте пивной больше не доходили до его сознания. Он смотрел назад — на подпоручика Кольцова, ветеринара 8-го гренадерского Московского полка.

Зайцев понял. Не спешил звать его из того далека.

— Мы уже тогда освоили маски Зелинского — Кумманта, — снова заговорил Кольцов. — Насобачились. Никто, по-моему, особо от той атаки и не пострадал, когда немцы пустили газ. Я имею в виду личный состав. Но вот лошади... Лошади пали. — Он помотал головой. — И очень много мышей и птиц. Полные окопы дохлых мышей и птиц. Бедняги...

— Что за газ?

Но Кольцов, по-видимому, не услышал. Пьяный орал у столика поодаль:

— Нет, ты тудить не смотри, ты сюдыть смотри...

Или просто Кольцов был так далеко, в пятнадцати годах отсюда.

— Что за газ пустили немцы?

Кольцов вернулся в майский день 1931 года.

— А мы у него как-то позабыли этикетку спросить. И немцы нам как-то не рапортовали, чем нас травят. Боже мой, что мы все тогда творили!.. Не только немцы, — глянул он поверх Зайцева. — Мы тоже. — Опять покачал головой. — Страшные дела. Хуже убийства.

— Вам почему знать?

— С убийством все просто. Мы что-то пострашнее тогда сделали, все мы. Друг с другом — русские, немцы, англичане, французы. Не убийства. Истребление, вот что мы устроили. Мы научились, что жизнь — копейка. Меньше, чем копейка. Страшное дело. — Голова свесилась над кружкой. — Ваши нынешние душегубы и бандиты подле этого сущие дети.

— Детишки, — хмыкнул Зайцев. — Не передергивайте тоже.

— Они всего лишь преступники против общества, — возразил Кольцов. — А мы тогда, — он ткнул в сторону Зайцева папиросой, словно подыскивая слова, — нарушили закон повыше. — Папироса теперь тыкала в низкий закопченный потолок. — Повыше. Эти птицы, мыши. Эти лошади... Да, я «бывший», — перебил он себя, смял папиросу прямо об столик.

— А свинячить не обязательно! — тотчас раздался женский голос за спиной. Подавальщица волокла пустые кружки.

— Мои извинения, извинения. — Кольцов поднял руку, смахнул окурок. Твердо глядя Зайцеву в глаза, выговорил: — Я был офицером. Но не все это понимают! Мы настоящие, кто воевал. Не штабные, не воры тыловые, не генералье, которое только водку трескало. А мы. Мы все были — за революцию. За советскую власть. За новый мир, или как там теперь поется. Тот мир лечить уже было нельзя. Поздно. Только срыть до основанья. К черту. — Он махнул папиросой. И вдруг закончил: — Я ничего не утверждаю. Свечку не держал. Просто клиническая картина похожа. Вот и все.

— Газ? Но откуда?

Зайцев подумал, что Кольцов после нескольких кружек этой бормотухи не совсем тот Кольцов, который...

— Это что же получается, — размышлял Зайцев вслух, — боевой отравляющий газ?..

Кольцов не дал ему закончить. Что там ни добавляли здесь в пиво, оно уже заволокло ветеринару мозг.

— Ты тут полицай или как там, городской, — пьяно тянул он слова. Тон стал недобрый. — Нет, не городской — сыскарь. Да, агент, короче. Вот ты, агент, концы с концами и своди. Я же тебе просто говорю, что когда совершенно здоровая, тренированная и разработанная породная лошадь, грамотный уход и все такое... А тут такой результат на вскрытии, такие вот такие легкие... То мне на ум пришел единственный прецедент. А не нравится тебе, что я говорю, так иди. Иди совспеца ищи, с партийной линией и нужным происхождением. Он тебе наплетет получше. Иди!

На них стали коситься — не закипает ли мордобой.

Кольцова шатало.

— Иди! Ищи! Иди отсюда, если не нравится! Что стоишь смотришь? Ну, иди!

И махнул кружкой:

— Еще маленькую!

* * *

Зайцев развязал шнурки еще в коридоре. Уже темном. Светлая ночь сюда не пробивалась. Соседи спали. За какой-то дверью картофелиной по железу перекатывался храп. Зайцев толкнулся к себе в сумеречную комнату. Одновременно скинул ботинки — и включил свет.

И чуть не подпрыгнул.

Потому что на стуле подпрыгнула женщина. Она, очевидно, спала, положив голову на руки, а руки на стол.

— Гражданка, вы кто?

— Я это... Мне Прасковья Ильинишна велели дожидаться... показаться... я сейчас к себе в угол пойду. Я только показаться... Как велено...

Глаза у Зайцева слипались. Может, он уже спит? Женщина нервно одернула на плечах косынку, дернула вниз полы старенькой кофточки,

потом шепотью поправила подол выцветшей юбки. Она была похожа на ту, утреннюю. И не похожа. Просто тоже тощая, сообразил Зайцев, привычный к мгновенным описаниям внешности, молниеносному оттиску особых примет. За дверью кто-то кашлянул — для вида.

— А я как увидела, ты свет запалил, так и кинулась, — шепотом сообщила Паша, просунув голову. — Ну, думаю, значит, вернулся. А ты иди. В угол свой. Иди, — отпустила она тощую женщину.

— Паша, это кто? — шепотом спросил Зайцев, чувствуя некоторую дурноту — то ли от поганого пива, выпитого в компании Кольцова, то ли от усталости, то ли оттого, что сегодня толком не ел. А больше всего оттого, что утренний бред с нанятой ему кухаркой этим вопросом как бы замкнулся в рифму. Весь день был бредовым.

— У меня уже есть кухарка, — все-таки заметил он. Зайцев ценил абсурд.

— А это... Она это, того, — на миг замешалась Паша, но нашлась: — Она нянька.

Сон слетел с Зайцева.

— Паша, ты что, офонарела? Какая еще нянька?

— Жить она у меня в углу будет. А плати ей копейки, она и рада, чего? Сущие копейки.

— Ты наняла мне кухарку. А теперь — няньку?!

Зайцев почувствовал, что даже для любителя абсурда это чересчур.

— Паша, что происходит? — совершенно серьезно спросил он.

И увидел в глазах Паши что-то новое.

— Я не знаю, — просто ответила она. И добавила отдельно, с ужасом — или так только показалось ему после всех событий дня: — Я не знаю.

Зайцев махнул рукой. Завтра, все завтра. При свете дня и разума. В ответ ему махнула закрывающаяся дверь. Стащил пиджак. Соскользнули на пол брюки. Он не помнил, успел ли выпростать из сорочки руки, — повалился на бок и уснул.

Глава 3

Нагреть воду для чая или кофе — да и просто кипяток годился бы — он все равно не успевал. Зайцев пустил струю тише, попил из-под крана. Вода отдавала типичным ленинградским привкусом. Не важно, лишь бы не бурчало в желудке, пока доберется до столовки.

Выкатился из ванной, роняя капли. Очередь из соседней ответила недовольными взглядами. Хмурых, неразговорчивых по утру лиц прибавилось.

— В обход влезать — красиво? — подал голос кто-то, но больше для порядка.

— Спешу, граждане дорогие соседи, прошу извинений. Служба.

В ответном бурчании расслышал только «знаем» и «утро». Предположительно доброе.

Вытираясь на ходу, Зайцев быстро прошел по коридору. Выпитая вода не помогла, есть все равно хотелось. Решил, что хлеб прихватит из комода. Сунет в карман, по дороге разберется. Оставалось только натянуть пиджак. Распахивая дверь, он сорвал с шеи полотенце. И очумело уставился. На стуле — выпрямившись, чтобы не касаться висевшего на спинке пиджака, — сидела одна из вчерашних незнакомок.

Она не охнула, не вскрикнула, не встала. Только смотрела круглыми глазами на худом лице. Волосы в узел. Большие руки лежали на коленях, покрытых ситцевой юбкой. На плечах косынка.

— Гражданка, вам чего?

Но неизвестная гражданка не издала ни звука. Только взгляд ее стал еще более круглым, птичьим.

— А, воротился. А я думала, на службу уже ушел, — сунулась позади него в дверь Паша.

По ее тону ясно было, что застал их Зайцев врасплох.

— Я проспал.

— Матрена, ну чего сидишь? На курорт приехала, что ль?

Женщина вскочила, явно не зная, куда себя девать, пролепетала: «Доброго утра», — и выкатилась вон.

— Помети здесь для начала! — крикнула ей в спину Паша. — Деревня, — с оттенком превосходства вздохнула она, — что с ней

взять. Спиджак вон те уже почистила, — смягчилась она. — Она вообще чистая, аккуратная, не дура. Деревня только. Но насобачится.

Зайцев взял не понятно с какого перепуга вычищенный неизвестной Матреной спиджак.

— Паша, это кто?

— Матрена.

— Не крути давай. Что это за женщины сюда ходят?

— Они не ходят, — уклончиво ответила Паша.

— Паша?

— Я думала: ты на службу уже ушел. Ты ж опаздываешь поди. А стоишь — лясы точишь.

— Паша!

— Да и я опаздываю! Некогда мне! Ты милиция, тебе ничего не будет. А меня со службы выкинут. Ай, молодец!

— Ну?

— Нянька — которая Матрена. А вторая — кухарка, — спокойно объяснила Паша. Зайцева опять охватило ощущение легкого бреда. Он попытался соорудить некое подобие логической заслонки:

— Родственницы твои?

Паша отводила глаза.

— Не. Но ты это, ничего... Они честные. Спать обе у меня будут, угол отгорожу, — поспешила она успокоить. — Да ты не того! Они дешево берут.

Зайцев почувствовал, что у него начало покалывать в виске. Мысли его сейчас были совсем далеко. С таким же успехом Паша могла говорить о жирафах, рифмах раннего Пушкина и открытии атома.

Выяснить времени все равно не было.

— Паша, мне не нужна кухарка. И нянька тем более.

Но Паша не отставала, топала за ним, гудя:

— Она горняшкой может!

— Не нужна!

— Денег жалко? — прищурилась Паша, изобразив презрение.

— Паша, ты сама слышишь, что несешь? У меня нет еды, чтобы готовить. У меня нет...

— Они аккуратные! — крикнула Паша ему вслед и, видя, что ее все равно никто, кроме любопытных соседей, слушать сейчас не

станет, пробормотала сама себе: — На вид. Хоть и деревня.

Зайцев махнул рукой. Вечером выставит этих баб, кем бы они ни были. Выбежал из квартиры.

И только уже на набережной вспомнил, что забыл захватить с собой кусок хлеба.

* * *

В трамвае их притиснули друг к другу. Оба сидели как-то слишком прямо, глядя перед собой. Крачкин, со своим всегдашним саквояжем на коленях, вздергивал брови на висках, как бы говоря: «Н-да, в такой вот компании еду».

Компания была представлена юношей в круглых очках, он сидел впритык к Крачкину. Над очками торчал мальчишеский хохолок, придававший хозяину отдаленное сходство с знаменитым композитором Шостаковичем. На коленях юноша, продев пальцы под матерчатую ручку, придерживал ящик, выкрашенный защитного цвета краской.

Зайцев стоял напротив них в проходе, уцепившись за кожаную петлю. На приглашающие к разговору гримасы Крачкина не отвечал. Его беспокоила утренняя сцена. Паша несла бред, но бред последовательный. А хуже всего — при этом виляла и финтила. Зайцев припомнил ее слова хорошенько. Соединил «честные», «деревня», «в углу», «не родственницы» с увиливающим взглядом (особенно ему не понравилось слово «честные»). И пришел к одному возможному толкованию: женщины были то ли странницами, то ли кликушами. Паша ударилась в религию. Если точнее, в какую-то секту.

Вывод его не порадовал.

Видя, что его пантомиму игнорируют, Крачкин наклонился к Зайцеву через проход.

— А этот твой бойскаут, — начал он.

Но тотчас между ними вдвинулась задастая женщина в жакетке, и Крачкину пришлось снова откинуться назад. Женщина смерила обоих

требовательным взглядом. Крачкин снова застыл со своей мефистофельской гримасой: «и ничего во всей природе благословить он не хотел». А «бойскаут» поспешно вскочил, уступая жакетке место. Корма у той явно превышала размерами щель, благородно освобожденную тощим мальчишеским задом. Но не побрезговала — втиснулась. Крачкин недовольно подобрался, покрепче прижал к себе саквояж. Юноша перегнулся под тяжестью своего ящика.

Зайцев заметил угол скамейки — показал «бойскауту».

— Ставьте чемоданчик ваш сюда. А я придержу.

Тот послушался.

— С багажными местами на заднюю площадку! — тотчас подала голос кондукторша. На пологой ее груди подпрыгивали бусы — рулончики билетов на шнурке.

— Разберемся, мамаша, — коротко крикнул Зайцев. Инстинкт, отточенный в многочисленных ссорах с пассажирами, подсказал кондукторше, что лучше заткнуться. Она что-то проворчала, но и только.

Крачкин смотрел на обоих снизу вверх, но юношу при этом игнорировал.

— Этот твой бойскаут...

— Крачкин, не юродствуй.

— Да? А кто? — не внял призыву Крачкин. Зайцев терпеливо повторил:

— Он член ОСОАВИАХИМа, специалист, между прочим.

— А это разве не бойскауты, по-старому говоря? — уперся Крачкин.

«Бойскаут» висел всем тощим телом, уцепившись за кожаную петлю. То ли делал вид, что глядит в нечистое окно и не слышит. То ли обидные слова Крачкина и правда тонули в позвякивании и дребезжании трамвая.

— Ты, Крачкин, отжившие понятия брось. Это тебе не игрушки в казаки-разбойники, а Общество содействия авиации и химической чего-то там. Будущий ценный резерв Красной армии.

Но тут уж перебил Крачкин:

— А выглядит как...

Зайцев не поддался.

— И студент-химик по совместительству.

— Вот и я о том же: молодо больно выглядит, — проворчал Крачкин. — Тот еще специалист поди. А ты сразу: отжившие понятия.

— Крачкин, ты что, ревнуешь?

Крачкин не ответил. Не пошутил, как бывало. Не отпустил философский афоризм, как раньше. Теперь все было между ними иначе. Теперь Крачкин помнил о стеклянной стене между ними. И хотя Зайцев сам о ней помнил, все же почувствовал горький укол.

На Марата, подхватив багаж и несколько раз заехав углами по ногам пассажирам, сошли.

Потом шли дворами. Неизвестно, почему так построили, но конюшни Семеновского ипподрома располагались не при самом ипподроме, а на задах улицы Марата.

Зайцев чувствовал, как страшно бухает его сердце. Он трепался с Крачкиным, ждал со всеми трамвая, ехал в трамвае. Но на самом деле — спешил, так заняло его это дело. Он побежал бы всю дорогу до конюшен, если бы не знал, что этим событий все равно не ускоришь.

— Шевелись же побыстрее, Крачкин, — не выдержал он.

— Пожар, что ли? — Мефистофельские морщины приподнялись.

В конюшне «бойскаут» поставил ящик на чисто выметенный пол, раздвинул ему челюсти. Звякнули в своих гнездах пробирки, пузырьки, какие-то стеклянные палочки.

— Мы что тут ищем? — забрюзжал Крачкин.

— Вчерашний день, — непочтительно ответил Зайцев.

— Оно и видно. — Крачкин вынул из кармана примятую пачку папирос и отошел к двери. — Найдешь — сообщи телеграммой.

Коридор был наполнен светом, в обе стороны — стойла. От солнца ложились косые параллелепипеды света, в которых вилась пыль.

Работник в куртке показал им стойло.

— Вот здесь он, значит, содержался. Как привезли, так и содержался. Пряник-то.

Он не спешил уходить. С любопытством глядел на всех троих.

— Спасибо, — проскрипел Крачкин так, что работник конюшни тотчас пробормотал:

— Так я снаружи. Покричите, если что.

И исчез.

В пустом стойле висела на гвозде синяя попона.

Зайцев втянул воздух. Пахло потом, человеческим и лошадиным. Пахло навозом. Запах казался удивительно благородным. Зайцев тянул ноздрями. Но больше не пахло ничем.

Может, именно в этом и смысл — что противник не сразу понимает, что сейчас произойдет? Оружие невидимое, неслышимое, не осязаемое до тех пор, пока пораженные солдаты не зальются слезами, не начнут валиться, хватаясь за горло, — так, во всяком случае, вообразил себе Зайцев. И тотчас себя одернул: нет. Не так. Если Пряника отравили газом, то сделали это незаметно. Даже опытный Жемчужный не заметил, что с лошадью неладно.

Нет, что-то здесь не сходится.

Запахло табаком.

Крачкин стоял в дверях — пускал дым наружу. Но пахучие клубы все равно втягивало обратно.

Хохолок наклонился над стеклянно поблескивающими внутренностями ящика.

— Товарищ, вы бы поскорее, — не выдержал Зайцев.

— Да вы не волнуйтесь, товарищ следователь. Даже маленькой концентрации газа достаточно для реакции.

В словах слышалась гордость удивительными свойствами газа и силой современной химии.

Юноша встряхнул пробирку, подождал, показал Зайцеву. Секунда показалась ему вечной. Юноша пояснил:

— Чисто.

Взял другую, вынул резиновую пробку. Зайцев уловил резкую вонь аммиака.

— Вася, мы зачем здесь груши околачиваем? — подал недовольный голос Крачкин. — Это что, место преступления?

Юноша поднял смоченный ватный клочок. Он ждал.

Крачкин не унимался:

— Так если место преступления, то поздравляю: все уже затоптали и захватили. А некоторые даже вон подмели и кое-где помыли, — кивнул он в ту сторону, куда скрылся работник. Там же в углу стояли метла, железный совок для навоза и ведро, на бортике которого висела влажная тряпка. — Пока некоторые опомнились, — добавил Крачкин.

Зайцев не ответил.

Юноша показал: ничего.

— А могли проветрить? — спросил его Зайцев. Он только сейчас понял, насколько не готов был к неудаче. Тот пожал плечами.

— Могли. Но выветрить совсем — очень трудно.

Зайцев подумал: да и в конюшне в день состязаний все время толклись люди. И лошади! Другие участники бегов, с ними-то ничего не случилось. Или не случилось — пока?

По конюшне гулял сквозняк.

— А через какое время проявляются симптомы газового отравления?

— Смотря чего и смотря по дозе.

— Доза, скажем, смертельная.

— Тогда смотря что за газ.

Зайцев огляделся еще раз. Солидных дверей между стойлами нет, значит, все лошади получили бы примерно такую же дозу, что и Пряник. Того же самого газа. И лошади, и люди. Наездники, работники — много кто.

Он вспомнил рассказ Кольцова об атаке под Браиловичами: лошади пали все. Не только лошади — мыши, птицы.

Да из больниц бы уже начали обрывать телефоны.

Юноша отряхнул колени. Запер чемоданчик. Стеклышки глядели на Зайцева: взгляд серьезный, ждет распоряжений.

— Хорошо. Давайте так вопрос поставим. Есть ряд отравляющих газов, они на вооружении до сих пор...

— Хлор, фосген, фосфор, — прилежно начал перечислять осоавиахимовец. Зайцев кивнул, не дав договорить:

— И у каждого есть своя смертельная доза. Так вот, возьмем все эти вещества. Сколько часов должно пройти после вдыхания, пока симптомы проявятся?

— Симптомы?

— Максимум часов.

Юноша надул щеки. Подсчитывал в уме.

— Газ-чемпион? — переспросил он.

— Вроде. Убийца-чемпион.

— А кого убили? — сразу заинтересовался юноша.

— Это я так, для красного словца.

— Ага, общее поражающее действие...

— Ага.

— Два-четыре часа в среднем. Иногда пятнадцать. Иногда сутки. Сутки! Сердце у Зайцева оборвалось. После гибели Пряника прошло уже больше суток. Газ мог выветриться окончательно.

— И что, отравленный человек может ходить и сутки ничего не замечать?

— Ну если большой человек... — обвел руками студент.

Очень большой. Размером с лошадь.

Он думал одно: опоздали, упустили. Улетучилось орудие убийства. Убийца испарился.

— Покашливать немного будет, — обнадежил юноша.

Покашливал ли Пряник? Лошади вообще кашляют?

— Вася, что? — окликнул его на выходе Крачкин.

Но все понял сам. Промах. Ремиз.

— Тогда я обратно на Гороховую. Адье.

Зайцев смотрел на удаляющуюся фигуру — на ходу Крачкин помахивал саквояжем. Даже со спины было видно, что он раздражен пустой поездкой. И предвкушает расспросы. И свой ответ: «Обосрался товарищ Зайцев».

Наплевать.

Зайцев чувствовал все то же нервное биение сердца — пульс погони. Вот только за кем? Неужели упустил?

Обернулся на звук шагов. Ящик с реактивами уже висел у студента на ремне через плечо.

— Был рад познакомиться, — протянул он свободную руку.

— Погодите, — бросил Зайцев. — Минутку здесь постоит.

Он рванулся туда, где стояли метла и ведро.

— Товарищ! Товарищ!

Работник вынырнул на него уж слишком быстро. Ясно, что околачивался поблизости — не терпелось сунуть нос.

— Да, товарищ милиционер? — А глазки шарили за спиной у Зайцева: что там?

— Вот вы сказали: Пряник, как его сюда привезли...

Тот с готовностью закивал.

— Откуда привезли?

* * *

Телефон в конюшне был допотопный, а линия — старая. В трубке икало и трещало. Но, казалось, помехи оттого, что на другом конце у директора ипподрома взмокли руки, и пот, вернее страх, проел изоляцию. Голос директора он проел во всяком случае. Зайцеву не нужно было видеть собеседника, чтобы дорисовать остальное: налившуюся красным лысину, трясущееся лицо, пятна пота под мышками, панику в глазах.

«Ох, Юрка, проверить бы вам игровую бухгалтерию, ох проверить бы», — думал, слушая, он.

А директор лепетал, стараясь говорить гладко, спокойно, голосом ответственного работника, у которого проверять нечего:

— Что лошади делают? Перед заездом? Проминаются, разогреваются.

— Товарищ, — нехорошим голосом сказал Зайцев.

— Едут в Ленинград, — растерянно, чуть ли не с вопросом предположил директор.

Зайцев внутренне собрался. Его напряжение уловил жулик-директор. В голосе зазвенело больше уверенности — радостной уверенности пса, который, наконец, понял, чего от него хотят: — Чистая правда. За сутки до забега Пряника привезли из колхоза.

— На какой вокзал?

— Из Тулы ехал, то есть. Тульское, то есть. Московское, в смысле, направление. Московский вокзал. Московский! — объяснял директор. Теперь в голосе явно было облегчение: мильтон взял след в сторону, пронесло.

«Ну, Юрка, твой клиент», — подумал Зайцев и, не поблагодарив, не попрощавшись, дернул вниз рычаг.

Попросил соединить его с Московским вокзалом.

* * *

Сутки! Которые с каждой минутой все больше переваливали во вторые. Зайцеву казалось, он физически чувствует, как газ улетучивается. Фосфор? Фосген? Хлор? И скоро на этот вопрос ответа не будет — ни следа.

Ему казалось уже, что никакой это не отравляющий газ, а кислород. И что улетучивается он из его собственных легких. В горле першило. Во рту появился привкус металла.

— Что? — Зайцев обернулся, не сбавляя шага. Но вынужден был остановиться. Подождал. Запыхавшийся осоавиахимовец нагнал его. Дышал тяжело, очки запотели изнутри, мальчишеское лицо покраснелось.

— Не бегите так, — повторил он.

— Вы что, физкультурные нормы там, в ОСОАВИАХИМе, не сдаете, что ли? Давай, экспертиза, не отставай.

В здании вокзала пришлось все же сбавить: сновали с котомками, чемоданами, узлами, изредка с букетами. И все словно сговорились соваться под ноги именно ему. «Живее, м-м-мамаша», — мычал Зайцев, лавируя. Он словно плыл, работая локтями, по людскому морю. На него покосился юный с виду постовой: человеческое тело, двигавшееся не в ритме толпы, — не карманник ли, не чемоданный вор, который удирает? Мысленно отнес Зайцева в категорию опаздывающих на поезд и отвернулся. Правильно, похвалил его Зайцев: карманники не бегают, чемоданные воры выступают неспешной походкой законных владельцев багажа.

Дежурный по вокзалу уже вышел к ним навстречу, стоял в гулком зале ожидания. Завидев в море голов форменную фуражку, Зайцев направился к нему. Юноша-химик поспевал рысцей, придерживая на боку свой ящик.

Дежурный важно повел их мимо загородных платформ туда, где на запасных путях стояли товарные вагоны.

Зайцев вдруг резко обернулся. Тот же инстинкт, что у постового в зале прибытия, мгновенно указал ему троих, движущихся не в ритме толпы. С виду все выглядело невинно. Можно подумать, три товарища. Все трое в кепках. Только у того, что посредине, безумные растерянные глаза и несколько ватный шаг. Зайцев поймал этот ошалелый взгляд. И его тотчас отсеки, оттолкнули своими оловянными буркалами молодцы по бокам.

Он все понял: арестованный. Уже, считай, вредитель, враг народа. Только он сам еще и надеется, что ошибка, все образуется, разберутся. Арестованный и два конвоира. Взяли тихо. Выдернули внезапно. Как они умеют. Как его возьмут. Если только не... Осоавиахимовец проследил за взглядом следователя, но ничего особенного не увидел, только трое приятелей шли рядом поодаль. Все трое в кепках, обычные ленинградцы.

Троица растворилась в вокзальной толпе. А Зайцев все смотрел им вслед.

— Сюда, товарищ следователь, — позвал дежурный и, крикнув, спрыгнул с края платформы на пахнущую мазутом черно-жирную землю.

— Здорово, — не сдержал восхищения Зайцев. — Порядок у вас, гляжу, образцовый.

По документам быстро установили и состав, которым Пряник прибыл в Ленинград, и даже вагон. Номер запасного пути, куда оттащили вагон, само собой тоже.

— А то, — сурово отозвался дежурный. Усы у него были табачного цвета. Старый питерский железнодорожник, еще небось помнит забастовки. — Груз живой, ценный.

Он отпер.

— Вы всегда вагоны запираете?

— Без замков нынче никак. Отвернешься — беспризорники сразу набьются. Или голь какая ночевать залезет.

Зайцев мысленно возблагодарил и беспризорников, и голь: вагон стоял запертым с той минуты, как вывели знаменитого жеребца-пассажира в синей попоне.

— Купе первого класса. Коняга ваш ехал, как царь.

Зайцев смотрел в полумрак вагона. Сердце забилося — идеально замкнутое пространство. Солнечный свет проникал сквозь щели. Щелей было немного: столыпинская постройка. Ноздри уловили лишь слабый запах прелого сена. Похоже, здесь тоже чисто. Сердце замерло.

— Полезете, товарищ агент? Или как?

— Полезай, экспертиза, — с напускной веселостью Зайцев хлопнул осоавиахимовца по спине. Тот сперва приподнял и стукнул на пол вагона свой ящик. Задрал ногу в слишком короткой штанине. Дежурный, глядя на раскорячившуюся фигуру, сперва хмыкнул, потом

подставил под ступню руки замком, дал опору — втокнул наверх. Юноша, барахтаясь, завалился на живот. Встал, снял, вытер пальцами очки. Надел, поправил.

Только легкий запах сена да обычные запахи железной дороги. Пусто, пусто, и без всякой пробы воздуха знал Зайцев. А чего он ждал?

Кольцов ошибся. Память играет шутики, особенно память пьяницы.

Или не ошибся? Если не ошибся, то, может, и другой поворот событий. Предположим... Зайцев рассеянно глядел на чахлые травинки, пробивавшиеся из-под гравия, из-под отравленной мазутом и маслом земли. Предположим, поезд идет откуда-то из-под Тулы. Сквозь него проходит облако газа. Вагоны все товарные, только один пассажир — живой. «Капля никотина убивает лошадь» — вспомнилось некстати. Откуда там в поле боевой газ? А шут его знает.

Всему есть простые объяснения, с горечью поражения думал он. Войсковые учения. Облако отравы ветром отнесло к путям. Несчастный случай. Ничего уголовного. Что и требовалось доказать. Как доказать? Позвонить в расположенные вблизи войсковые части. Связаться с местными метеорологами.

— Товарищ следователь! — оборвал его мысли звонкий мальчишеский голос. Зайцев даже не сразу понял чей — такой звонкий.

Обернулся. В проеме вагонной двери блеснули очки имени знаменитого композитора Шостаковича. Топорщился хохолок. В победно поднятой руке юноша держал клочок ваты.

* * *

Потом ждали машину с Крачкиным. Дежурный ушел ее встречать.
— А это точно? — все-таки спросил он у осоавиахимовца.
— Химия — точная наука, — с достоинством отчеканил тот.
— Чудно, чудно.

Крачкин еще только подходил к ним со своим саквояжем, а Зайцев понял: цирковой номер «обосрался товарищ Зайцев» Крачкин в угрозыске уже успел исполнить. Поспешил, ухмыльнулся Зайцев.

Теперь — собирать пальчики. Поднимать прилипшие волоски. Собирать все, что может оказаться уликой.

В кабинет Коптельцева он добрался только к вечеру.

— Фосген? — только и спросил начальник угрозыска. Сюрприз — без сочувствия разглядывал Зайцев его наморщенный лоб, вмиг обвисшие рыхлые щеки. Сюрприз был неприятным. Фосген — боевое отравляющее вещество. В самом центре Ленинграда. Да еще и на объекте повышенной значимости — на вокзале.

Мысль о шпионах и диверсантах прыгала в голову сама собой. И что хуже всего — выглядела прочно. Зайцев видел, как лихорадочно соображает сейчас Коптельцев. Блеск черных глазок выдавал сложные служебно-административные перерасчеты, которыми тотчас занялся ум начальника угрозыска, бывшего чина из ГПУ. А впрочем, теперь уже — как оказалось — после вливания милиции в политический сыск, чина ГПУ опять действующего.

Челюсти Коптельцева раздвинулись, щеки дрогнули:

— Ошибки быть не может?

— Химия — точная наука, — не без удовольствия повторил слова своего «эксперта» Зайцев. — Эта дрянь проявляет себя от контакта всего-навсего с обычным аммиаком.

Белая пухлая рука дернулась к телефону.

— Ладно.

Но притормозила.

— Не трепись об этом.

Зайцев понял, что разговор окончен. Сел на стул. Коптельцев уставился на него ожидаемо полоумным взглядом.

Зайцев старался глядеть в ответ особенно ясно.

— Следующие розыскные действия... — начал он на том же голубом глазу. Он наслаждался.

— Тут тебе не уголовщина, — перебил Коптельцев, — тут военной диверсией пахнет. Диверсию обнаружил — хвалю. Следующие розыскные действия предпримут соответствующие органы.

Но взгляд Зайцева сделался еще более ясным, еще более открытым, если такое было возможно. На губах уже начинала цвести улыбка старательного идиота.

— Вполне себе уголовщина.

— Что? — не понял Коптельцев.

— Советский гражданин, гражданин Жемчужный убит, — с жаром заговорил Зайцев. Кое-что приметил, научился на комсомольских собраниях у Розановой, и даже глядеть старался, как она. — И расследовать его убийство — прямая задача уголовного розыска.

Послал Коптельцеву особенно ясный взгляд.

«Может, это Медведь меня прикрывает?» Медведь был начальником ленинградского ГПУ.

Коптельцев только клацнул челюстью — но матерное слово проглотил.

«У, похоже, и не Медведь. Выше бери. Кто же тогда?»

— Это несчастный случай, насколько мне помнится, — пробурчал Коптельцев.

«А ручкой-то к трубочке все тянется, — холодно отметил Зайцев. — Дельце-то перекинуть подальше от себя и ручки умыть. Шалишь. Не выйдет».

— Не похоже, — возразил он начальнику тем же простодушным тоном. — Уж больно газ своеобразный выбран.

— Много ты знаешь.

Зайцев вытянул ноги.

— Мне товарищи из ОСОАВИАХИМа лекцию целую практически прочли. Да я и сам запах сразу почувствовал, как только вагон открыли. Пахло старым сеном. Но именно что не сеном! Это запах фосгена. И выбран был фосген поэтому. Подозрений запашок не вызовет. Это не хлор, который любая домохозяйка учует. А сеном пахнет... Так где лошади, там и сено — все естественно. Не хотел убийца внимание привлекать. И не просто на вокзале распылил яд свой, а у лошади, в закрытом вагоне. Где запах никого не удивит. И знал, что до забега самого не заподозрит никто ничего. А если заподозрит — так просто кашлянул конь раз-другой. Ведь даже и наездник не заподозрил.

Коптельцев был не глуп, оценил эту опасную речь. На нужного собеседника она произвела бы впечатление своей разумностью, логичностью. На очень высокого собеседника. Очень ненужное ему, Коптельцеву, впечатление. Опасное.

— Интересно звонишь. Только диверсию это не отменяет.

— И уголовное преступление не отменяет.

Черные глазки-буравчики впились в Зайцева. Он выдержал взгляд.

— Хрень, — все же сказал Коптельцев. — Если кому-то понадобилось пришить жокея...

— Наездника, — уже издеваясь, поправил Зайцев. — Жокеи — это когда верхом скачут. А когда рысаки в упряжке, то наездники.

Он, конечно, не стал уточнять, что эту тонкую разницу ему самому объяснили совсем недавно.

— Один хрен, — дернул губами Коптельцев. — Жокея, наездника — хотели бы пришить, по башке бы тюкнули. А на коня свалили, мол, животное, лягнул.

Однако, отметил Зайцев. Фантазии убийцы шеф явно был не лишен.

— Или ножичком пырнуть, — развивал мысль Коптельцев. — Или в бутылку ему клофелин подсыпать. Никогда не поверю, чтобы Жемчужный этот и не киял.

Здесь начальник угрозыска глядел в корень. «Печень, умеренно пораженная алкоголем», — написал в отчете о вскрытии эксперт.

— Но чтобы подрываться, геморрой себе на голову наживать — с боевым газом чудить... Не верю, — заключил он фразой знаменитого театрального режиссера и лауреата товарища Станиславского. — Бандиты, они не большого ума граждане. Или жучки там всякие, которые вокруг жокеев толкутся.

— Товарищ Жемчужный не жокей.

Проверить, насколько высок его неожиданный покровитель, вернее тот, кто назначил его лопаткой по разгребанию дерьма, теперь можно было только одним способом.

Зайцев встал.

Коптельцев глянул на него беспокойно.

— А наездник, — опять поправил Зайцев.

Способ был рискованный. Зайцев вспомнил троицу на вокзале. Но лучше так, покончить разом, чем каждый день трястись и дрожать.

— В свободное от службы время — наездник. А служил он инструктором Высших кавалерийских курсов. Что-то мне подсказывает, что кавалерия со свойствами фогена знакома лучше, чем со свойствами клофелина. А ты звони. Если хочешь.

И повернулся к Коптельцеву спиной.

Он еще успел заметить, как белая рука дернулась к телефону — да так и распласталась морской звездой на полу.

* * *

Когда он отпер дверь, квартира, по обыкновению, была темна. Зайцев заглянул на кухню. В кухне стояла светлая ночь. Еще светлей она казалась от развешенного на веревках белья. Зайцев на всякий случай щелкнул светом и тотчас погасил желтую лампочку. Сектанток-странниц, «кухарки» да «няньки», в кухне видно не было.

С кем бы ни связалась Паша, устало подумал он, мозги ей еще не полностью отшибло: она была осторожна. Не сверкала своим новым hobby перед соседями.

В комнате он повесил пиджак («спинджак») на стул, бросил кепку на стол. Сел на кровать. Раздеваться не стал. Быть арестованным и голым не хотелось. Одеваться, прыгая на одной ноге, попадая другой в штанину, — перед оловянными буркалами гэпэушных молодцов? Нет, увольте.

Расстегнул только ворот рубахи и повалился на бок.

Глава 4

Зайцев увидел за окном серенькое, влажное утро. Потом ощутил тесноту одежды, в которой проспал всю ночь. И только потом понял, что проснулся сам, а не был разбужен требовательным стуком в дверь.

Никто за ним не пришел.

За окном слышалось шкряб, шкряб: Паша уже мела тротуар своей колючей метлой.

Не в эту, по крайней мере, ночь.

* * *

— На Шпалерной, — объяснила телефонная трубка. — Казармы.

От слова «Шпалерная» у Зайцева во рту появился мерзкий привкус, а перед глазами — кислый зелено-коричневый цвет тюремных коридоров. Их цвет, неровную поверхность — «Лицом к стене!» — он хорошо изучил.

Можно всю жизнь жить в Ленинграде и не бывать, скажем, на Загородном проспекте. Обычно люди спуют по одним и тем же маршрутам каждый день. И хотя по вызовам бригада моталась по всему городу, на Шпалерной Зайцев не был с того самого дня, вернее ночи, когда его вывезли из тюрьмы ГПУ в теплом, кожей и бензином пахнущем брюхе черного «Форда». Уже не арестованного, но еще не понятно кого.

— Знаю, где это. Ага. — Он повесил трубку.

А еще на Шпалерной, помимо тюрьмы ГПУ, как выяснилось, помещался ККУКС. Курсы усовершенствования командного состава. В одной из трех К содержалось указание на то, что курсы эти были кавалерийские, но может, что красноармейские. В прошлой своей — императорской — жизни ККУКС был Высшей офицерской школой.

— Чего лыбишься? — поинтересовался Самойлов.

— Да адрес один — в центре города. Думал, за город трехать придется.

Самойлов не стал спрашивать куда, уткнулся обратно в газету, хотя раньше спросил бы. Зайцев тоже не стал спрашивать, чего это он здесь расселся, как в библиотеке, хотя раньше бы не преминул. «Так и живем», — кисло подумал он, снова набрасывая пиджак.

— Пока, Самойлов.

— И тебе не болеть, — донеслось из-за шуршащего листа.

* * *

Он удивился, что Розанова отвела глаза. Вообще-то ее ничем было не пробить, даже если бы свой вопрос Зайцев задал, стоя перед ней совершенно голым. А тут — скопилась в угол, откуда на обоих добродушно посматривал гипсовый Ленин.

— Да я ничего, — тут же пошел Зайцев на попятную. Загонять Розанову в угол было нельзя, даже в такой, задрапированный красной тканью и с бюстом Ленина. — Я просто сигнализирую: томится хороший работник, перспективный кадр, комсомолец. Без настоящей работы.

— Мы разберемся, товарищ Зайцев. Спасибо за сигнал.

«Интересно, говорила она уже с Коптельцевым? Или с кем?» — беспокойно думал он, сбегая по лестнице. Все это было как-то не похоже на обычную Розанову, от которой Коптельцев прятался. Даже Крачкин при ней терял свою ироническую броню и начинал визжать тенорком: «Натравили на меня комсомольцев!»

* * *

Бывшие Аракчеевские казармы ничуть не изменились со времен господ офицеров, разве что обветшали. Да мало какие старые фасады в Ленинграде блистали свежим ремонтом.

Длинное приземистое здание с рядом мелких узких окошек тянулось до самого Смольного собора. Зайцев, шурясь, залюбовался на ходу. Золотые луковицы-купола на нарядных голубых башенках плыли вдалеке. Распогодилось, и казалось, башенки собора были отлиты из того же материала, что солнечное и чистое майское небо, а купола — из обрезков, после того как выкроили солнце.

Здание казарм было импозантным по-своему. Простое, прямое — каменная идея дисциплины. На ум сразу шли слова «муштра», «во фронт» и «шпицрутены». Сюда так и просилась полосатая будка павловских или николаевских времен. Над воротами виднелся след сбитого после революции рельефа — двуглавого императорского орла. Румяным кирпичным цветом и распластанным силуэтом след походил на цыпленка табака из ресторана гостиницы «Европейская».

Зайцев шагнул в ворота. В арке тускло блеснул штык. Часовой был не по-городскому румяный. Деревенское пополнение, сделал вывод Зайцев, пока тот внимательно изучал удостоверение. Часовой оказался молодцеватым, но бестолковым. Путано объяснил, как пройти к «командиру». Зайцев все равно поблагодарил.

Объяснения тут же улетучились из головы.

Он пошел на несомненно лошадиный запах. И вскоре очутился под высокой крышей — огромное гулкое пространство было полно света, вливавшегося сквозь частые окна в ряд. От неяркого северного солнца здесь умудрились получить все, что оно могло дать, и даже чуть больше.

Зайцев остановился у барьера. Занятия шли полным ходом. Отскакивало гулкое эхо коротких приказов, токанье копыт, наоборот, мягко тонуло. Сам манеж был не как в цирке, круглым, а прямоугольным. Внутри него, взрывая копытами сухие фонтанчики, вычерчивала круги лошадь. Потное лицо седока было нахмурено, ремешок фуражки туго перетягивал сведенную челюсть, работали локти. Центром этого часового механизма был худощавый немолодой усач. От него к наезднику, как пуповина от матери к младенцу, тянулась длинная веревка. Тонкий стан и широкие галифе придавали фигуре сходство с рюмкой.

Лошадь сбилась и явно замешкалась, выбирая, с какой ноги начать.

— Кретин! — не сдержался рюмочного вида господин. Что офицер из старых, это Зайцев понял сразу. Даже если бы тот пошел чесать отборной матерной бранью.

Зайцев тихо зашел в тень, облокотился на барьер и принялся наблюдать.

Хорош был ездок или нет, этого Зайцев понять не мог. Но инструктор с ним в любом случае не церемонился, это точно. По знаку усача ездок осадил. Конь встал как вкопанный, только вздувались бока да косил налившийся кровью глаз. Инструктор подошел к потной шее животного. Что он говорил, было не расслышать. Зато было видно, что лицо наездника налилось краской, а челюсти недовольно сжались.

Зайцев услышал позади легкий звук кремня.

Обернулся. Человек прикурил, выпустил дым и, облокотившись, спокойно встал рядом. Зайцев успел разглядеть офицерский воротничок. Почувствовал запах одеколона и помады для волос.

Инструктор со всей силы хлопнул коня по крупу, так что тот потрусил рассерженного седока к выходу. Инструктор не обернулся, гаркнул что-то в сторону темных ворот. В проеме тотчас показался новый всадник.

— Он носит корсет, наш дорогой товарищ Артемов, — сказал саркастически голос. Папироса показала в сторону манежа.

Зайцев позволил себе посмотреть на собеседника прямо. Крестьянское широкое лицо, примерно одних с ним, Зайцевым, лет. Располагающее, можно сказать. Портили его только углы тонких губ, оттянутые книзу, — нечто нервное, раздраженное, брюзгливое. От помады или полумрака волосы казались темнее. Уголки оттянулись еще больше, показав улыбку.

— Разумеется, военная тайна.

Зайцев не клюнул, спросил серьезным тоном.

— Корсет — по медицинским показаниям?

Тот хмыкнул.

— Я подумал: с лошади упал, может, — пояснил Зайцев. Если выражение губ его не обмануло, этому собеседнику следовал интеллектуальный аванс. Пусть почувствует превосходство:

порисуется, поговорит. Чем больше люди говорят, тем больше выбалтывают.

— Разве только на голову.

Зайцев кивнул на манеж:

— Артемов этот. Старый кадр?

— Ну, — подтвердил тонкогубый. — Пережиток царизма. Потом, конечно, перековался и примкнул к Красной армии. Но сначала все как полагается: имение, кресты, государю императору ура.

— А кресты-то боевые? — поинтересовался Зайцев.

Собеседник впервые глянул на него с интересом.

— А вы из газеты?

«Значит, боевые», — удовлетворенно отметил Зайцев.

— Ага, «Новости навоза». Что, похож?

— Черт вас, гражданских, разберет.

— Зайцев. — Протянул руку, почувствовал в ответ спокойное теплое пожатие.

— Кренделев.

Он явно хотел спросить, кто же Зайцев такой, но на манеже затаенный в корсет инструктор вдруг заорал:

— Товарищ курсист! Вам, наверное, на другие курсы поступать следовало. В Смольный институт благородных девиц по соседству. Ах, только его давно закрыли, и поэтому вы попали сюда.

— Хорек, — резюмировал любитель парфюмерии.

— Просто старается научить, требует, это тоже метод, — миролюбиво возразил Зайцев. — Вы, в конце концов, мужики взрослые, а не институтки смольнинские.

«Давай же, тыпни в ответ», — подумал. И не ошибся.

Кренделев раздраженно дернулся.

— Учить? Чему тут учить? В цирке выступать? Чудеса джигитовки снова на арене!.. Здесь не салаги, между прочим, а боевые офицеры. Лучшие буденновские и примаковские бойцы, гражданскую прошли. Их учить? Да пасть ему свою дворянскую разевать на простых, вот что ему нравится. Там-то, — он кивнул на стены, подразумевая город за ними, — ему хвост прижали. Происхождение, понимаете, неудобное. А здесь он развернулся.

Он щелчком пульнул окурок под ноги, затоптал.

Зайцев невольно проводил взглядом окурков. Что-то в этом жесте ему не понравилось. Что-то было не так.

— А вы у Примакова, стало быть, служили?

— У Буденного.

В голосе слышалась сдержанная гордость. Зайцев ответил уважительной гримасой.

Инструктора Артемова отвлекло что-то поодаль, за воротами, Зайцеву отсюда было не видно.

— Да попону же на нее надень, остолоп!

— «Нет уже попон», — отозвался из полумрака голос, видно, там были конюшни. — Кррре-тины, — прорычал из глубины грудной клетки инструктор и снова занялся часовым механизмом манежа — лошадью и ее всадником. — Арш! Арш!

— Я вообще хотел товарища Жемчужного повидать.

— Ха!

— Он сегодня выходной? — притворился Зайцев.

— Он теперь всегда выходной. На том свете если только повидаться.

— Ну и ну. — Зайцев постарался выглядеть озадаченным. — Это как-то внезапно. И давно?

— В ящик-то сыграл? Вы, я вижу, тот еще ему дружок.

Зайцев несколько мгновений слушал токанье копыт, приглушенное песком.

— Вообще-то я с товарищем Жемчужным не был знаком.

— Не много потеряли. Этот, — Кренделев кивнул в сторону манежа, — в сравнении с Жемчужным душевнейший мужик, отец солдатам. А Жемчужный... С такой фамилией только куплеты в оперетте петь. Наверняка ведь никакой он был и не Жемчужный вовсе.

— А кто?

— А черт знает, какая разница. Гнидоватый товарищ.

— Что-то вы не больно профессоров своих...

— Не всех, не всех, — быстро перебил Кренделев. — Не я один.

— Это за что же такая нелюбовь?

— Нелюбовь, — хмыкнул Кренделев. — Словечки подбираете тоже. Будто жестокий романс.

Зайцев не стал спорить.

— Фамилия, согласен, дурацкая. Но не за фамилию же?

— Товарищ! — позвал запыхавшийся голос. Оба обернулись одновременно. У молодого человека был адъютантский вид.

— Это ведь вы из уголовного розыска?

Зайцев мгновенно глянул на Кренделева, но не успел уловить перемену. Испуг? Растерянность? Тревога? Видел только курносый профиль.

— Да. А что?

— Что же вы нас так подводите? — посетовал адъютант, очевидно уже получивший нагоняй. — Вас часовой направил куда следует. Как пройти к товарищу Баторскому — объяснил. А вы где?

— Заблудился, — развел руками Зайцев. Имени Баторского, начальника ККУКСа, часовой даже не упомянул.

— Следуйте за мной, — недовольно бросил адъютант.

* * *

Сухое лицо Михаила Александровича Баторского из-за оттопыренных ушей казалось еще более треугольным. Согласно последней моде советского начальства, матово блестел бритый череп. Растительность, согласно этой моде, полагалось разводить под носом. Усы товарища Баторского были великолепны. Они наводили на банальный, но верный вывод: кавалерист.

Усы и глаза, пронзительные, светло-зеленые, полные мысли, — вот что сразу приковывало взгляд, а также не оставляло сомнений в происхождении начальника ККУКСа. Михаилу Александровичу Баторскому не требовалось дворянских грамот и офицерских золотых погон — его лицо, подпертое воротничком с ромбами, говорило само за себя. Ромбы — советская карьера его была успешной. Зайцев вспомнил Кольцова: «мы, настоящие боевые, с самого начала были за революцию».

— А разве... — Баторский сцепил пальцы перед собой. Стол перед ним был пуст. Только телефон, и больше ничего. — Разве это не несчастный случай?

Зайцев чуть передвинул свой стул: солнце било в глаза. Штор на окне не было. Весь кабинет казался каким-то слишком голым. Зайцев мельком оглядел стены — ни грамот, ни сувениров, ни фотографий.

Видимо, товарищ Баторский отличался спартанскими вкусами.

— Мой вопрос с обстоятельствами гибели товарища Жемчужного никак не связан. Пока.

— И все-таки уголовный розыск ими занимается.

— Вы вроде как не удивляетесь.

Зайцев все ждал этого жеста, и Баторский его сделал — поднял руку и поправил усы.

— Что ж, ломаться не буду. И за нос вас водить тоже. Не удивляюсь. Я сам охотно посещаю бега. И скачки тоже. Посещал и посещаю. И что за публика крутится вокруг всего этого, вернее вокруг тотализаторов, представление имею.

— Поигрываете?

Товарищ Баторский надменно оскорбился.

— Меня интересуют только результаты. Спорт. — На лице Зайцева он увидел недоверие. — Вам это трудно понять.

— Отчего же. Просто деньги всегда понятнее.

— Деньги! На Пряника ставить это, знаете ли, не игра, — впервые позволил себе Баторский личное замечание, — а надежные копейки. Пришел — поставил — получил.

Тонем дал понять, что его это не интересует.

— Кому и копейка — деньга, — возразил Зайцев. — А что за публика крутится вокруг тотализатора?

Но Баторский, видимо, решил, что от себя лично уже высказал достаточно.

— Думаю, наш уголовный розыск о ней осведомлен куда лучше, чем я.

— Вокруг Жемчужного она тоже крутилась?

— Вы имеете в виду, играл ли он?

— Вот-вот.

— Мне он не докладывал.

Кавалерийское «не знаю».

— А если бы знали?

— Я бы вам сказал, — несколько надменно выговорил Баторский. Как будто сама мысль, чтобы он, Баторский, лгал, и лгал какой-то

мелкой сошке вроде Зайцева, оскорбила его.

Зайцев как бы машинально вынул из кармана трамвайный билетик, скатал в пальцах. Но острые ясные глаза Баторского по-прежнему смотрели ему прямо в брови. Взгляд воспитанного человека. Не слишком пристальный, но и не бегающий.

За таким взглядом можно спрятать что угодно. Что же? Что?

— Вы замечали, что Жемчужный живет не по средствам?

— Это как?

— А говорили, за нос водить не собираетесь.

— Я прекрасно представляю, что такое жить не по средствам в прежнее время. Лихачи, «Вилла Родэ», хористки или балетные. Но как это выглядит теперь...

— Тратит больше, чем зарабатывает. Покупает какие-то щегольские финтифлюшки. Женщины опять-таки.

Зайцев с удивлением отметил про себя, что революция не внесла в понятие новизны.

Баторский задумался.

— Если у Жемчужного и были какие-то неподобающие знакомства вне школы, он их вне школы и поддерживал.

— Вы были не против, что инструктор ККУКСа подрабатывает?

— Простите?

— Выступает как наездник.

— Если бы я был против, духу его бы здесь не было. Его прямым обязанностям занятия на ипподроме не мешают. Не мешали, — поправился он. — Напротив. Давали ездовую практику. И потом, наездник — это вам не просто шофер — от старта до финиша и до свидания. Он еще и тренер. Он ведет работу, раскрывает потенциал лошади. Накапливает знания. И применяет их здесь.

— Чему он здесь учил?

Баторский вскинул брови.

— Выездке. Чему же еще.

Рука Зайцева замерла. Глаза поискали мусорную корзину, чтобы пнуть бумажный шарик.

— На пол кидайте, — любезно пригласил хозяин. Зайцев сунул шарик в карман.

— Хорошо учил-то?

— Первоклассный мастер. У нас по-другому быть не может. Здесь учатся боевые кавалеристы, лучшие из лучших. Учатся тому, чего даже они еще не знают.

— Например?

— Иппологии, тактике, решению тактических задач на карте и на местности. Маршрутной съемке.

И применению боевых отравляющих газов?

— И выезде, значит, тоже? — вслух спросил он.

— И выезде, конечно, тоже. Но только в прикладной степени. Здесь не наездников для цирка обучают. — Он как будто спорил с курсантом Кренделевым; от Зайцева это не ускользнуло. — Это будущие красные командиры. Высокого звена. И высшего. Может, даже маршалы. Вы уже познакомились с Журовым? Познакомьтесь. Вот наш образцовый, если можно так выразиться, продукт, — голос его на несколько мгновений окрасила гордость. Продолжил Баторский снова сухо: — Задача ККУКСа — оснастить их современнейшими кавалерийскими знаниями. Дальнейшее в их карьере уже будет зависеть от них самих.

— Ага. — Зайцев опять передвинул стул в тень. Сам Баторский сидел в горячем квадрате света, как огурец в теплице — ни с места. — Объясните только мне как человеку постороннему. Вот кавалерия. Они, значит, верхом, в седле. А Жемчужный, насколько я понимаю, упряжками правил. Во всяком случае, выступал он на бегах.

Зеленоватые глаза вдруг блеснули искрами.

— Это известное — и напрасное! — предубеждение. Не вы один, если угодно, его разделяете. Будто орловские рысаки — это чисто упряжная порода. Ничуть. Это универсальная лошадь. В этом ее сила. Равно хороша под седлом и в упряжке. Что совершенно естественно, если учесть, что ее вывели, примешивая арабские крови. Вспомните хоть знаменитого Сметанку, — разразился он.

Зайцеву ничего не говорила кличка Сметанки. О рысаках у него вообще не было никакого мнения. Но отметил только, что Баторский ответил мимо вопроса.

— А курсанты ваши учатся и упряжкой править? — мягко вернулся он к теме, чтобы проверить свое наблюдение.

Безуспешно. Так же твердо Баторский опять вывернул на рысаков:

— Будущее советской кавалерии за орловской породой в чистом виде. За нашей исконно русской лошадыю. Она вам и верховая лошадь — раз, и упряжная — два. Хоть в телегу, хоть в тачанку, хоть под седло.

— И что, курсанты прямо учатся и телегой править?

Вопрос, с виду невинный, Баторского насторожил. От Зайцева это не ускользнуло.

— Что им учиться? Почти все — из крестьян. Сызмалу знают, что это такое. Да, Пряник, конечно, большая потеря для породы.

— А Жемчужный?

— Что Жемчужный?

— Потеря? Его курсанты любили?

Баторский посмотрел на Зайцева несколько удивленно.

— Безусловно, потеря. Но наши инструкторы здесь не для того, чтобы их любили. Они для того, чтобы учить, передавать свои знания и опыт. Конечно, потеря! Хороший, сильный преподаватель. Спортсмен.

«Значит, не любили», — сделал вывод Зайцев. Баторский посмотрел на него вопросительно: мол, у вас все?

— Я бы и с курсантами охотно побеседовал. Сколько их у вас?

— Двадцать — двадцать пять — смотря по году набора, — быстро доложил Баторский. — В этом наборе двадцать три. Только не представляю, что нового они могут вам рассказать.

«Конечно», — мысленно согласился Зайцев. Он прикинул: опросить два десятка. Нет, без Нефедова здесь было никак.

— Я бы сегодня и начал.

— Как угодно. Маркин! — гаркнул Баторский так, что дрогнула лампочка под потолком. В дверь просунулся розоватый нос: адъютант.

— Посодействуй. Товарищ из уголовного розыска сам тебе скажет, что ему надо. Все исполнить.

Зайцев пожал на прощание сухую теплую руку. И только в коридоре понял, что в этом кабинете было странного. На лампочке не было абажура, на окнах — штор, на полках — книг, папок и прочей канцелярской, зарастающей пылью, слежавшейся и желтеющей дребедени. Тем более не было фотографий, кубков, трофеев, сувениров — ничего личного. Кабинет товарища Баторского был не просто гол, он был совершенно пуст.

Как будто вообще не был его кабинетом.

Зайцев затворил за собой дверь.

На миг задержался. Поглядел на свое отражение в медной табличке, привинченной шурупами. «Баторский М.А.» было выбито на ней казенным учрежденческим шрифтом.

И все-таки это был его личный кабинет.

— Товарищ Зайцев, следуйте за мной, — официально-сухо, но так, чтобы все-таки показать недовольство, напомнил адъютант. И шмыгнул красноватым носом. Насморк в летний день мог запросто случиться с любым ленинградцем, климат такой. Но уж больно взгляд напряженный. Простуженный гражданин не опасается милиции. Э, друг, как там в песенке? «Кокаина серебряной пылью все дороги твои замело»?

Шныряющий по коридорам следователь, похоже, здесь никому не нравился.

* * *

Еще один будущий маршал обнаружился в Красном уголке. Будуар, прямо как у Розановой, отметил Зайцев, быстро оглядев комнату. Впрочем, ее близнецы обитали в каждом советском учреждении. Непременная комната для чтения и обсуждения политических передовиц, трудов Маркса и Ленина, речей Сталина и последних постановлений советской партии. Различались только размеры и размах украшений — бюстов, лозунгов, стенгазет, знамен или хотя бы просто драпировок. Даже графин с нахлобученным сверху захватанным граненым стаканом стоял на том же месте.

Будущий маршал лежал на нескольких составленных рядом стульях под широко распахнутой газетой. Листы слегка шевелились от сонного дыхания.

Адъютант Маркин бесцеремонно лягнул в торчавшие подошвы сапог.

— Подъем, кавалерия.

Газета с шорохом обрушилась на пол. Показалась коротко стриженная голова. На лице — ошеломленное выражение человека, только что вынырнувшего из стремнины.

— Радзиевский, — представил его адъютант. — Товарищ — с тобой беседовать. Из уголовного розыска.

Ошалело заморгали мутные со сна глаза.

— Из уголовного?

— Вы, товарищ, кричите, когда закончите, — наказал Зайцеву адъютант. Он старался не шмыгать носом, но все-таки пришлось. — Я вас дальше поведу.

Доверия Зайцеву, очевидно, больше не было.

Скрипнули сразу и петли, и сапоги — адъютант деликатно притворил за собой дверь. Не исключено, что тут же припал к ней ухом с другой стороны. «Уж больно вид смышленный», — отметил Зайцев. Сел напротив курсанта, все еще пребывавшего не вполне по сю сторону мира.

— Зайцев. Ленинградский угрозыск.

— А что я уже натворил? — Курсант Радзиевский протер глаза, потер переносицу и проснулся окончательно.

Настроение у товарища Радзиевского спросонья было юмористическим.

— Товарищ Радзиевский, — начал Зайцев. И подумал, глядя на тонкие черты лица, что на сызмалу знакомого с телегой крестьянского дитятю этот не больно-то похож. Польское, может, украинское дворянство — это скорее. — Я, собственно, насчет погибшего инструктора Жемчужного.

Радзиевский поднес ко рту кулак, проглотил зевок.

— Да. Большая потеря.

— Его здесь любили?

Радзиевский поглядел на него удивленно.

— Или не любили? — поправился Зайцев. — Ничего страшного. Мало ли какие шероховатости случаются, особенно если люди все взрослые, а их за школьную, можно сказать, скамью. Все с опытом, сложившиеся, — прощупывал он почву. — Я просто пытаюсь понять, что за человек был товарищ Жемчужный.

— А он-то что натворил?

Зайцев дружелюбно улыбнулся:

— Погиб.

Черноглазый Радзиевский несколько секунд смотрел Зайцеву в лицо. «Пан, — думал, глядя на него, Зайцев, — пан Радзиевский». Наконец пан нашел слова:

— Мы все здесь всего на год. Из разных полков, даже разных армий. Дай бог перезнакомиться успеть. Не то что в душу заглядывать. Ни в плохом, ни в хорошем смысле. Некогда. Учеба. Нагрузки.

Он толкнул ногой газету:

— Вон. Спишь, когда придется. Солдатская ляжка.

— Понимаю. Но поверхностное мнение мне тоже интересно.

— Поверхностное, — машинально повторил Радзиевский. — Любили. Знающий был мужик. Все по делу.

— Вы знали, что он выступал на ипподроме?

— Что спортсмен? Знал, конечно. Все знали. — В голосе чувствовалось уважение. — Хороший наездник. Мастер. Опытный знаток лошади.

— Он ведь бывший царский офицер? — спросил Зайцев. И увидел, что попал: Радзиевский начал краснеть. Сперва заалели кончики ушей. Потом уши целиком. Щеки.

— Это важно? — неопределенно ответил Радзиевский. — Вы бы в отделе кадров спросили. Там наверняка анкета.

«Товарищ Баторский забыл дать четкие распоряжения на случай такого вопроса», — не без сочувствия подумал Зайцев.

— Слушайте, а как его?.. Тьфу, вылетела фамилия из головы. С вами учится. Вот только что с ним говорил... Губы тонкие.

Примет было маловато.

— Одеколоном пахнет.

— Мишка, что ли? Кренделев?

— Во-во! Точно. У меня крутится, главное, хлебная фамилия. Я к чему вспомнил. Смотрел на него: вот красный кавалерист, офицер, теперь в Ленинграде на курсах командного состава. Может, будущий маршал. А ведь сам — деревенский паренек.

Радзиевский выслушал молча. Видно было, он пытается понять, куда эта политически грамотная речь клонит. Да что там, понял уже. И это ему не понравилось.

— А вражеская пуля, товарищ из уголовного розыска, — медленно и сухо проговорил Радзиевский, — она не разбирается,

какого происхождения паренек — крестьянского или какого другого. Оба, если надо, поднимутся родину защищать.

Дверь распахнулась — без стука. Вошел мужик в блузе. Мужик зыркнул на Радзиевского, на Зайцева. Зайцев успел отметить неровно подстриженную бороду. Дворник или завхоз.

— Пора очистить помещение, — недовольно сказал бородатый.

— Извините, — поспешно поднялся Радзиевский. Нашел на стуле фуражку. Зайцев тоже встал.

Бородач деловито взял за горло бюст Ленина, другой рукой — Маркса и с обоими вышел.

— Извините, не многим смог вам помочь. — Радзиевский надел фуражку.

Адъютант Маркин, маячивший в коридоре поодаль, оживился.

— До свидания, товарищ Радзиевский, — пообещал Зайцев.

— Всего хорошего. — Дал понять, что не желает этого свидания, потомок шляхтичей.

— Сюда, товарищ, — позвал адъютант.

Зайцев потащился за ним. Маркин вел облезлыми, давно не метеными коридорами. Валялись клоки соломы. «А дисциплина-то хромает», — подумал Зайцев, у которого армейские коридоры вызвали банальное представление о чем-то вылизанном до блеска.

Породистое надменное лицо Радзиевского не выходило у него из головы. Видел он его где-то раньше, что ли, хмурился Зайцев.

Адъютант обернулся. Принял хмурое выражение на свой счет. Ответил улыбкой. А глаза нервные.

«Товарищ Баторский, я вижу, приказ отдал исключительно ясный», — понял Зайцев.

Потом были еще лица. Все разные: широкие, узкие, скуластые, горбоносые, породистые, простецкие. И все похожие: молодые, обветренные и загорелые, привычные к свежему воздуху. Слова они говорили тоже почти одни и те же: «любили», «мало знали», «всего год вместе», «первоклассный специалист».

«Двадцать три богатыря, в чешуе, как жар, горя», — подумал Зайцев, поняв, что уже перестает их различать. А дядька Черномор, Баторский, однако, успел распорядиться. Двадцать три богатыря встали как один — сомкнув ряд чешуей наружу. Попросту говоря, дружно ввали.

Слова сыпались шелухой, и Зайцев лишь ловил редкие даже не крупницы правды, а пылинки, указывающие: правда где-то здесь, близко и далеко одновременно. Чуть сжалась челюсть, чуть напряглась спина, чуть дрогнул голос, запинка некстати...

Зайцев не был разочарован. И когда услышал, что восемь курсантов на учениях в Сиверской и будут в казарме только поздно вечером, с облегчением ощутил, как налиты тяжестью его ноги, как утомлен мозг.

— Хотите подождать? — безразлично уточнил адъютант. А сам даже не сбавил шаг.

— Значит, не сегодня, — сказал Зайцев. Тот так же безразлично кивнул. Но Зайцев уловил на его лице облегчение.

— Прикажете вывести?

— Идемте.

И опять коридоры.

Зайцев размышлял на ходу, ступая по прямоугольникам света и тени. Радзиевский, конечно, прав: пуля дура. Но товарищ Баторский отнюдь не дурак. Что творилось под этим черепом, просторным, чисто выбритым и даже, кажется, натертым до блеска замшевой тряпчочкой, как дорогой бильярдный шар? Бог весть.

Заслужил же он этот свой воротник. Как-то. Не за усы.

Зайцеву искренне хотелось понять, что двигало Баторским. Он попробовал войти в его мысли — как входишь руками в рукава чужого пальто.

Ведь не бежал же Баторский после революции. Не подался в Белую армию. Почему? Ответов было много, слишком много. Все казались верными.

Неужели правда, как сказал скромный, пьющий, несчастный ветеринар Кольцов, это с самого начала было согласие — любовное, осознанное, искреннее? «Мы, настоящие боевые, с самого начала были за революцию».

Или все проще. Зайцев вспомнил зеленый блеск глаз: как Баторский разошелся во время тирады про рысаков. Вот где была подлинная страсть, главный смысл жизни. Лошади, кавалерия. Разве лошадь не все равно лошадь — хоть при царе, хоть в СССР?

Или, может, еще проще. Жена, любовница, дети. Нет, пожалуй, наоборот: как раз те, что с женами и детьми, бежали первыми?

Или все не просто даже, а совсем элементарно. Только три слагаемых: инстинкт самосохранения, совесть и здравый смысл, он же корысть. Карьерный инстинкт. Довольно, чтобы в нужный момент, на переломе, шепнуть Баторскому: оставайся, дружок. Не суетись. Вот новые хозяева жизни. Служи. И он служил. Искренне справедлив. Тверд в принципах. Не делающий различий между бывшими благородными и нынешними рабоче-крестьянскими.

Или все-таки делающий?

Есть ведь такие простые вещи. Зайцев вспомнил Радзиевского, его зевок в кулак. Как человек кладет руки на стол, как держит вилку, икает, смеется, садится, встает, чешет глаз. Такие простые вещи, которые скажут: вот свой, вот чужой. И это не форма, которую можно напялить и снять. Не одеколон, которым привыкнешь пользоваться. Свое всегда будет милее чужого. При любой власти.

На поверхности ККУКС являл идеальный симбиоз старых знаний на службе новому строю. Вот только...

«Назад!» — завопили стены Зайцеву в самые уши.

На него сразу обрушились и топот, и крики, и храп. Зайцев извернулся всем позвоночником, чтобы отскочить, — и только потом за движением успело сознание. Мимо промахнуло бьющееся косматое восьминое существо. Обдало животным жаром. Налитые кровью глаза, дьявольские ноздри. Зайцев тяжело дышал, с трудом соображая, что опасность позади. Запоздав, его всполошенный разум придал косматому многоногую пятну форму: взбесившуюся вороную лошадь тщетно старались удержать два конюха.

Конь изгибался дугой, скручивался, выстреливая по очереди то передними, то задними ногами. Люди беспомощно висли по бокам, уворачиваясь от длинных, как клавиши баяна, желтоватых зубов. Все трое сплетались в таких причудливых позах, что казалось, борются кентавр и человек, притом у человека конская голова.

— Твою мать, — выронил адъютант. У него дрожала челюсть, фуражка лежала в пыли, задрав козырек. Он поднял ее и чуть не упал, наклонившись. Вытер нос рукавом.

Мат конюхов и храп зверя отскакивали от высокого потолка, барьеров, стен. «Держи!» «Сука!» Разъяренный храп. Человек в форме выбежал из прохода, мгновенно сдернул с головы на бортик фуражку и бросился к кентавру.

Зайцев не хотел бы оказаться на его месте.

— Твою же мать, — резюмировал адъютант, отряхивая фуражку. — Ну, Журов, бедовый.

— Журов? А разве те восемь курсантов из Сиверской не поздно вечером должны были вернуться? — спросил Зайцев. Лепет адъютанта он пропустил мимо ушей. Снова глянул на клубок. Который из троих?

Конюхи, впрочем, уже отпрянули в стороны, и их теперь было двое — курсант и лошадь. Выглядело куда менее живописно, чем у скульптора Клодта, который запечатлел борьбу нагого человека и коня по четырем углам моста, известного каждому ленинградцу. Курсант Журов к тому же не был гол. Его форма быстро покрылась пылью, на ней висели и мокли клочья пены, летевшие с мускулистой шеи, боков, мощной груди зверя.

Журов как-то ловко схватил узду, пригнул морду коня к самым грудным мышцам, и Зайцев не успел уловить движение, как Журов уже махнул себя вверх. Оседлал, сжал ногами скользкие, раздувающиеся бока. Конь под ним выгибался и извивался. Казалось, Журов оседлал дельфина. Зайцев видел, что курсант при этом что-то говорил. Не орал, не вопил — спокойно увещевал, потому что ни слова было не слышать за всхрапами и топотом.

И вдруг буря улеглась.

Конь рванул вправо, влево. Выровнял ход. И, наконец, пошел, поставив хвост султаном, легко выбрасывая тонкие ноги — как бы играючи. Курсант Журов направил его на Зайцева.

Это было неприятно: конь казался просто огромным. С морды капала пена. Белки все еще были красны. Он надвигался. Зайцев боролся с желанием отскочить. Но видел голубые глаза всадника, неотрывно глядевшие в его лицо, — в них было недоброе, холодное и веселое любопытство. На понт берет. Зайцев заставил себя не двинуться с места. Журов осадил лошадь невидимым движением — животное тотчас встало. Замерло. «Как лист перед травой», — вспомнил Зайцев присказку. Его обдало топотом и теплой, животным пахнувшей волной.

— Кретины! — завопил знакомый голос. Тонкая талия, галифе. — Чуть лошадь не угробили!

Конюхи стояли перед инструктором Артемовым, безопасно убравшись за барьер. На них изливался холодный душ ругательств.

Зайцев поднял и отряхнул кепку, выбивая песок.

— Дуррррье! — раскатывал Артемов.

— Испугались, товарищ следователь? — весело спросил из седла курсант Журов. На вид — ровесник Зайцева.

— Есть немного.

— Это ничего. Можно, — приветливо кивнул Журов. — Вам как штатскому, пешеходу и пассажиру трамваев — не возбраняется.

Зайцев хмыкнул.

— Не обижайтесь, — уже дружелюбнее заговорил курсант. — Эту зверюгу знаете, как зовут? Злой. Сволочь редкая, но на ходу — игрушечка. А рысью так мягко стелет, хоть книжку сиди читай.

— Журов! — позвал Артемов.

Курсант шутливо козырнул Зайцеву. И конь послушно — тем же легким шагом — направился к инструктору с тонкой талией.

— Журов, конечно... — начал адъютант, но не договорил.

Зайцев бросил на него быстрый взгляд.

Адъютант смутился. На ходу приставил к фразе окончание — совсем не то, что чуть не выпало из его рта:

— Отличник курса. Наш первач.

— Комсомолец и спортсмен? — уточнил Зайцев.

Адъютант посмотрел на него полоумно. Кивнул.

— Они в Сиверской, видно, раньше управились...

Зайцев поднял руку, останавливая его ненужное вранье.

— Завтра побеседуем.

Журов на жеребце с подходящей кличкой Злой уже скрылся в проходе. Инструктор Артемов огладил ладонью седой ежик на голове, снова надел фуражку, заорал в проем:

— Уснули там?! За смертью вас только посылать! Арш! Арш! Арш!

И снова хлынул топот. Но уже ровный, смирный. Снова теплые пахучие волны одна за другой. На манеж выгоняли лошадей. Видимо, проминать или что там с ними полагалось делать. Зайцев невольно остановился, так и зажав в руке пыльную кепку. Остановился, поджидая его, и адъютант.

Солнце наполняло манеж золотым светом. Вычищенные сытые холеные животные блестели. Вспоминалось старинное, к советским будням никак не приложимое слово «муар». В этом царстве армейских

гимнастеров, среди обшарпанных стен, с бытом общих столовых, общих казарм, общих уборных лошади поразили Зайцева царской роскошью. Черный шелк. Серый бархат. Золотой атлас. Нечистый песок подчеркивал их драгоценное сияние.

Но не только роскошь.

В царстве мужчин, среди грубых окриков, команд, презрения ко всему невоенному, не мужскому, лошади поразили Зайцева женственностью. Длинные хвосты. Длинные гривы. Черные влажные глаза. Одновременно и стройность, и округлость форм.

Да и в жеребце Злом, «редкой сволочи», было что-то женственное и роскошное — что не принадлежало жизни, в которой были партсобрания, приемы в комсомол, стенгазеты.

Зайцев смотрел на переливающийся круговорот. И понимал, что может вот так стоять, и стоять, и стоять — смотреть, смотреть, смотреть...

— Красиво, — не удержался адъютант.

— Идемте, — кивнул, наконец, и Зайцев.

Глава 5

— Собак терпеть не могу. Дрянные твари.

— Это чем же тебе, Нефедов, друзья человека не угодили? — пробурчал Зайцев, берясь за ручку кружки.

Не хотелось, чтобы Нефедов сейчас свернул на те их догонялки у Зоопарка, их прыжок вместе с псами в ледяную Неву. Неприятна была мысль, что на Нефедова все это «повлияло». Это значило бы впервые признать самому себе: «Да, и на меня тоже».

— А лошадей — люблю, — продолжал Нефедов как ни в чем не бывало. Осторожно подул на пену, потрогал ее губами, сделал глоток. И когда Зайцев уже думал, что тот не ответит, вдруг сказал:

— Лошади напоминают мне не очень умных, но добрых, терпеливых людей. Которые связались с дрянными и поделать ничего не могут. Возят грузы, возят пассажиров, в цирке служат. Такие штуки там откалывают, мамочки! — Вдруг оживилось свиное личико: — С нами служили наездники Джиевы...

— Это когда ты Икаром был?

— Сыном, а не Икаром, — серьезно поправил Нефедов. — Наш гимнастический номер назывался «Икар и сыновья».

— А Джиевы тоже, что ли, сыновья?

— Братья. Если не брехали. Кто их, абреков, знает. Может, такие же братья, как мы сыновья. Даже не однофамильцы. Не суть. Что их кони вытворяли! Только что человеческим голосом не говорили.

— А ты говоришь, не очень умные.

— Потому и говорю: не очень умные. Были бы умные, давно дали бы этим братьям копытом по морде и ускакали бы, — он отхлебнул пива, — своим умом жить.

Эта пивная на Загородном нравилась обоим за постоянный шум и толчею. Подавальщицы в несвежих фартуках были настолько утомлены разнообразием жизни, что добиться их внимания было невозможно. Посетители торчали вокруг высоких, на американский манер, столиков и галдели. Обсуждай что хочешь — никто не услышит. Зайцев сам себя едва слышал. Здесь можно было не опасаться чужих ушей. Нефедов наклонился к нему ближе:

— А что собачки-то?

— У нас сейчас лошадки первой очередью.

— Поют?

— Сам как думаешь?

— Один из абреков, Джиевых этих, помню, бабу зарезал. Ну не зарезал, а так, напугал. Ну не совсем бабу, а лилипутку. Любовь у них была. Может, не любовь, а шуры-муры, поскольку баба эта жила постоянно с коверным. Ну не то чтобы жила...

— Ну да ну! Запряг, что ли?

— Вы меня не сбивайте, товарищ Зайцев. Короче, вызвали докторицу, а докторица не будь душой — мильтонов. Те прискочили, а баба: «Ничего не знаю, упала. Поцарапалась при падении». А тут уже и коверный: вот, говорит, тут и упала. И все, значит, кивают. И мимо клеток, значит, провели. И где упала показали. И коверный больше всех. Чуть ли не сам при них упал — для пущего следственного эксперимента.

— Тоже мне вывод, — прервал эти мемуары Зайцев. — Это-то я и сам понял: рассказывать курсанты наши сами не побегут. Не та публика.

Молча сделали по глотку.

— Вот лучше расскажи ты мне, Нефедов, как дитя цирка, что такое закрытые коллективы с человеком делают, что потом хоть поубивают там, а стукнишь к ним — встанут один за всех и все за одного. И рот на замок.

— Одна большая семья, — ответил Нефедов поверх кружки.

— Интересно, что семьи у Жемчужного, похоже, никакой и не было. Только кони да курсанты эти.

— Вы же вроде говорили, классовыми противоречиями там пахнет.

— Пахнет! Разит, я говорил. Только не очень я, Нефедов, верю, что на классовой почве можно человека убить.

— Красного террора тоже не было? Вы у товарища Розановой спросите. Прочтет лекцию.

— Так это когда было. Революция, гражданская. Война — это совсем другое дело, Нефедов. Сейчас время мирное. Сейчас бесит гражданина сосед из «бывших» — так гражданин на мокруху не пойдет. Он сигнал компетентным органам подаст.

— В гражданскую, говорите, они все служили. Ну-ну.

— По одну сторону, Нефедов, по одну! Даже этот Баторский. Он к красным практически сразу перешел.

— Практически или сразу?

— Понимаешь, не сложилось у меня впечатления, что товарищ Жемчужный — такая уж белая кость, голубая кровь. Ну служил в царской армии. Но на балах в Зимнем не танцевал, в особняках не жил. Не гвардия даже — армейская кавалерия. В офицеры поднялся, может, вовсе из солдат. Это я по его послужному списку еще завтра уточню. Но думаю, не ошибаюсь. Чего?

Нефедов поставил кружку.

— Вот у нас служила наездница, Вероника Изумрудова.

— Ты же говорил, братья Джиевы.

— Нет, Джиевы показывали джигитовку. А она, значит, всякие сложные штуки: лошадь у нее делала реверансы, вальс танцевала — такие дела.

— Ну?

— Запрягли, что ли? — передразнил Нефедов.

Зайцев нахмурился совсем не поэтому. Изумрудова. А тот — Жемчужный. Как курсант Кренделев сказал: что за фамилия такая, в оперетте выступать. Или в цирке.

А Нефедов вел дальше:

— Потом через Финляндию убежала. В Париже теперь, говорили. Графиня Безбородко она была, Вера Безбородко. А никакая не Вероника Изумрудова. И выездке училась по своей графской прихоти, у лучших французских наездников.

— А чего ее в цирк-то понесло? Тоже по прихоти?

— А революцию пересидеть. Никто ж не думал, что это надолго. Платили продуктами опять-таки. Плюс гастроли по губерниям, пока в Петрограде голод был.

— Ну, Нефедов, и цирк у тебя был. Прямо какая-то человеческая комедия. Чего ни скажу, все уже было у вас.

— Шапито. Человеческое шапито, — вдруг произнес Нефедов. Зайцев глянул на него удивленно. Но круглое личико снова стало сонным, совиным.

— Как скажешь, — пробормотал Зайцев, отхлебывая пиво. — Только завтра мне без тебя никак. Завтра я с оставшимися восьмерыми побалакаю. А ты прошвырнись еще раз по остальным. Покрутись,

порасспрашивай. Где были, когда Пряник к вокзалу подкатил. Что поделывали. Насчет Жемчужного спроси. Братство — это хорошо, но где-нибудь они осечку дадут. Где-нибудь запутаются. Допустим, они заранее обо всем договорились. Дисциплина дисциплиной, но их там почти две дюжины. Не двое, а две дюжины! Как ни сговаривайся, а вероятность осечки растет. И мы ее упустить не должны.

— Да я готов. Только кто ж...

— Выпустят. Завтра, — уверенно пообещал Зайцев. — Я на Коптельцева комсомольцев натравил.

— Товарища Розанову?

— Угу.

— А, — сказал дну кружки Нефедов. — Это хорошо.

— Пусть знают товарищи кавалеристы, что мы от них просто так не отстанем.

— Угу, — промычал Нефедов, вытягивая со дна остатки пены.

* * *

Простившись с Нефедовым, Зайцев свернул от Пяти углов к Фонтанке. Вечер был теплый, но мутноватый: задувал ветер, небо подернулось мокренькими облаками. На Фонтанке ветер взялся за Зайцева решительно — кепку пришлось придерживать рукой, пока он переходил по мосту. Река напоминала мятую свинцовую фольгу. На набережной было светло, но пусто. Белая ночь. Зайцев свернул в переулок, пошел вдоль безлюдных арок Апраксина двора. Чувствовалось приближение злачной части города. Из арок тянуло мочой и помоями.

Зайцев скорее услышал, чем увидел, движение в полумраке. Вздрыгнул, ощутил удар дремучего страха. И сам на себя за это разозлился: пес был бродячий, тощий и пыльный, шерсть свалаялась. Он с опаской смотрел на позднего прохожего — пнет или мимо пройдет.

Зайцев вспомнил Нефедова: «терпеть не могу собак». Остановился. Он чувствовал липкое отвращение, на грани паники. Оно

зародилось помимо его разума. Оно росло, ширилось. Оно жило своей жизнью.

Пес не сводил с него карих глаз.

Зайцев сделал несколько шагов навстречу. Сердце против его воли бухало.

Пес нерешительно покачал опущенным хвостом — все еще сомневаясь, все еще готовый отпрянуть от пинка под ребра.

Во рту у Зайцева пересохло. Сердце билось в горле.

Нельзя было дать этому новому инстинкту жить своей собственной волей. Жить и расти.

Он протянул руку. Наклонился. Заставил себя потрепать пса по грязной голове. Сдвинул назад мягкий лобик, потрепал выпуклые вишенки бровей, почесал за жесткими ушами. Хвост стал мести быстрее, спина животного, с тощим хребтом, видимым даже сквозь шерсть, обмякла.

— Псина, — сказал Зайцев. — Эх ты, псина. Прости, угостить нечем. Ну прости.

И пошел своей дорогой. На пальцах осталось ощущение нечистоты, пыли.

На Мойке он нашел спуск. Сошел по гранитным ступеням к воде. Здесь тоже разило мочой: ленинградцы не стеснялись облегчаться с видом на некогда пышные дома, аристократические особняки. Но от воды дышало свежестью.

Зайцев наклонился и ополоснул руки.

Он, наконец, почувствовал, как ужасно хочется спать.

* * *

У Паши в дворницкой горел свет. Зайцев видел три тени — они поднимались, двигались. «Моя прислуга», — саркастически вспомнил он. То ли странницы, то ли сектантки. Две тощие женщины, которых загадочно наняла ему Паша, в квартире не появлялись и вообще не показывались ему на глаза.

«Уж не краденое ли они там втроем теперь перешивают», — мелькнула мысль. Он поднял камешек, хотел легонько бросить Паше в окно. Но тут свет погас.

* * *

Дежурный по вокзалу не любил ночные погрузки. Летом, впрочем, пока стоят белые ночи, еще ничего. Меньше суеты, в людях словно еще сохраняется дневная сноровка.

Но уже и белая ночь погасла. Съежилась до тоненькой светлой полоски на горизонте. Ночь уже была самая настоящая, темная. От фонарей остроухие тени на вагонах казались еще причудливее. Одна за другой восходили, токая, гулко постукивая по деревянному накату, — в вагон. Остроухие тени шли по стенке вагона и пропадали в черном проеме. Они казались рогатыми.

— Тьфу, дьяволы, — дежурный сплюнул.

— Иди-иди, папаша, не глазей. Чеши мимо, — без злобы посоветовал ему часовой.

Злоба часовому не требовалась. В руках у него была винтовка.

Дежурный хотел отбрить, что, мол, ему и глазеть-то неча. Без сопливых он все тут знает. Побольше некоторых. И номер пути. И размер состава. И даже направление — Новочеркасск.

Но грохот оборвал его мысли. Грохот и странный вскрик. Часовые обернулись, с вышколенной, бессознательной четкостью заодно отгесняя зеваку. Закрывая собой обзор.

У вагона суетились люди. Слышался храп. Нечеловеческий. «Отойди, отойди, зашибет!» «Кого? Ты глянь», — переговаривались голоса. Вместо деревянного настила торчали задравшиеся доски.

— Сука! Кто не скрепил помост, а? Сука! — допытывался голос. Ярость в нем мешалась с отчаянием.

— Так велели побыстрее. Вот и побыстрее! — Оправдание в другом голосе было окрашено виной и досадой.

Храп перешел в хрип.

— Ах ты... Мать твою... Сломал.

Вопроса дежурный не расслышал: далеко. Донесся ответ:

— Да точно. С-с-суки. Что я — не знаю. Сломал. Загубили.

— Дайте.

— Гляньте сами.

— Нельзя так оставлять.

Неуверенное бормотание.

— Панкратов! — рявкнул из темноты тот, который материл.

Часовой сорвался с места. Другой хмуро повернулся к дежурному.

— Давай-давай, папаша. Сказано: чеши.

— А что случилось? — поинтересовался дежурный, вытягивая шею.

— А ну!.. — Теперь часовой теснил его прочь уже угрожающе. Но и на его лице, видел дежурный, было написано... жалость? смятение? Или просто так ходили тени от фонаря?

Несколько мгновений в темноте слышен был только храп, хрип.

А потом раздался выстрел. Так, что дежурный вздрогнул. И хрип стих.

* * *

— О, — радостно приветствовал его на лестнице Самойлов. От сыроватой лестницы пахло грязной тряпкой: только что прошлась утренняя уборщица.

— Тебя где вчера носило, Вася?

— В каком смысле? — не понял Зайцев.

— Коптельцев тебя обыскался.

— Прямо так тебе и доложил?

— Я тоже обыскался, — объяснил Самойлов. — Мне вторая пара рук сейчас до зарезу как. В парке на Удельной группа хулиганов...

— Какого черта! — не сдержался Зайцев. — На мне же дел как бубликов на бабе.

И, перепрыгивая через две ступени, ринулся в кабинет начальника угрозыска.

— На каких основаниях?

У Коптельцева дрогнули щеки, маленькие глазки недобро блеснули.

— Ты, товарищ Зайцев, осади-ка.

Зайцев видел, как выражение «я здесь начальник» застряло у Коптельцева на самых зубах; тот запнулся, как человек, уже понявший, что разжевал кусок с плесенью, а выплюнуть обратно — вроде как неприлично. Пришлось глотать. Проглотив, Коптельцев перевел дух и произнес уже спокойнее:

— А на таких, товарищ Зайцев. Служба у тебя такая — преступников ловить. Сам знаешь, сотрудников сейчас не хватает. Ты же сам говорил о необходимости работать в четыре руки. Так что вперед. Дуй с Самойловым, куда он скажет.

Зайцев все понял. Коптельцев не мог просто так перебросить другому ведомству дело Жемчужного, как горячую картофелину. Не мог и отставить от него Зайцева. Но завалить Зайцева другими заданиями — и тем все застопорить и развалить — это он мог запросто. Сейчас, когда остывали все следы, исчезали улики, а те, кто мог что-то рассказать, играли в молчанку. Это было все равно, что закрыть дело Жемчужного как зашедшее в тупик — и сдать в архив.

— Иди. Отрабатывай хлеб трудового народа. Самойлов ждет, — буркнул, усаживаясь поплотнее: победил.

* * *

Самойлов тихонько пихнул его локтем, мол, теперь ты.

Не слышно было ничего, кроме дождя. Он все пытался вспомнить ритм, выстукивая по железному больничному подоконнику, но все сбивался. По стеклу бежали струи.

— Марья Николаевна, — тихо позвал Зайцев.

Он уловил, как плечи и спина под больничным одеялом тотчас сжались. Она была укрыта с головой — серый камень, очертаниями напоминающий человеческую фигуру. На пологом краю угадывалось казенной манерой вытканное слово «ноги».

Зайцев почувствовал бессилие. От агента женского пола толку здесь было бы больше. Сам звук мужского голоса сейчас приводил потерпевшую в ужас.

Самойлов сделал ему большие глаза. И здесь время работало против них, понимал Зайцев. Против нее самой прежде всего. Как только объяснить ей, что легче — станет?

Раскрыл папку. Снимки всех задержанных.

— Марья Николаевна, — постарался он говорить как можно мягче, тише. — Может, взглянете? На карточки-то?

Нет ответа.

— Минутная процедура.

Только стук дождя.

— Мы всех взяли. Все арестованы и находятся в камерах, — мягко принялся убеждать Зайцев.

Он хотел добавить: «Никто больше не причинит вам вреда». Но счел за благо вообще не упоминать вред. Не напоминать.

«Вдобавок кто-то из этих мерзавцев заразил ее гонореей», — сказал врач.

— Их всех постигнет жесткое, заслуженное наказание. Не сомневайтесь. Вплоть до смертной казни.

После чубаровского дела (группового изнасилования несколько лет назад в Чубаровом переулке) сомневаться в этом действительно не стоило. Заводилы тогда получили вышку. Остальных закрыли на много лет.

— Что вам от меня надо?

Голос из-под одеяла был глухим и таким же, как одеяло, серым.

Зайцев и Самойлов переглянулись. Зайцев привык защищать право мертвых — убитых. А утешать — живых, родственников жертвы. Несчастных, огорошенных, страдающих — и все же живых. Но здесь... Она была живой: дышала, говорила, ела. И все-таки мертвой тоже. Живому человеку этот серый голос, эти каменные плечи принадлежать не могли. Как с ней говорить — было не понятно. В глазах Самойлова Зайцев прочел ту же растерянность.

Зайцев кашлянул.

— Следственно-розыскные мероприятия требуют опознания, — пояснил он, надеясь, что казенный язык послужит вроде толстого

мутного стекла, глядеть сквозь которое на преступление ей будет не так больно.

Каменные плечи. Стук дождя. Никакого ответа.

Опознали, на самом деле, сами же обитатели домов. Банду молодых горлопанов знали хорошо — дружно боялись, дружно ненавидели. И взяли — тоже всех. На кого только показали жильцы.

Но взять хулиганов по совокупности, так сказать, заслуг это одно. Провести по конкретному делу — обвинению в групповом изнасиловании — здесь все же требовались слова жертвы. Показания. Опознание.

— Взгляните, — мягко спросил Зайцев. Но опять почувствовал, что звук его голоса, мужского голоса, ей омерзителен.

Самойлов вдруг подскочил к кровати.

— Товарищ Петрова! Вы комсомолка! Прекратить ныть!

Рывком дернул серое одеяло. Петрова громко, как заяц, вскрикнула. Фигурка на кровати оказалась крошечной и тут же сжалась в позу эмбриона.

— Самойлов, ты что! — заорал Зайцев.

— Прекратить хныкать, Петрова! — рявкнул Самойлов на ее тоненький, непрерывающийся крик. — Ты бандитов своим нытьем покрываешь! Ясно? — Он встряхнул ее за плечи, она захлебнулась собственным голосом. — Ты комсомолка! Не жертва! Ты — обвинитель!

Зайцев выронил папку, снимки разлетелись по полу. Он тщетно пытался поймать Самойлова за руку. Поймал. Оттащил. Выволок из палаты.

— Ты что, рехнулся?

Самойлов его оттолкнул:

— Ты рехнулся! В четвертый раз уже сюда! В четвертый! Заколебала! Можно подумать, конец света! И похуже бывает! Молодая девка, а...

На шум уже бежала больничная сестра в белом колпаке. Недобро глянула на обоих, скрылась в палате.

Зайцев вполне понял Самойлова. Но.

— Так нельзя.

— Так только и надо! — брызнул слюной Самойлов. — Нытьем ей не поможешь! Если она вот так, значит, бандиты эти своего

достигли! Значит, сдалась! Значит, все мы зря! Они победили! Значит, на хрен все это.

— Угомонись, Самойлов! Угомонись.

— Да я бы падаль эту, сволоту эту сам бы без всякого суда своей рукой перестрелял...

— Я тоже, — честно признался Зайцев. — Я тоже. Но нет такого «я», нет «мы». Есть правосудие.

— Болтовня!

— Иначе мы от них ничем отличаться не будем. Ничем. Такое же зверье.

Лицо Самойлова налилось красным. Он только пыхтел.

— Ну, Самойлов... Ну!

— А она... Неужели она не понимает?..

Он помотал головой. Обмяк. Зайцев толкнул его к подоконнику, хлопнул по плечу.

— Я сейчас.

Он тихо притворил за собой дверь палаты. Сестра щелкала ногтем по шприцу с мутной жидкостью. Бросила на Зайцева уничижительный взгляд. Неодобрительно качнула головой. Но ничего не сказала. Выпростала, вытянула безвольную белую руку Петровой, перетянутую резиновым шнуром. Нашла иглой вену.

Зайцев принялся собирать с пола карточки. Старался при этом не встречаться с ними взглядом. Современная наука давно развеяла старинную немарксистскую теорию криминалиста Ломброзо о том, что есть якобы «тип преступника» и будущих нарушителей закона можно вычислить по внешности. Но здесь Зайцев должен был признать, что в теории Ломброзо что-то есть: морды были те еще. Снимки вопили: виновен!

Зайцев невольно задержал взгляд на последнем. Все черты лица на месте, но будто чуть расползлись, словно природе не хватило последнего усилия, чтобы получился человек. Вышел монстр. И ведь наверняка никакой мистики, сплошная химия да биология — алкоголь в трех поколениях. Спросить бы вот хоть эту медсестру.

Но безбровый — из-за низко надвинутого колпака — взгляд быстро велел ему убираться.

Самойлова он нашел на лестнице. У значка «Просьба не плевать и не курить». Самойлов дымил, часто и глубоко затягиваясь. Лестница, благо, была пуста.

— Значит, будет и пятый раз, — сказал Зайцев.

Самойлов выдул из ноздрей два сизых клыка дыма. Фыркнул.

— Давить эту сволоту надо. На месте. А не судить.

Зайцев сел на подоконник, положил папку на колени.

— Так ведь давим, Самойлов. — Он приподнял папку. — Тут трети вышка светит, если не половине. Остальные на строгач пойдут. Считай, никогда уже в общество не вернутся. Не надо было на нее орать.

Самойлов цыкнул в урну, следом полетел окурок.

— Глянь, Зайцев: знак нельзя, а урна стоит. Значит, не верят в человека, а? Они этой урной уже на правонарушение толкают.

— Пошли, Самойлов.

* * *

У военных, как и у уголовного розыска, нет такого понятия, как рабочий день, в том смысле, в каком рабочий день есть у конторских служащих, продавцов, библиотекарей, шоферов. Только на это Зайцев и надеялся. Никуда эти курсанты не денутся — из казармы-то. Некуда.

Непогода набросила на все серый свет, который мог сойти за вечер.

Аракчеевские казармы, как и вчера, всем своим видом выговаривали «шпицрутен» и «во фронт». Все так же парили башенки Смольного собора, теперь подернутые серой моросью. Прохожие тащили бесполезные зонты. У гражданок от водяной пыли обвисали локоны.

Зайцев прошел в ворота под сбитым императорским орлом, на ходу вытаскивая удостоверение. Сунулся к будке часового. Но будка была пуста.

Зайцев заглянул. Подождал. Со странным чувством, как во сне, когда все можно, толкнул вертушку. Прошел внутрь.

Во дворе не было ни души.

Он прошел к самому манежу, так никого и не встретив. Валялись поломанные ящики. Ключья соломы.

Остановился. Тишина. Подскакивая, шла ворона, поклевывала навоз. Услышав шаги Зайцева, нехотя взлетела: шух-шух-шух.

Зайцев толкнул дверь манежа. Гулкая пустота.

— Что за ерунда, — вслух сказал он и понял, что он во всем здании один. Заглянул на всякий случай в конюшни. Пустые стойла глянули на него прямоугольными глазами.

— Что за хренотень такая.

Услышал шаги, быстро выбежал. Через двор шел бородатый мужик в фартуке. Зайцев его вспомнил — он вчера бесцеремонно унес бюсты из красного уголка. А сегодня катил перед собой тележку. Поверх нее лежала метла. Остановился. Замел на совок навоз, сбросил в тележку. Покатил дальше — к обломкам ящика.

— Стойте!

Зайцев подошел.

— Угрозыск.

Мужик молча ждал продолжения. Зайцев на миг растерялся: любое продолжение звучало бы по-идиотски.

— Где Баторский? — бросил, наконец, он.

— А ты что, диверсант? Чего спрашиваешь?

Зайцев показал удостоверение. Дворник — или кто он ни был — скосил глаза.

— Чего ж сразу карточку-то не показал? Я тебя самого в милицию мог сдать, — не без удовольствия принялся фантазировать он. — Шастает, мол, гражданин подозрительный. По пустой территории.

— Как пустой? — не сдержался Зайцев.

— А какой?

Реальность в глазах Зайцева поплыла, как заваливающаяся набок карусель.

К счастью, дворник сам развил свою мысль:

— ККУКС-то отсюда выехал. — Спокойно подобрал он обломки ящика. — Вчерась последнее имущество запаковали. Лошадок вывезли. И ночью на вокзал — тю-тю.

Зайцев растерянно оглядывал двор. Он не верил своим глазам. Невозможно.

— Вот она, доля солдатская, — продолжал рассуждать дворник. — Сегодня здесь, завтра — там. Приказано — и тью-тю.

Зайцев все еще глядел на него, как на полоумного. Но уже реальность двинулась обратно. Легла обратно в свои прежние контуры.

Зайцев припомнил пустоту в кабинете Баторского. И сор в коридорах. Вот, значит, откуда его вчерашнее ощущение запущенности, пустоты, разорения. Не показалось ему. Все так и было. Он вчера просто не понял, что видит. Что они делали. А они упаковывали имущество. Говорили с ним, не моргнув глазом, а сами уже знали, что завтра их здесь не будет.

Зайцев все не мог поверить.

И вранье насчет восьмерых курсантов в Сиверской. «Вернутся поздно вечером», «приходите завтра». И среди этих восьмерых — Журов, звезда курса.

Вот оно — завтра.

Дворник бахнул обломки в свою тележку, не утруждая себя наклониться. Раздался гулкий металлический стук. Как по пустой емкости. Зайцев невольно опустил глаза.

И тотчас кинулся к тележке. Запустил руки внутрь. Отдернул: порезался о кусок стекла. Попал рукой в лошадиное дерьмо, не обратил внимания.

— Ты чего, товарищ? Спятил? Мусора́ там одни, — недоумевал дворник.

Зайцев схватил торчавшую тут же среди мусора длинную щепу. Осторожно просунул внутрь горлышка.

И вытащил, поднял на щепе нечто вроде металлической бутылки. На дне тележки круглился бок еще одной. Снаряд был чуть тронут ржавчиной. Он был пуст.

— Трогал здесь что-нибудь? Трогал?

— Да ты что вопишь-то? — недоумевал дворник. — Ничего не трогал. Мусора́ вот собираю, сказал. Очищаю территорию. Чего ты за железку эту схватился? Кидай обратно. Узоры там по ней расписаны будто? Глазеешь... Мне глазеть некогда, работы тут невпроворот.

Зайцев, держа пустую оболочку на щепе, повернул гильзу перед собой. Среди разводов ржавчины ясно видна была буква «Ф».

Снаряд был слишком старый. Или нет? Им не могли отравить Пряника. Или могли?

— Куда выехал? Куда?!

— Этого знать не могу. Человек не военный, в приказы не посвящен, — разъяснил дворник. — Им товарищ Буденный приказал — они и поднялись. Кавалерия, ясное дело. А я скорей пехтура. Пехота, значить. Мне товарищ Буденный не указ. У меня свое начальство.

— Подержи-ка, — Зайцев передал ему гильзу. Проворно стащил пиджак.

— Ты чего-й?

Но Зайцев уже принял гильзу в пиджак бережно, как младенца.

— Подними сюда вторую. Да не руками! Палкой! — прикрикнул он.

Дворник воздел вторую гильзу на щепе опасливо, как гадину. Железный бок брякнул о другой. Зайцев осторожно закрыл оба лапами пиджака. Замотал.

— Это что же? Нехорошо это? — заволновался дворник.

— Хорошо, отец, очень хорошо! — пообещал Зайцев.

Самому ему, впрочем, так совсем не казалось.

* * *

На этот раз посреди комнаты стоял мальчик лет десяти-двенадцати. Кухарка (или нянька, впрочем, без разницы) при виде Зайцева испуганно вскочила с колен. Одной рукой схватила швабру, а другой стала быстро толкать мальчишку к двери.

Зайцев перехватил свой сверток одной рукой. Набухшая от дождя газета мягко разъехалась, он едва не выронил хлеб, который прихватил в милицейской столовке, когда отволол пустые гильзы Крачкину. Тотчас прикрыл дверь.

Две пары глаз воззрились на него с одинаковым испугом. Одинаково круглые, под одинаковым разлетом бровей. Не оставалось сомнений: мать и сын. Рука матери опустилась позади и легла поверх груди ребенка — бессознательный жест защиты.

Мальчишка в версию о странницах-сектантках уж точно не вписывался.

Зайцев заметил взгляд, которым оба уставились на хлеб — и тотчас отдернули этот взгляд, как отдергивают руку.

— Я прощения прошу, — залепетала женщина. — Иди, ну иди, — стала она подталкивать пацана. Две пары глаз следили за ним, как за диким животным. Или собакой: бешеная — не бешеная, цапнет — мимо пройдет.

Зайцев содрал ненужную газету, положил хлеб на салфетку на столе. Скомкал влажную бумагу, тотчас оставившую на ладонях свинцовые следы — расплылись постановления партии и новости дня. Он заметил: две пары глаз следили не за его лицом — за руками.

Сомнений не было: в глазах этих был голод.

Зайцев повесил набухшую от дождя кепку на крюк. Пригладил волосы. Если он хотел узнать наконец наверняка, что происходит, то играть следовало по правилам этой Пашиной игры. То есть делать вид, что все это совершенно нормально, ни капельки не странно: да, нянька, да, кухарка. Совершенно естественно одинокому мильтону в коммуналке обзавестись полным штатом прислуги. Что может быть естественней?

Отодвинул стул, кивнул:

— Да ты, малец, садись. Не кусаюсь.

Мальчик присел на краешек стула. С трудом отвел взгляд от хлеба. Глянул на мать. Тощий, с прозрачным и все же неуловимо не городским личиком. Та все суетилась:

— Прощения просим, он уйдет сейчас... Он на минуточку одну только... Он вообще сюда не заходит, это сегодня так — обмишулились... Он вообще у меня не вшивый, не боитесь...

Зайцев решил вытянуть соломинку, предположил: это «кухарка».

— Мамаша, вы бы чаю, что ли, сообразили. Мечите на стол.

Та всплеснула руками, отставила швабру.

— Да я... Да минуточку... Сейчас будет!.. Он тихий у меня, не вороватый, без шаловства... Это, он уйдет сейчас...

Зайцев сунул руку в карман, вынул фунтик с карамелью. Сунул женщине.

— К чаю.

Та испугалась. Замотала головой:

— Да вы это... Он по ошибке просто...

Но выскочила ставить примус.

Мальчик рассматривал край стола.

— Ну, командир, докладывай. Ты чей?

— Савельевский, — прошептал он.

— А звать?

— Сашка.

— Василий. — Зайцев протянул руку. Остановил ее, посмотрел себе в ладонь.

— Сашка, вот ты есть сел. А руки мыл? Вот-вот. И я нет. Пошли лапы мыть. Гигиена прежде всего.

Зайцев повесил ему полотенце на шею. Взял кусок мыла.

— Это что это? Гости к вам? — Тут же вынырнула в коридор из общей кухни, повела носом соседка. В руках у нее был бушующий, мыльной пеной пахнущий таз. Зайцев толкнул мальчишку вперед — не тормози.

— Племянник, — бросил на ходу.

Соседи сроду не слышали о зайцевских родственниках. Но милиции побаивались.

В некогда богатой, а теперь всего лишь просторно-гулкой и насмерть загаженной ванной мальчишка недоуменно остановился. Но сделал вид, что отвлекся. Поблескивал кран.

— Ну, чего?

И тут Зайцев понял, что кранов раньше этот Сашка не видал. Зайцев ухом не повел. Шагнул, крутанул рычаг. Подставил под струю ладони. Взбил пену. Сунул мыло Сашке. Смыл. Умыл лицо. Вытерся. Уступил место.

Мальчик двигался важно, но медленно. Повторил все действия Зайцева, видно, боялся и ошибиться, и это показать. «Деревенский», — окончательно понял Зайцев.

В комнате уже ждал чай. Хлеб был нарезан ломтиками. Перепуганная мать испытала облегчение, увидев обоих снова в комнате. Захлопотала. Наконец, тоже села. Тоже робко. Оба опять усадились на Зайцева.

Зайцев развернул, бросил в дымящийся стакан карамельку. Помешал ложечкой.

То же сделала мать. То же сделал сын.

Зайцев взял бумажку от конфеты. Поставил на нее чашку.

То же сделала мать. То же сделал сын. Оба старательно делали вид, что на Зайцева не смотрят.

«Где ж они там у Паши все помещаются?» — думал он. Мальчик пил и морщился: горячо. Мать одними глазами приказывала ему: так полагается.

Зайцев взял хлеб. Рука сама остановилась, Зайцев недоуменно глянул: ломтик был отрезан так тоненько, что обмяк в пальцах — сквозь него можно было читать книгу. Две фигуры — матери и сына — казалось, вытянулись еще больше.

Зайцев почувствовал ту же растерянность, что перед немой скалой-спиной Петровой — свидетельницы, потерпевшей, жертвы. Но спросил весело, поднося хлеб ко рту:

— Сколько ж тебе лет, Сашка?

Откусил от прозрачного, обрывающегося ломтя.

И тотчас мать и сын жадно впились зубами в свой хлеб, принялись кусать. Зайцев так и замер со своим ломтиком. Они ели торопливо, кусали жадно, еще, еще, молотили челюстями и снова кусали...

Глава 6

— И железки эти с моего стола убери, — мотнул рыхлыми щеками он. Две ржавые гильзы с буквой «Ф» лежали перед ним.

— Но вот же, — начал опять Зайцев. «Доказательство», — хотел сказать он и осекся.

— Ничего они не доказывают, — словно прочел его мысли Коптельцев. — Только то, что на высших офицерских курсах знают, что такое фосген. И как он действует.

— На кавалерийских курсах, — уточнил Зайцев.

— Я тоже знаю, что такое фосген и как он действует, — парировал Коптельцев. — А ККУКС, как я понял, переехал. И даже не на соседнюю улицу.

— Но труп Жемчужного никуда не переехал.

— Нет ни улики, ни подозреваемых, ни мотивов, ничего.

— Есть убитый.

— Конь, — издевательски уточнил Коптельцев.

— Гражданин Жемчужный, — упрямо поправил Зайцев.

— Зайцев, у тебя настоящих дел немерено, — напомнил Коптельцев. — Настоящих преступников. И настоящих потерпевших. А ты тут металлолом по заброшенным помещениям собираешь.

Возразить было нечего.

* * *

Как и обещал Зайцев Самойлову, пришли они и в пятый раз. Пришлось идти и в шестой. И оба раза ничем не отличались от предыдущего: немой серый валун, помеченный на одном конце «ноги». Зайцев физически чувствовал его тяжесть. Ее тяжесть. Ему казалось, что если бы он попытался сдвинуть Марию Петрову, то не смог бы.

И опять Зайцев садился на стул перед койкой. Поправлял на плечах белый халат, выданный очередной нянечкой или медсестрой. Клал на колени папку. Опять говорил, стараясь, чтобы в голосе было как можно больше мягкости и как можно меньше мужественности. Опять чувствовал, как он сам неуместен. Весь как есть: с прущей из подбородка щетиной, твердыми мышцами, низким голосом. Он поймал себя на мысли, что даже сидит — плотно прижав локти. Чтобы ни одна молекула запаха не выскользнула из-под пиджака.

Пиджак стараниями Сашкиной матери каждое утро превращался в Самый Чистый Пиджак Советского Союза. Сашка больше не появлялся: мать, видно, была строгая. Зайцев уже выучил, что нанята она вовсе не кухаркой, а нянькой, и звали ее Матреной. А больше слова из нее было не вытянуть. Зайцев и спрашивать перестал.

Вторая же, та, что была представлена кухаркой, звалась Катериной. Она тоже появлялась изредка. Шмыгала, стараясь, чтобы ее не заметили. И тоже будто набрав в рот воды.

Зайцев уже понял, что обеим нужны деньги, совсем немного. И не нужны вопросы, совсем не нужны.

Пускай. Он не возражал.

Возражали женщины, Матрена и Катерина. У них обнаружился свой кодекс чести, и брать деньги даром он не позволял. Кухарка каждое утро раскладывала обычный зайцевский сухарь опрятным веером на салфетке. А нянька — за неимением у Зайцева детей — обрушилась на пиджак. На ночь вывешивала проветриться, а с утра торжественно вносила распяленным на вешалке, пахнущим невским ветром. Колотила деревянной спинкой щетки, потом перехватывала щетку, обметала щетинистой. После чего царь-пиджак занимал спинку стула.

Но здесь, в палате Петровой, Зайцеву все равно казалось, что от пиджака несет козлиным мужским духом. И он опять прижимал локти. И пробовал говорить. Мягко, мягче.

Опять за окном то трепались на ветру ветки. То било солнце. То сеялся дождь. Питерское лето спешило показать все, что умеет, и желательно в течение одного часа.

— Снимки посмотрите, — тихо уговаривал Зайцев. — Это просто карточки. Это совсем не то же самое, что лицо.

И чувство беспомощности захлестнуло его — опять.

Он вспомнил фотографию Петровой в деле: круглое личико, круглые брови, круглый нос, две косы, берет. Девочка с рабочей окраины.

И другая фотография — уже снятая Крачкиным: то же лицо превратилось в кровоподтек, губы разбиты. И мертвый взгляд.

— Я знаю, о чем говорю. Поверьте.

И тут же заткнул сам себя: «Ты знаешь? Ты ей это говоришь?»

— Мне самому бывает трудно смотреть на место преступления, — мягко поправился он. — А на фотографии когда, то уже не так. Вроде как не совсем уже настоящее. Что? Что? — Приподнялся Зайцев. Вытянул шею. Ему показалось: прошелестел голос. Напряг слух. Халат соскользнул.

— Ножницы, — прошептал утес, не шелохнувшись.

— Там? Тогда? Были ножницы? — осторожно спросил он.

— У сестры возьмите.

Зайцев вышел в коридор. Вернулся, держа ножницы за холодные лезвия.

— Дайте.

— Не дам, — просто ответил он. — Вы что за глупость задумали?

Клекот. То есть изобразила смех. И вдруг повернулась всем телом. У Зайцева на миг перехватило дух. Но лицо ее уже не было той маской с крачкинской фотографии. Отеки спали. Синяки пожелтели. На губах, носу, лбу, щеке черные ниточки швов.

Зайцев заставил себя смотреть, не отводя глаз, — как смотрел бы на женщину в трамвае. Или в магазине. На любую.

Она посмотрела ему в лицо. Убедилась, что взгляд у него... никакой. Взгляд прохожего. И это ее, видимо, успокоило.

Она рывком спустила вниз голые ноги. Несколько мгновений посидела, повесив голову, точно заново привыкая к силе земного притяжения. Две косы висели плетьюми.

— Не дадите ножницы?

— Нет, — мягко сказал он. Твердо сказал он.

Она кивнула.

— Ладно. Сами тогда.

— Что?

— Остригите мне это.

Она чуть мотнула головой. Косы качнулись. Видимо, заплетала одна из нянечек. На концах были завязаны трогательные голубые бантики. У Зайцева сжалось сердце. Он помнил дело: ей семнадцать лет.

— Ну, — велела она.

Он сел рядом. На расстоянии. Она вздрогнула. Но не двинулась с места. Угрюмо смотрела на свои босые ступни, маленькие и квадратные.

— Мария Николаевна, посмотрим снимки. Просто кивайте мне, если узнаете. Этого будет достаточно. Это трудно. Но это необходимо. Чтобы негодяи были изолированы от общества. — Он кашлянул. — Или даже уничтожены. Совсем.

— Совсем?

— Физически. Расстреляны.

Она опять уставилась на ступни.

— Попробуем?

Она не ответила. Может, знак согласия. Он чуть ворохнул папкой, пристраивая ее удобнее. Дернул за шнурки. Чтобы раскрыть.

И вдруг косы плеснули. Мария Петрова изо всех сил ударила по папке снизу. Фотографии прыснули, разлетелись. Зайцев успел перехватить ее руку — а другую свою, с ножницами, поднял повыше. Потом быстро сунул ножницы в карман. Она вцепилась в рукав. Самый Чистый Пиджак Советского Союза предательски хрустнул. Под ногами скользили снимки. Лицо ее было искажено, она боролась бешено, тяжело дышала, но не издавала ни звука. Он одновременно пытался и унять ее, и не причинить боль. И с ужасом понимал, что причиняет.

Он все-таки толкнул Петрову. Она упала лицом на подушку и горько, как ребенок, заплакала.

Он сел на краешек кровати. Хотел погладить ее по голове. Но не смог. Подумал: ей противно. Все мужчины как таковые противны. Сжал пальцы. Опустил руку в карман. Ощутил холодок ножниц.

— Мария Николаевна.

Плач.

И тогда он сказал совсем не то, что собирался:

— Сядьте только прямо. Я остригу.

Она поднялась не сразу. Промокнула лицо краем простыни. Тяжело, как дети после плача, вздохнула.

— Это неправильно, — все-таки сказал он.

— Это правильно.

Он увидел, что девочки с окраины больше нет — лицо было не круглым. Оно было жестким.

— Только учтите: без глупостей.

Она кивнула, комкая в руках угол простыни.

— И не вертитеесь.

Она шмыгнула носом.

— Одно движение — и стоп. Ясно?

Он осторожно взял косу в руку. Ему почему-то казалось, что она будет холодной. Она была теплая. Ножницы сперва не брали.

— Надо распустить, — в нос сказала Петрова, потянула вниз бантик.

— Справлюсь. Только без обид потом. Не ателье.

Изобразила улыбку — чуть двинула уголком зашитых губ.

Ножницы вгрызались неровно. «Просто режешь веревку», — говорил себе Зайцев. И хотя понимал, что быть такого не может, все равно ему казалось, что режет — по живому, что Петровой — больно. Коса соскользнула на пол. Петрова с отвращением, как дохлую змею, толкнула ее ногой под кровать.

— Режьте, товарищ. Надо. Правильно.

Зайцев бережно взял в руку вторую — еще живую — косу.

* * *

В кабинете он снял трубку.

— Разговорил? Показала? — удивленно зашуршал голос Самойлова. Искренне: — Ну молодец, Вася. Высидел. Давай, пишу. Погоди, только лист заправлю.

Зайцев слушал хруст рычага. Треск заправляемой бумаги с копировальными листами. Слушал стук — Самойлов набирал стандартное начало документа.

А сам все листал, перебирал снимки.

Кого? В самом деле: кого? Сам Ломброзо махнул бы: всех. Сросшиеся уши, низкие лбы, кособокие, свернутые, непропеченные лица, слишком широкие переносицы. Выбирай не хочу.

Но в том-то и дело, что не все. Этих отобрали жильцы, которые давно выучили шпану в лицо. Но кто из них по факту напал на Петрову?

По факту там в палате потерпевшая, Мария Николаевна Петрова, работница завода, 1914 года рождения, просто потрогала рукой воздух, потом неровный край волос. Будто с удивлением привыкая не к новой прическе — к новому телу. А потом легла. Укрылась одеялом до самого подбородка. И закрыла глаза.

Вот и все.

Но все-таки не свернулась в позе эмбриона. Не накрылась с головой. Не отвернулась спиной к миру.

И Зайцев просто собрал фотографии. Вышел из палаты. Притворил за собой дверь.

— Закончили? Завтра в то же время? — спросила медсестра, дежурившая в коридоре. Лампа под зеленым абажуром была зажжена. От этого казалось, что уже наступил вечер.

— Завтра не надобно. Закончили, — ответил ей Зайцев.

Вот и все факты.

Он не сразу заметил, что треск машинки возле уха стих.

— Ну? — позвала телефонная трубка. — Готов. Диктуй.

Зайцев стал перебирать снимки в обратном порядке. Решать судьбы? Да, именно так. Рассудок говорил ему, что ошибки все равно не будет: каждый из этих и так давно уже гулял на свободе лишнее. Каждый, по правде сказать, зря коптил небо. Сейчас не виноват — завтра будет. И все равно Зайцеву стало жутковато.

— Шестнадцать, — закрыл глаза и начал диктовать он. Трубка ответила двумя выстрелами: Самойлов тотчас печатал результат.

— Тринадцать. Восемь, — диктовал Зайцев.

В дверь просунулся Крачкин. Сделал какие-то жесты, пошевелил губами.

— Погоди, Самойлов. — Зайцев прикрыл трубку рукой. — Что?

Крачкин вошел. Шлепнул на стол папку.

— Пальчики твои. Остались пустяки. Парные найти. И сбросить.

— В смысле?

— Ты в детстве не играл? «Черный кот» называется.

— Че-го?

— А, ну да, молодо-зелено.

Зайцев открыл папку. И чуть не выронил трубку. Синие буквы: копии заключения. Пояснительные рисунки. С какого-то перепугу Крачкин сделал то, о чем его попросил Зайцев. Что к его текущим задачам и делам вовсе не относилось. Обработал пальчики, собранные с грузового вагона, в котором ехал в Питер рысистый чемпион жеребец Пряник.

— Крачкин, а гильзы? Гильзы ты посмотрел? — крикнул он. Но Крачкин уже вышел.

— Ку-ку, — позвал в трубке Самойлов. — Какие гильзы?

— Никакие.

— Тогда поехали.

Зайцев почувствовал, как в груди будто опять набухает пузырь. А вдруг кто-то из них все-таки не виновен? Все-таки не был там тогда?

— Диктуй, — напомнил Самойлов.

— погоди, — остановил его Зайцев. — Понимаешь...

Но вспомнил ощущение косы в руке. Сомнение лопнуло, как вонючий пузырь грязи.

— Девятый.

— Ты же уже сказал «восьмой».

— Пропустил.

— Ну ладно.

— Шестой. Пятый. Одиннадцатый. Извини, опять путаница в снимках.

В дверь снова постучали.

— Да! — сердито крикнул Зайцев.

— Ты сегодня нарасхват. Народный артист прямо, — отметил Самойлов.

Стук повторился.

— Входите! — сердито крикнул Зайцев. — Кто там такой робкий?

— Вот что. У тебя там проходной двор. Мы так до вечера не кончим. Давай или ты ко мне подскочи. Или я к тебе. — Терпение у Самойлова иссякло.

— Ладно-ладно, нервные люди. Пиши давай.

В дверь тихо вошла девушка: блузка с круглым воротничком, стриженные волосы. Конторская, сразу определил он. Может, из новых машинисток здешних. Кивнул подбородком: садитесь пока. Тихо села, не сделав обычного женского движения подвернуть юбку. Не похожа на здешнюю: для машинистки угрозыска одета больно хорошо.

— Четвертый. Третий. Второй. — Зайцев хотел уже отложить снимки. Передумал. — Первый тоже.

Самойлов высыпал там у себя очередную порцию цифр.

— И двенадцатый. Указали двенадцатого?

— Странно, — вдруг ответил Самойлов.

— Что?

— По протоколу она сперва вроде о девяти говорила.

— Ну?

— А у тебя... раз, два, три. — Дальше пошло хмыканье. — У тебя двенадцать получается.

— Не у меня, а у нее, — раздраженно поправил Зайцев.

Черт! черт! черт! — выругал он себя: такую простую вещь и не проверил. Все из-за чертова Крачкина. Из-за конторщицы этой дурацкой. Прикрыл трубку ладонью:

— Вы себя хорошо чувствуете?

Вид у машинистки был какой-то томный. Она уронила руку на стол — клацнули пуговицы, но ответила:

— Хорошо.

— Так что? — не отставала трубка.

— Самойлов, хочешь, сам иди к Петровой в больницу и проверь. Я тебе говорю: по фотографиям потерпевшая опознала следующих нападавших.

— Да ладно, ты что. Опознала, значит, опознала.

Зайцев бросил взгляд на сидевшую — той явно было не по себе. На верхней губе выступила испарина, лоб тоже светился жемчужным отливом.

Зайцев, не прерывая разговора, показал ей на графин с водой. Подвинул ближе.

— В первый раз ошибочка в показаниях потерпевшей вышла, значит, Самойлов. Учитывая состояние...

— Да я не спорю. Я о том же. Двенадцать, значит, двенадцать. Ептыть... Бедняга.

Машинистка неуверенно налила полстакана. Пила медленно, будто не воду, а ртуть.

— Да, — сухо сказал в трубку Зайцев.

— Но все-таки между девятью и двенадцатью разница больно приметная. Я понимаю, одного не сосчитать поначалу...

— Ты понимаешь? — зло, слишком зло переспросил Зайцев.

— Нет. В смысле... Я ж там был, когда с нее показания снимали.

Но что произошло, Зайцев услышать не успел.

Конторская барышня вдруг метнулась вниз. Упала на колени, обняв мусорную корзину. Ее шумно, со стоном вырвало. Потом еще. И еще. Рвотные конвульсии сотрясали тело. Ноги ватным движением съехали в сторону. Девушка привалилась к столу.

Зайцев бросился ее поднимать.

— Вася, там у тебя что? — вопрошала на столе трубка.

— Отойдите, — отмахнулась она. Утерлась рукавом. Но сама сразу встать не смогла. Только беспомощно загребла ногами — мешала и теснота юбки. Зайцев опять наклонился к ней. Она прикрыла рот ладонью, отвернула лицо.

— От меня воняет.

Перед блузки и правда был забрызган.

— Ерунда.

— Противно.

— Бросьте.

Он за локоть подтащил ее вверх.

— Я сама!

Помог сесть.

Трубка гудела короткими сигналами.

Зайцев положил трубку обратно на рычаг.

— Гадость какая. Стыдоба, — выдавила конторская.

— Бросьте-бросьте, говорю. Подумаешь. Чего тут такого, — добродушно-небрежно говорил Зайцев, стараясь успокоить больше тоном, чем словами. — Сто раз видел. Правда. И даже похуже. У меня вот есть приятели. Как все приятели, они иногда выпивают. Как со всеми выпивающими, с ними бывают разные... Разное.

— Я не пьяная! — сердито вскинулась она. — Вы что! Как вы... Да как вы такое могли подумать!

«О, мама родная», — сразу как-то устал от нее Зайцев.

— Я бы в жизни!..

— Ничего я такого... Вы как себя сейчас чувствуете? Вам в больницу, может?

— Я здорова! — еще более сердито почти крикнула она, и хотя он не думал ее касаться, вся встряхнулась. — Совершенно здорова. Это так... Жарко просто. Я вот. Воды просто еще выпью.

Она решительно придвинула к себе графин.

— Ну ладно.

— А это я вам вынесу. — Решительно ухватила за края корзины. — Чтобы... Не того.

Зайцев пожал плечами. Он терпеть не мог таких вот, сердитых. И не конторская, наверное, поправил он себя. А комсомольский актив. Собирают на заем. Или на дирижабль. Или на что-нибудь еще. И всегда знают, как надо.

— Уборщица вынесет.

— Я хоть газетой накрою. Газета есть?

— Оставьте, говорю, — уже открыто рассердился Зайцев.

Она сразу выпрямилась на стуле.

— Извините. Я Соколова.

— Не беспокойтесь, товарищ Соколова.

Она опередила его вопрос, пояснив:

— Меня Коптельцев прислал.

Но просунувшийся в дверь Крачкин не дал ей продолжить.

— Вася, а по поводу... — Он покосился на девушку и на всякий случай выразился обтекаемо: — ...твоих железяк. Там в папке, — он кивнул на стол, — нет. Но ты не думай, что я забыл. Ничего внятного снять невозможно. Есть хороший большой палец, но слишком уж хороший; точно — дворник. Когда железяку подобрал. Можем для надежности его проверить сразу. Можем подождать.

Зайцев кивнул.

— Свисти, если что.

И Крачкин исчез за дверью, как Петрушка за ширмой. Так же внезапно, как появился.

Зайцев быстро встал, рванул крачкинскую папку со стола.

— А?.. — Развернулась всем телом Соколова ему вслед.

— И оболочка от снаряда.

Нефедов слушал со своим обычным сонным, свиным видом. От голенькой тусклой желтоватой лампочки, от низких потолков Зайцеву самому сразу захотелось спать. Как он тут работает?

— Какая-то странная улика, — пробормотал Нефедов.

— Потому что не улика. Все, что она доказывает, так это что в ККУКСе химоружие тоже проходят. Ну так это и расписание занятий, и учебный план докажут. Без всяких вещдоков.

— А техники что сказали?

— Ничего пока. Вернее, не знаю. Но вид у нее был такой, что палили этим снарядом точно лет пятнадцать назад. Если вообще палили. Может, он сразу начал жизнь свою боевую в качестве учебного пособия.

— Типа скелета в анатомичке?

— Типа того.

— Значит, не улика.

— Или, Нефедов, улика, — продолжал вслух думать Зайцев. — Если мне эту оболочку специально подкинули. Я когда их насчет гражданина Жемчужного расспрашивал, они же знали, что завтра их тут духу не будет и след простынет. Они же уже барахло все свое до последней нитки вынесли практически. Мне лапшу на уши вешали, разговоры разговаривали, а у самих чемоданчики уже... Или что там в кавалерии.

— Зачем?

— То-то и оно. — Зайцев облокотился на низкую деревянную стойку, отполированную множеством локтей. — То-то и оно, Нефедов. Я и сам спрашиваю. Кто? И зачем? То ли со следа сбить. То ли на него, наоборот, навести. Ясно только, что человек этот что-то такое знал. И не только слово «фосген». Но только как этот предполагаемый он, если такой вообще был, конечно, как он мог рассчитывать, что колба эта именно мне в руки попадет? Дворник мог запросто ее выбросить, не заметить — я мог ее не заметить!.. Ладно. Это вопрос уже второй. Если не третий. Давай вернемся к первому.

Нефедов молча кивнул. Скрылся в глубине, среди полок. И уже оттуда спросил:

— А товарищ эта, у вас в кабинете — это кто?

— Хрен ее знает. Комактив, наверное. Или машинистка.

— Зачем еще?

— Вот плевать, честное слово. Не важно.

— Она что, так и сидит там?

— Надеюсь, уже нет. Посидела, поблевала, надоело — ушла.

— А чего блевала?

— А то ты столовку нашу не знаешь.

— Симпатичная?

— Столовка?

— Машинистка.

— Нефедов, ты чего? В окно повеяло весной?

— Так.

Зайцев честно задумался. Ему стыдно было себе признаться, но самому ему нравились совсем не такие, а красивые и женственные. Уродом товарищ машинистка тоже не была: глаза на месте, рот на месте, нос один.

— Не знаю, Нефедов, — искренне сознался он. — Освобожденная советская работница. При службе. Самостоятельная. Активная. Общественница. Что еще?.. Член ряда кружков. Наверняка. На вид обычная. Баба как баба. Девушка то есть. Мне только все время кажется, когда я таких вижу, что мужской половине населения об этом освобождении сообщить забыли.

Он вдруг осекся. Вспомнил Петрову, потерпевшую.

Нефедов запинки не заметил.

— А вы какого года рождения, подскажите?

— Но-но, Нефедов! Салют.

* * *

Но на подступах к кабинету Коптельцева его остановила секретарь.

— Товарищ Зайцев. А я вас ищу.

Это было совсем не кстати. Нетерпение жгло Зайцеву подошвы.

Секретарь носила мужское пенсне, коротко стригла седые волосы и говорила «э» вместо «е», но Зайцев все равно сказал:

— Мне приятно, честное слово. Я весь ваш.

Та вспыхнула. Но прижав к груди ворох бумажек, принялась в нем выискивать нужное жемчужное зерно, чуть шевеля губами.

— Насчет карточек! Вы решайте мне прямо сейчас — вопрос безотлагательный, я и так с ним запыхалась: открепляться здесь и там прикрепиться? Или не открепляться, а здесь получить продукты вперед?

Она сказала «вперед».

— «Вперед», — машинально повторил Зайцев. Он не понял ничего, мысли его сразу запнулись о слово «карточки», перескочили в удобную колею «Пашка разберется» и тотчас унеслись далеко.

— Товарищ Зайцев? Вы так рассеянны!.. Распишитесь.

Он очнулся, накалякал свою обычную подпись.

— Я тоже так думаю, — сказала секретарь, наклонив пенсне и следя за карандашом.

— О чем? — встретился он взглядом со стеклышками.

— Практично. — Она забрала у него карандаш, заложила себе за ухо, сунула ему в руку продуктовые карточки и, тотчас утратив к Зайцеву интерес, двинулась навстречу следующему пункту повестки дня.

Зайцев машинально опустил карточки в карман. И уже без помех шагнул к двери Коптельцева.

Уже было схватившись за ручку двери, разжал пальцы.

Он отошел от двери Коптельцева. И в миллионный раз пожалел, что бросил курить.

Сейчас ему просто необходимо было хотя бы несколько минут подумать. Как повести разговор?

Дверь распахнулась сама.

Чего Зайцев еще больше не ожидал, так это добродушия.

— Вася!

Маленькие глазки Коптельцева, еще недавно злые, как у кабана, сияли.

— Ну входи же?

И заспешил к столу, к телефону. Зайцев втянулся за ним, прикрыл за своей спиной дверь. Коптельцев тем временем взялся за трубку.

— Готов? Поезжайте первым же поездом. Вечером на вокзале. Выписали бронь. Поедете не хуже лауреатов. А карточки получил уже? Нарисовали так быстро, как могли, — словно пригласил он оценить быстроту, словно ждал похвалы.

— Куда поеду? — не понял Зайцев. Поправился: — Поедем.

Подумал: кто — «мы»?

Теперь Коптельцев изобразил удивление.

— В Новочеркасск, — небрежно бросил он и поспешно, слишком поспешно, слишком деловито перевел разговор: — Карточки отоварь сейчас же, по магазинам болтаться некогда. — Он снял трубку, будто боялся вопросов, заказал соединение: — Распределитель.

— В Новочеркасск?

Коптельцев поднял ладонь, мол, тихо. Подождал соединения. И намеренно заурядным тоном бросил в сторону от трубки:

— ККУКС из Ленинграда в Новочеркасск перевели. Приказ товарища Буденного. Да ты же и сам говорил. — Снова в трубку: — Распределитель?

Отдал несколько распоряжений. Зайцев не слушал — быстро соображал, как лучше быть. Мимоходом расслышал только свою фамилию.

— Паек сразу иди получи, — почти добродушно наставлял Коптельцев, повесив трубку. — Категорию А тебе выписали по такому случаю, во как. Понял? Это где Елисеевский, — объяснил он. — Только вход не с Невского, а со стороны радио. Ну, удачи. Новочеркасские товарищи встретят, разместят, чем могут помогут.

— Один не поеду, — твердо — он успел это обдумать, пока Коптельцев говорил по телефону, — перебил Зайцев. — С самого начала речь шла: мне нужен агент. Я несколько раз подал соответствующий сигнал, и по комсомольской линии... — начал он.

Ожидал, что Коптельцев ощерится. Но тот заулыбался, закивал:

— О чем и толкую! Ты слушаешь вообще или нет? Учтен сигнал твой этот. Комячейка тоже удовлетворена. Кадровая помощь тебе... — он с довольным видом сцепил руки на столе, смакуя слово, — ... выделена. Ажур полнее некуда. Твое дело теперь — результат предъявить. Удачи, — повторил он.

* * *

Зайцев отправился в уборную. Вроде и занят, а в то же время и в одиночестве.

Он выкрутил оба рычага — струйка из крана все равно была холодной. Мыла не было, полотенца тем более. Зеркало показывало отражение в темной парше и пятнах. Зайцев сунул руки под ледяную тоненькую струйку. Запах нечистоты и хлорки его не беспокоил. Отражение в зеркале казалось чужим лицом. Он думал.

Зайцев не любил внезапных перемен.

Внезапная перемена в Коптельцеве тем более таила... Угрозу? Подвох?

Или наоборот?

Неужели стеклянный колпак, которым некто накрыл Зайцева, так прочен?

Или наоборот. Он, Зайцев, сейчас вовсе не интересовал бывшее ведомство Коптельцева — ГПУ. Что, если в ГПУ затеяли копать под ККУКС? Не курсы кройки и шитья поди. Школа будущих маршалов. Крупная дичь. С наскака не возьмешь. Могут и по рукам дать. Да так, что рученьки отвалятся.

А вот придать делу видимую законность — тогда оно, может, и покатит. Начать с Жемчужного, Пряника, фосгена — и вывести к диверсии на вокзале. Здесь липой не отделаешься. Здесь, видать, им железное расследование понадобилось.

«Справишься — молодец: гуляй, живи. Не справишься — так тебе давно номер в гостинице на Шпалерной заказан», — вспомнил он слова, которыми приветствовал его Коптельцев после того купания в Неве.

«А чего хочу я?» — спросил он отражение. Но ответ знал: поймать убийцу Жемчужного. А назвать его убийцей по уголовной статье или диверсантом по политической — ну так роза все равно пахнет розой, как ее ни назови.

Или нет? И есть все-таки разница?

Внезапно Зайцев узнал себя в зеркале.

«Или у меня просто паранойя», — заключил он.

Стряхнул с покрасневших, онемевших рук ледяные брызги. Обтер ладони об изнанку Самого Чистого Пиджака Советского Союза и, удовлетворенно чувствуя, что злоба его стала холодной, не мешала думать, быстрым шагом направился искать Нефедова.

* * *

Товарищ Соколова была права: несмотря на газетный лист треугольной крышей на мусорной корзине, в кабинете действительно повис кислый запах рвоты.

А главное, и товарищ Соколова все так же сидела на стуле.

При виде Зайцева она тотчас выпрямилась, суетливо вставила ступни в туфли, видимо скинутые за время долгого ожидания.

На этот раз Зайцеву уже было все равно: машинистка — или не машинистка, плохо ей — или не плохо. Если плохо, пусть обратится к медсестре дежурной. Марганцовки выпьет, или чего там против местной столовской стряпни медкабинет обычно выписывает.

— Товарищ Соколова, вам что надо? — набросился он. — Вы от дел меня отрываете вашими комсомольскими затеями. Мне некогда.

Она приоткрыла рот. Зайцев уже знал наперед, что она хочет сказать. Они все это говорили.

— Да. Именно сейчас — некогда. Занят. Я занят. По уши. По горло. Завтра зайдите. Я на все подпишусь. Обещаю. Стенгазету! Заем! Забег! Культпоход! Что скажете. Завтра!

Он махнул на нее рукой, сорвал телефонную трубку, демонстративно повернулся к посетительнице спиной, подцепил аппарат другой рукой — отошел от стола, покуда позволял телефонный шнур.

— Саня, привет. Кукуешь там? Найди мне Нефедова, будь другом? Ага, прямо сейчас. Нет его там. Только что сменился. Далеко не ушел. Или в столовке лопают, или черта в ступе толчет, или... — Он подумал: «В машбюро глазки девочкам строит». Но это так трудно было себе

представить: Нефедов — и глазки, что Зайцев просто кашлянул. — Короче, перехвати на выходе, а? Да, ко мне прямо отправь. Я у себя, да.

Нажал рычаг. Набрал короткий внутренний номер.

— Хася Борисовна, а моему сотруднику бронь проездную ведь уже оформили, верно? Вот спасибо. А карточки? Вот спасибо. Конечно, ожидал! Просто спросил. Забрал уже? Нет-нет, все в порядке. Мы просто разминулись. Ага. И вам.

Что это они все заладили — удачи да удачи.

Он нажал на рычаг.

Где только этого чертова Нефедова носит в коридорах? Ладно. И в распределитель вдвоем пилить веселее. Зайцев терпеть не мог эти заведения. И что еще за распределитель такой — где «Елисейевский», но со стороны радио? О таком ему слышать не приходилось.

Он обернулся, чтобы поставить аппарат обратно на стол.

Соколова так и сидела, выпрямившись. Ноги вместе. Руки сложены, показывая кругленькие пуговички на манжетах. Потеки рвоты на блузке она, видимо, уже успела оттереть платочком. Выражение на лице: готовность.

Зайцев рассвирепел. Не в его правилах было кричать на женщин. Даже некрасивых. Даже активисток. Он перевел дух.

— Товарищ. Соколова.

Она засуетилась. Заелозила: тесная юбка мешала ей просунуть руку в карман.

— Я... Товарищ Зайцев... Вы не подумайте... У меня все есть... Вы не подумайте... Я получила...

Она вытаскивала и клала на стол какие-то бумажки, слегка помявшиеся в кармане. Лиловели печати.

— Вот. И бронь. И карточки. Я все получила. Меня товарищ Коптельцев ввел в курс. Вы не беспокойтесь. Я не больная. Мне уже хорошо. Я себя прекрасно чувствую. Великолепно. У меня вообще железное здоровье. Вот прямо же-лез-но-е.

— Какая бронь?

Круглые честные глаза были ему ответом.

— До Новочеркасска. Туда и обратно. Меня выделили. Комячейка ваша тоже одобрила. Я ваш дополнительный сотрудник.

Она неправильно поняла выражение на зайцевском лице. И поправилась:

— Сотрудница.

* * *

На кухне на этот раз горел свет. Зайцев остановился, облокотился на косяк.

Матрена развешивала выстиранное. Он узнал свои вещи: на веревке уже повисли зайцевская рубаша, тщательно составленные в пары носки, всякая дребедень. Остальное было чужим. Белело расправленное на веревке полотенце, богато вышитое красными нитками. «Матреша шила — птичка пела», — прочел он. А рядом — детские штанишки.

Женщина разогнула спину. Обернулась. Пугливый взгляд — ожидающий взгляд.

— А мы с Катериной стирку это... по очереди.

Они обе страшно беспокоились, что тощее зайцевское хозяйство давало им мало работы.

— Вот спасибо, — постарался приветливо выговорить Зайцев, давая зевок. — Очень стирка кстати. Мне все чистое нужно будет завтра с собой взять.

В глазах у Матрены заметалась паника.

— Катерина постирала. А я сполоснула. — Она медленно обтирала руки передником, руки дрожали. — А надолго едете-то? — Лицо ее стало совсем жалким. — Работы не будет, стало быть?

— Матрена, послушайте. Я не знаю, что у вас с Пашей за дела. И у Катерины тоже. И даже не спрашиваю. А только вот что я скажу. Если вы от мужа прячетесь, муж вас лупит, или ребенка смертным боем бьет, или пьет, или еще делом каким таким для милиции интересным промышляет, то бояться вам нечего. А надо заявить. Это вам не старые времена. Управу на него быстро найдем.

Лицо ее исказилось. Она покачала головой.

— Не бьет. Нету мужа, — выдавила она и посмотрела отчаянно. — Мне только бы работа чтобы, угол чтобы... Кормить. Не гоните! Христа ради.

Зайцев не нашелся с ответом.

— Никто вас не гонит. С чего вы... Я просто остановился по дороге в комнату. Красивое полотенце. Я имел в виду... Вышивка, — показал он.

Матрена бросилась к нему. Схватила за руку. И Зайцев готов был поклясться: она собиралась бухнуться на колени и тянула его руку к губам.

— Вы что, офонарели, Матрена? Что еще за рабовладельческий строй? А ну вставайте!

— Спасибо, — шепотом вскрикивала она. — Спасибо.

Глава 7

— Чумадан? — переспросил сосед Колпаков. Сдвинул кепку на затылок, показал седые брови и удивленно наморщенный лоб. — Ты куда это намылился?

— Командировка, — неопределенно буркнул Зайцев.

— Ишь ты. Куда? — но спохватился: вопрос лишний. — А чумадана-то у меня и нет! — поспешил ответить он. — Откуда чумадану-то быть? Всю жизнь дальше Охты не выезжал. Да я и с Охты бы не выезжал, если бы меня сюда советская власть не засунула. Мол, пожалуйста, где жил буржуй, теперь простой токарь живет. Только что мне с того?

Что — известно: теперь простому токарю приходилось каждый день трезвонить на завод и с завода через весь город.

Колпаков поскреб небритый подбородок.

— Ты это, у Нинки спроси, — посоветовал он. — Стукнись в комнату. Вроде она со службы притащилась уже.

Но и у Нинки чемодана не было.

— Откуда? Когда мне по курортам таскаться-то? Ты стукнись к Павловым.

Павловы отправили его к Катьке. А Катерина Ивановна — к Мирре Исааковне. А та... Словом, на примере собственных соседей Зайцев довольно быстро выяснил особенность коренных ленинградцев: они никуда не ездили.

Да и сам он не бывал нигде, кроме Москвы. Между тем скудное имущество: носки, белье, рубашка, туалетные принадлежности — уже было разложено на кровати и ждало, когда его превратят в багаж.

Черт, не в авоське же тащить. Авоськи у него, впрочем, тоже не было.

От сборов его отвлек стук в дверь: соседка Павлова нашла старый сидор, с которым ее муж служил в армии.

— Чистый, — веско добавила она. — Хоть и давно стиранный.

Сидор точно был еще хоть куда, только пах пылью.

Зайцев сердечно ее поблагодарил.

— Ты это куда? — тут же скрестила на груди руки Павлова. И даже облокотилась на косяк. Устроилась для подробного уютного разговора.

— В командировку. — Зайцев пообещал беречь одолженный мешок как зеницу ока и мягко выпроводил соседку за дверь. Быстро затолкал вещи. И остался доволен собой.

Потом он еще куда-то выходил, входил, снова выходил. И когда вернулся в комнату, сидор уже топорщился на кровати набитыми боками, а Паша душила ему горло тесемками.

— Это что?

— Духом святым там питаться, что ли, будешь? — не оборачиваясь ответила Паша. И тут же начала инструкцию: — Сперва съешь курицу. Чтобы не испортилась. Она на самом верху, в газете. Потом яйца. Консервы и прочее я на дно положила. Это на самый последок. И пирожков там тебе напекли.

Зайцев рассердился.

— Паша, куда я этот ресторан поволоку? Вот охота мне валандаться.

— Не ресторан. А паек. Служебный, — веско возразила Паша. — Раз выдали, значит, надо.

Паек в этом и правда весьма закрытом распределителе (бывший «Елисеевский», вход с другой стороны) выдали обильный. Три женщины вечером — Паша с «кухаркой» и «нянькой» — разглядывали грудку снеди на столе.

— Я в командировке буду, а вы, пожалуйста, разбирайте, — смутившись, пригласил Зайцев.

Под скудной электрической лампочкой блестели жестью консервные баночки.

— Это что они, шишки едят? — шепотом спросила «нянька» Катерина, показав на изображение ананаса.

— Надо так, — обрезала ее Паша. — Эх ты, деревня.

Копченая сухая колбаса зато ни у кого не вызывала сомнений. Как и курица, и коробка яиц, и сахар, и шоколад, и чего там только не было.

— Ничего паек, — заметила Паша.

— Енаральский, что ль? — прошептала «кухарка» Матрена.

И ей Паша тоже сказала:

— Надо. — И тут же заорала: — Кухарка ты или кого? Принимай!
И вот результат: набитый сидор.

— Да он же неподъемный теперь, — спорил Зайцев.

— Ты тоже не сопля, — холодно возразила Паша. — Дали паек — значит, бери.

— Вы этот паек себе оставьте. Я же сказал. Мне там в столовках удобнее будет. А на черта мне пирожки?

— Матрена спекла — значит, надо.

— Пусть лучше пацана своего кормит. Эти жилички твои...

— Они не мои.

— Паша.

— Бери. Надо, — с еще большим весом подтвердила Паша.

Зайцев потянул сидор за ляжку. Неподъемный.

Паша наблюдала, облокотившись на косяк.

— Иди, что ты? — обернулся он на Пашу. — Мне пора. На вокзал. Но Паша не двинулась.

— Так если не прослежу, ты все тут и выложишь, — проницательно заметила она.

Зайцев понял, что все бесполезно. Охнув, закинул сидор на плечи.

И вот теперь с усилием стащил и перекинул на багажную полку.

— Это точно наши места? — с сомнением спросила ему в спину Зоя. Купе было мягкое. Она недоверчиво оглядывала и полки с приветливо отогнутыми пледами, и столик, и лампу, и занавески, обшитые бомбочками. В треугольнике, обрисованном занавесками, виднелся перрон: бегущие, бредущие ноги пассажиров, провожающих, носильщиков, разномастные чемоданы, корзины, узлы, коробки.

— Все верно, — торопливо ответил Зайцев, оборачиваясь. — Давайте сюда ваш чемодан. Тяжелый ведь, наверное. Закину.

Она тотчас прижала чемоданчик — фибровый, с железными уголками — к ногам в шелковых чулках. Не машинистка точно, подтвердил свой вывод Зайцев.

— Если хотите, — осторожно добавил он, чувствуя, как голову ему начинает будто завинчивать в обруч.

— Я не увечная, — отрывисто проговорила Зоя. — Не больная. Не беспомощная. То, что я женщина, не делает меня неполноценной физически. А то что вы — мужчина...

Зайцев устало прижался лбом к хромированной ручке. Ощутил ее приятный холодок. И прикрыл глаза, как будто надеясь, что эта Зоя испарится, провалится вместе со своим чемоданом, заграничными чулками и тоном свободной советской женщины.

За окном пронзительно свистнуло. Поезд на Новочеркасск отчаливал.

* * *

Хотя Зайцев дальше Москвы еще не ездил, долгая дорога ему понравилась. Волнистой зеленой лентой тянулись поля. Проносились леса: сперва темными щетками северных елей, потом пошла зеленая буйная каша лиственных. Промахивали мимо шлагбаумы, избенки, станции. И столбы, столбы, столбы. Ничего, в сущности, интересного.

Приятно было, глядя в окно, не думать ни о чем.

Ни о собаководках с их запутанными родословными и еще более запутанными рассказами. Ни о Прянике. Ни о Жемчужном. Ни о врущих напропалую «будущих маршалах». Ни о «восьми в Сиверской», которые ни в какой Сиверской не были, а, очевидно, просто не должны были попасться ему под разговор. Ни о ржавых гильзах из-под газовых снарядов. Ни о внезапном переезде ККУКСа из Ленинграда в Новочеркасск («по приказу Буденного»). Ни о Коптельцеве. Ни о навязанной попутчице.

Он уже понял, что Зоя — прямая, как рельса — скорее всего, приставлена за ним следить. И докладывать кому следует.

Но даже это его сейчас не беспокоило.

Он закрывал глаза — и все равно видел поля, зеленую кашу, светлый простор над реками, заполненный особенно гулким стуком колес по мосту. Леса, избы, столбы словно проносились сквозь его абсолютно пустую голову, и не только пустую, а даже, казалось, утратившую свою костяную оболочку. Зайцев сам был полями, столбами, шлагбаумами, пышно взбитыми облаками. Похоже на то, как вторые сутки сидишь в засаде где-нибудь на Лиговке. Только лучше.

Даже присутствие этой Зои мешало ему не больше, чем постепенно крепнущий запах носков такого же сидящего в засаде товарища.

Зоя сидела напротив. Ноги вместе. На плечах шаль.

Вагон ткнулся, качнув и ее.

Зайцев отогнул край занавески. За окном остановилось здание станции. «Стоянка девятнадцать минут» — прошло по коридору вагона. Намекая пассажирам, что самое время выскочить и набрать на станции кипятка.

— Выпьем чаю, — обрадовался Зайцев.

Зоя тут же вздернула подбородок.

— Думаете, я буду носить вам чай?

— Я сам собирался принести, — удивился Зайцев. — Себе и вам.

— Не нужно за мной ухаживать. Не думайте!

Видимо, дорога ее не ублажала: она была все так же готова оборонять права, отстаивать территории, на которые он и не думал покушаться.

— Я вообще ни о чем не думаю, — честно признался Зайцев.

Принес, поставил дымящиеся стаканы. Она бросила на него неумолимый взгляд. Он закрыл глаза. По звуку понял, что она раскрыла чемодан. Выкладывает на столик съестное. Зашуршала бумага. Зайцеву не хотелось смотреть, как она жует. Он чувствовал, что голоден. Но есть при ней — не хотелось.

Зайцев подивился этому своему открытию. Оказывается, даже для обеда в их столовке, среди гвалта и шума, необходим минимум симпатии к окружающим, размышлял он, закрыв глаза. И даже вот этой крупницы сейчас не ощущал. Есть или пить в присутствии Зои он попросту не мог.

Судя по звуку, она облупила яйцо. Потом стала чистить.

Зайцев думал: ну что, в самом деле, он раздражается? Просто современная советская девушка. Товарищ. В советской жизни ей открыты все дороги. Все двери. А если некоторые еще не открыты, то это потому, что кто-то из мужских особей не усек исторический момент, замешкался. Так она и эти двери выбьет. Причем ногой.

В шелковом чулке.

Но и в спортивных трусах и майке (в проемы виден грязноватый от пота лифчик) отлично будет себя чувствовать. Бить рекорды.

И плечо свое крепкое тебе, если что, подставит. Как товарищ. Как равная. Или побоится чулочки шелковые порвать?

Он открыл глаза и посмотрел на Зою.

Та закончила есть: скомкала ненужную уже бумагу. Одарила его неумолимым взглядом.

Зайцев отвернулся в окно. Современная советская женщина. Он сам не знал, хорошо это или нет. А когда снова посмотрел на Зою, она уже сидела, откинувшись назад, прикрыла глаза.

Вдруг резко встала и поспешно, рванув ручку двери, вышла. Дверь соскользнула на место, щелкнула язычком.

Самое время поесть.

Зайцев поднялся, за горло подтянул свой сидор, быстро развязал тесемки. Запихать в себя какую-нибудь еду следовало быстро. Пока Зоя не вернулась.

Смутно припомнил Пашины напутствия. Точно: на самом верху лежала бледная вареная курица в газетном пеньюаре.

Зайцев выложил ее на стол. Снова засунул руки в сидор — нащупал сверток из материи. Что бы это ни было, это тоже лежало сверху, а значит, предназначалось на съедение в первую очередь. Вынул и его.

Развернул на откидном столике. И почувствовал, как кровь жарко прилила к щекам. Это были пирожки. Но главное, завернуты они были в полотенце, которое Зайцев похвалил. Матреша шила — птичка пела, стучали колеса. Матреша шила.

Зайцев сел. Птичка пела.

Он вспомнил тот вечер. Как Матрена чуть на колени не бухнулась. И бухнулась бы, если бы он ее не удержал. Что это вообще такое?

Кто они такие, эти Матрена и Катерина?

А мальчик?..

Дверь купе внезапно отворилась. Зоя проскользнула внутрь. Зайцев успел заметить: глаза красные, волосы сбились, вид распаренный. Как будто она долго хохотала.

Села в уголок на свою полку. Взгляд ее опять выразил готовность к отпору.

Курица на столике задирала бледные ноги, заставляя вспомнить стихотворение дореволюционного поэта-декадента Брюсова.

Румянились пирожки в своем вышитом гнезде. Зайцев твердо решил не дать испортить себе ни аппетит, ни настроение.

Смочил водой из графина краешек мохнатого вагонного полотенца, вытер руки. Отломил, вырвал куриную ногу. В другую руку взял пирожок. С наслаждением ощутил запах и того, и другого. В тесном купе запах быстро заполнил все вокруг. Зоя тоже, видимо, его вдохнула: ноздри ее дрогнули.

Она быстро вскочила — и снова вышла, сверкнув лакированной дверью.

«Ну и пошла к черту», — беззаботно сказал себе Зайцев. Вегетарианка, наверное. И впился зубами в ароматный пирожок.

* * *

Потом она сидела, опустив лицо к книге. На обложке стояло: «Тихий Дон». Название было Зайцеву смутно знакомо. Что-то из новинок.

Зоя только раз бросила на него строгий взгляд поверх страниц:

— А вы, значит, не читаете?

Зайцеву хотелось ответить: «Отцепись, дура». Он приветливо улыбнулся:

— А я, значит, не читаю.

И прежде чем она подхватила нить разговора, снова закрыл глаза.

За ужином мизансцена повторилась. Как только курица, теперь уже безногая, утвердилась на столике, Зоя вышла в коридор.

Зайцев на всякий случай понюхал курицу. Пахла как полагается.

Зоя вернулась, когда он уже поел. Села, скрестив руки. Книжку не раскрыла. Тесное купе стало быстро наполняться электрическим напряжением. Зайцев чувствовал его кожей. «Для наседки-стукачки она уж больно неприятная, — с неудовольствием подумал он. — Слишком уж напористая».

Он поспешно закрыл глаза. А может, просто чувствует себя в праве. Хозяйка жизни.

— Вы думаете, я бесполезна? — с вызовом спросила Зоя, но не дала ответить. — Вы именно это думаете. А зря! Я многое могу и умею. К вашему сведению. Машинка вслепую двумя руками — на скорость. Стенография. Нормы спортивные. Стреляю...

— Из пневматической винтовки? — незло перебил Зайцев.

Она поняла и насупилась.

— Если надо, пистолета не испугаюсь!

— Вы как-то романтически себе это воображаете. Натпинкертоновщину какую-то.

— Зря вы...

Но теперь уже он не дал ей сказать.

— Вы хоть представление имеете, за чем мы едем и чем, — он не удержался: — чем я там собираюсь заниматься?

— У меня была практика в милиции. В транспортной.

Он хмыкнул. А как же. Мешочников с поезда снимать. Уже почти лет десять как не актуально.

— Вы... Вы... Вы думаете, я...

Но тут поезд запнулся. Движение колес, потряхивание стен, полки, легкий звон ложечек в стаканах — все прекратилось.

— Стоим? — удивленно отогнула занавеску Зоя.

«Стоянка короткая», — донесся голос проводника из коридора.

Она обернулась сердито.

— Хоть просто воздуха глотну, раз короткая. — Она встала, ладонями огладила вниз юбку. — А вы пока обдумайте свои домостроевские представления о роли женщин. Заодно и круг моих служебных заданий.

Убедившись, что дверь за ней закрылась, Зайцев взял себя двумя пальцами за переносицу и вслух, из самой глубины исторг:

— М-м-мать мою за ногу.

Звук тяжелых торопливых шагов в коридоре заставил его поднять голову. Не спутать ни с чем: сапоги и полная амуниция. А потом женский вскрик.

И раньше, чем Зайцев успел вскочить, Зоя ввалилась в купе. Чуть не сбила его с ног. Она была бледна. И очень-очень напугана.

— Там... череп. В окне, — шепотом крикнула она.

— Что?

— Ч-череп.

Ее колотило. Она рукой нашаривала край полки, чтобы сесть.

Он разозлился:

— Что вы выдумываете. Что за череп еще?

— В окно... заглянул.

Она всхлипнула. Сочувствие Зайцева испарилось. Чудесно: истеричка. Вдобавок ко всему.

— Прекратите! Ну!

Но все-таки было и еще кое-что. Были и шаги в сапогах — шаги человека с винтовкой и португеей. Это ему не понравилось значительно больше. Он выглянул в коридор. Узкий, обшитый деревянными панелями — совсем такое чувство, будто сидишь в платяном шкафу. Из конца в конец раскатана дорожка. Мирный электрический свет в светильниках, его отражения в голубеющих окнах. Тихо гудит в печи, слегка пахнет горящим углем. И никого. Даже человека с винтовкой. И ни звука.

Зайцев вернулся в купе. Два больших испуганных глаза.

— Вот что, — сердито сказал он. — Ничего и никого там нет. И быть не могло. Череп!..

— Но я не выдумала! — Страх с ее лица испарился, она опять стала собранной и готовой к отпору.

— Не выдумали, — охотно согласился Зайцев. — А просто в сумерках померещилось.

Он чувствовал, что злость внутри раздувается. Вот вляпался. Наседка. Кувалда комсомольская. И к этому вдобавок истеричка!

— Я выйду, — проговорила она. Но не встала, как будто ждала разрешения. — В уборную.

— Идите куда хотите, — бросил он.

— Я ничего не выдумала.

— Когда соберетесь ложиться спать, дайте знать — выйду, чтобы вам не мешать.

* * *

А наутро в окне уже была совсем другая природа, совершенно недвусмысленно южная. Зайцев смотрел с интересом.

Из коридора доносился окрашенный самодовольством голос: «На югах-то оно как? Почва — хоть на хлеб намазывай: жир!.. Яблоки — вам и не снилось». Кто-то уже предвкушал прибытие. Зайцев попытался отогнать этот голос. Безуспешно. «С мою голову вот — такие яблоки».

И хотя товарищ, видимо, намекал на гигантский размер плодов, Зайцеву почему-то представилась маленькая — с кислое колпинское яблочко — головка на покатых плечах мелкого советского управленца. А тот все не унимался. «Карандаш вот воткни — и он зацветет». И бубнеж другого невидимого собеседника.

Вместо карандашей за окном стояли свечи-тополя. Зайцев любовался.

Ему плевать уже было на эту Зою. Утром за завтраком при виде его свертков она снова стремительно вышла. «И плевать», — повторил он себе. Отвяжется там от нее как-нибудь.

Он с аппетитом поел, глядя в окно. Ход замедлился — по-видимому, подъезжали к какой-то станции. В остове курицы виделось что-то геральдическое: обглоданная грудина вздымалась, как рыцарский щит. Солнце по ту сторону окна жарко накаляло будущий день, а внутри — ринулось на граненое горлышко графина, приняв его за бриллиант.

Зайцев выглянул в коридор. Зои там не было. Зато шел проводник.

Вагон катил мягко и плавно. Замедлял ход.

— Стоянка долгая? — поинтересовался Зайцев.

Хотелось пройтись по перрону. Ощутить совсем другую — не питерскую — меру тепла. Вдохнуть совсем не городские запахи. Хотя он был сыт, мерещились горы яблок (вспомнил болтуна в коридоре с его яблоками-головами), груш, винограда, пирамиды кукурузных початков, цветы, кринки с молоком — и что там еще производит тучная южная земля, а особенно северное воображение при словах «юг» и «чернозем». Весело было чувствовать собственное нетерпение.

Зайцев вернулся в купе. Мирнолюбиво признал, что дух от курицы действительно стоял густой. Усовестился: вдруг правда вегетарианка. Завернул куриный остов вместе с яичной скорлупой в газету. Вытряхнул, бережно сложил и убрал в сидор вышитое полотенце.

Газетный комок взял с собой — выбросит в урну на перроне. Чего мелочиться — зря раздражать человека, пусть и наседку-истеричку.

Осторожно задвинул за собой дверь.

В коридоре вагона было пусто. Никто не спотыкался о чемоданы — никто, похоже, на этой станции не входил и не выходил. Ощущение пустоты беспокоило еще и потому, что двери всех купе закрыты. Коридор слеп, глух и нем.

Зайцев ловко спрыгнул на перрон. Воздух охватил его теплом, обласкал. Зайцев зажмурился от солнца. Первым делом заметил каменную урну и ловко пульнул в нее свой погребальный сверток.

И тут же на него обернулись несколько лиц. Какие-то фигуры метнулись к урне. Запустили в нее руки.

Другие двинулись к нему. Он замер. Не пошли, не бросились — а именно двинулись. Они как бы маячили, колебались. Возможно, так казалось оттого, что одежда болталась на них, как на крестовине. Под ней почти не угадывалась плоть. И только глаза — человеческие, страдающие или стекленеющие. А голос — нет, такой не мог принадлежать живому существу.

— Хлеба...

Те, поодаль, уже развернули, разорвали газету и торопливо вылавливали, глодали, хрупали куриными костями.

— Помогите, — шелестело рядом. — Хлеба...

Зайцев обернулся. Он смотрел в треугольные лица с выпуклыми, какими-то особенно большими лбами, какими-то особенно длинными носами. И запавшие глаза. Костяной, обтянутый рот. Рты. Не лица. Черепа!

Руки шарили по его одежде: сил дернуть — не хватало.

— Хлеба. Хлебушка...

— Помогите...

— Христа ради...

— Отец родной...

— Деткам бы...

Руки тонкие, как палки. Позади раздался административный свисток. Крик: «А ну назад!.. Порядок!» Опять свисток. Он сердито буравил воздух. Но люди словно не слышали.

Зайцев глядел на... И только по пыльным юбкам понимал, что глядит на женщин. Он даже не сразу понял, что маленькие пузатые

скелетики рядом — это дети. Его ум отказывался это понимать.

— Купи... Купи... — тянул его за пиджак кто-то.

Одна протягивала ему вышитое полотенце:

— Купи. За хлеб. Детке бы моей поесть... Купи...

Зайцев увидел только по краю: «Луша шила — птичка пела». И его огорошило, как магниевым светом милицейской фотовспышки. «Матреша шила»... Матрена, ее прозрачный сын, тонкие ломтики хлеба, жадные взгляды, такая же тощая «нянька» Катерина, ужас в глазах Паши. «Так надо». «Не гоните».

Он пролетел по вагону, стучаясь о стены. Вломился в купе. Сдернул и рывком опрокинул свой сидор на полку. То есть на Зою, которую не сразу заметил.

Потому что не видел перед собой вообще ничего.

— Вы что? Вы что? Спятели? — Зоя поджала ноги.

Зайцев схватил хлеб. Выронил круг колбасы. Рассыпал рафинад, со стуком покатались кубики.

— Подберите! — страшно заорал он. Зоя кинулась подбирать.

— Берите! Берите все! — приказывал он. — Да не стойте столбом! Живо! Помогайте!

— Мое тоже брать? — пискнула Зоя.

С полными руками он вывалился из вагона. Принялся толкать еду наобум — в протягиваемые руки. Что-то падало. Еду тут же разрывали, тут же заталкивали в рот. Где-то фоном надрывался свист. Вопли: «Разойтись!», «Разойтись!» Приближался топот — снова сапоги и при полной амуниции, отметило краем его сознание.

Сам Зайцев не слышал.

Ничего не существовало, кроме этих треугольных лиц. Черепов. Так вот что она видела в окне.

Кроме этих скелетиков с раздутыми животами.

Которые, и он это знал, как знал наверняка то, что живет, отныне будут преследовать его в кошмарах. Люди-скелеты метнулись врассыпную — насколько позволяли им убывающие силы.

— А ну! — заорал кто-то голосом сильным, сытым — не человеческим, потому что людьми были те. Ткнул в спину кулаком. Зайцев обернулся: фуражка с голубым верхом, красная морда, за плечом винтовка.

— Ты! Чего ошиваешься! А ну документы.

Зайцев сунул ему удостоверение. Фуражка изучил; Зайцев словно видел, как ворочаются мысли за потным лбом с красной полосой — фуражка-то, видно, маловата.

Губы у того оттопырились. Удостоверение морда вернул уже со смутной опаской.

— Вы, товарищ из ленинградского угрозыска, далеко заехали. По делу? Или родственников навестить?

— Проездом, — бросил Зайцев. Зоя глядела во все глаза.

— А вы звиняйте. Вы сами в гражданском — откудова мне понять с виду.

— Ничего.

Тот сразу приободрился.

— Вы вернитесь в вагон, гражданочка. Тут кулачье так и шастает. Гоняем сволочь. Так на вагоны и лезут. А на северное направление так еще хуже. В города пробираются, кулаки недобитые. Мало их раскулачили. Сами зерно от советской власти прятали, в колхозы не шли, а теперь, значить, строят из себя, изображают... Голодают якобы. Вы смотрите ж, на поезд свой не опоздайте, — почти доброжелательно прибавил фуражка.

И козырнул.

Они с Зоей сидели напротив друг друга. Поезд уже давно отвалил от перрона. Уже давно набрал ход, вошел в ритм — и только стучал колесами.

Оба молчали.

Уже поглубело за окном. Свечи-тополя не зажглись, а темнели, как вырезанные из бумаги. Потом пропали деревья и деревни. В вагоне вспыхнул и установился электрический свет. В окне теперь в подробностях повторялось освещенное купе. И две фигуры с окаменевшими спинами.

— Что это? Что это было? — быстро говорила Зоя. — Я же говорила... Я видела череп. Вот что это было. — Голос ее окреп. — Кулаки, так он сказал? Кулаки недобитые. Зачем они лезут на вагоны? Их раскулачили, а они лезут в города? Зачем? Диверсия?

И хотя впервые в ее голосе не было ни истерики, ни вызова... Хотя впервые Зайцев чувствовал то же, что сейчас Зоя, — то, что впервые услышал в голосе Паши тогда, и тогда — не понял: ужас... Он

посмотрел на Зою — встретил ее полоумный взгляд. И еле смог произнести:

— Заткнитесь. Товарищ Соколова. Пожалуйста. Заткнитесь.

Поезд весело стучал колесами — катил себе дальше на юг.

Глава 8

А наутро они с Зоей оба делали вид, что ничего не было. Только старательно не смотрели друг на друга. Как будто прошлым вечером вступили в банальную дорожную связь, которую следовало забыть теперь, когда солнце, мелькая и прыгая между столбами, заливало купе.

Вот только еды у Зайцева больше не было. Сидор валялся на багажной полке — снова обвисший и легкий.

Зайцев справился у проводника — жулика с бегаящими глазами. И вернулся в купе с двумя большими ржаными сухарями в газете и тремя холодными картофелинами; уже очищенные, они смотрели серо-сизыми глазками.

— Можно? — вдруг подала голос Зоя.

— Конечно, — удивился Зайцев. — Угощайтесь.

Рука выпросталась из-под шали, взяла сухарь.

«Символ. Трубка мира», — истолковал это себе Зайцев. Преломляем хлеба с врагом своим. Но Зоя есть не спешила. Поддержала в руке. Положила на стол.

Впрочем, его это не занимало. Вместе с сухарями и картошкой он получил у проводника местную газету и с облечением отгородился от Зои сероватым листом.

Вагон потряхивало, буквы были блеклые, слепенькие, а на фотографиях — несмотря на энергичную ретушь, придававшую физиономиям нечто опереточное, — было не отличить товарищей женского пола от товарищей пола мужского.

— Они сами виноваты, — тихо проговорила Зоя. — Кулаки. Закапывают зерно. Жгут. Лишь бы советской власти не досталось.

«Ага, рабочий день у сотрудницы начался — собираем материал для отчета», — спокойно отметил Зайцев. Его это не пугало и больше даже не злило: каждый живет, как может, тем более что после Аллы... А впрочем, не стоит о ней.

Брошенная книга лежала обложкой вниз.

— А вы что же больше не читаете? — отозвался Зайцев, как будто Зоя только что говорила о пейзаже за окном, а не о кулаках. — Не понравилась книжка? Про что там?

Та пожала плечами.

— Важно получить всестороннее представление о местах, куда мы направляемся. В художественной форме в том числе.

Новочеркасск был бывшей столицей казачьего Войска Донского. После революции, в гражданскую, сюда откатилась Белая армия. Против советской власти здесь воевали особенно свирепо.

Зайцев кивнул, тряхнул листом, избегая Зоинога взгляда, перевернул. Но голос ее добрался сквозь бумажную преграду:

— Они себя уморить готовы, лишь бы навредить и зерно не сдать.

— В замечательные места едем! — отозвался Зайцев. — Не знаю, что ваша книжка сообщает. А сейчас вот послушайте, что пишут в газете. «От восьмидесяти двух до восьмидесяти семи процентов казачества коллективизированы», — с выражением прочел он. Голосу придал радость и оптимизм: так читала газеты вслух товарищ Розанова. Конечно, когда на собрания удавалось согнать милиционеров-комсомольцев.

— Они сами виноваты, — снова забубнила Зоя. — Они могли вступить в колхоз. Они выбрали пойти против. Они кулаки.

— «Хутора и станицы единогласно принимают решения коллективизироваться, — с выражением читал Зайцев. — Выступили в колхозный поход. Казачество охвачено массовым энтузиазмом, он разрастается как пламя под ветром».

Мильтоны обычно впадали в сонную одурь сразу, как только зад касался скамьи красного уголка. Но Зою так просто было не пронять.

— А вы кулаков — подкормили, — не унималась она. — Проявили классовую и политическую близорукость.

«Господи, — подумал Зайцев, — и не приехали еще, а у меня уже такое чувство, что я на ней женат пятнадцать лет».

— Жалость к классовому врагу, к врагу советской власти...

Опять тряхнул страницами. Глянул на нее небрежно.

— Ну так донесите на меня, — твердо сказал он.

Ответа не последовало. И Зайцев сам не заметил, как действительно углубился в чтение провинциальной газетенки.

Больше всего его заинтриговало прочитанное между строк. Как всегда, провинциальная печать была болтливее центральной всесоюзной.

«Вместе с тем Н-ский район имеет значительный процент кулацких хозяйств, в станицах и на хуторах — засилье сектантов, — откровенничала серая газетка. — Отсюда целый ряд срывов классовой борьбы и острота в колхозостроительстве».

«Интересно», — подумал Зайцев, переведя прочитанное. Советские газеты осторожно выбирали выражения, прибегая к общему словесному шифру. Если писали даже не просто «отдельные случаи», а прямо вот «целый ряд», значит, дело худо. Что бы там ни рассказывалось в Зоиной книжке, Дон, куда они направлялись, судя по всему, отнюдь не был «тихим».

— А что ваша книжка говорит? В дивные места едем? — из-за газеты поинтересовался Зайцев.

Зоя встала и громко лязгнула дверью.

Зайцев отложил газету, взял с Зоиной полки чуть потрепанный, размягченный пользованием томик. Пролистал. Наугад выхватил глазами несколько строк. О гражданской войне. Зайцев захлопнул и бросил книжку обратно. К гражданской войне на Дону у него вопросов не было. После нее незамиранные казаки утекли за границу вместе с Красновым, вместе с Врангелем. Странно было думать, что прошло всего-то десять лет или вроде того.

Он снова взял газету.

Допустим, восемьдесят процентов казаков-колхозников не преувеличение. Вернее, не большое. Хорошо, если и большое, то, значит, на деле процентов шестьдесят, размышлял Зайцев. Он прекрасно знал, как рисуют нужную статистику у них в угрозыске, поэтому допускал, что донские товарищи мыслят примерно так же. Но все-таки — шестьдесят! Все-таки много. Большинство за советскую власть.

Он вышел в коридор — Зои не было. Никого не было. Он побрел по тряскому, качающемуся коридору, придерживаясь за перила. После многих часов в пути, перебрав все возможные положения сидя и лежа на полке, тело ныло и просилось на волю. Хотя бы постоять. Глаза требовали хоть чего-то, кроме четырех стен купе.

И одиночество: Зайцев с наслаждением чувствовал, что он в коридоре один.

Вагон мягкий. Пассажиры в таких к незнакомцам с разговорами не лезли. Опасались. А то как в бане. Начнешь трепаться с невзрачным

козликом, а он окажется шишкой в наркомате. Или хуже: властный бровастый кабан, перед которым лебезил битых два часа, — всего лишь мелкая чиновная сошка.

Зайцев приспустил окно, рискуя наглотаться угольного паровозного дыма. По коридору сквозняк колыхал помпончики на занавесках.

Он глядел в окно на никогда не виданные южные волнистые линии пейзажа. Иногда рывком проносилось мимо ржавое зернистое пятно посреди зеленого простора — табун. А может, коровье стадо. Поезд выпускал широкий белый пушистый рукав пара. ...И зелень. В Питере она была еще клейкой, нежно-зеленой. А за окном — тоже не по-северному — слишком темной для начала лета. Здесь лето уже набрало сок, перло из-под земли навстречу солнцу.

Как там давеча дурак в косоворотке сказал? Карандаш воткни в эту землю — и тот прорастет? Может, и память здесь зарастает травой так же быстро? И десять лет для здешних мест — совсем не то же самое, что в Питере. В Питере помнят долго. А здесь... Может, уже и правда забыли, что воевали против советской власти. Еще через десять лет оглянутся: а вместо разоренных развалин — буйная зелень, жизнь.

И все же не самое тихое место, чтобы перевести сюда ККУКС, пришел к выводу он.

Даже странно. Учитывая «целый ряд эпизодов», который партийная газета не в силах скрыть. Почему не Москва? Или Курск? Или любой другой мирный совершенно советский городок в глубине страны. Почему Новочеркасск?

Зайцеву хотелось есть — и это мешало думать.

Он обернулся на отдаленный лязг двери в тамбуре.

Зоя шла по качающемуся коридору, хватаясь рукой за стену. В другой был носовой платочек, она утирала рот.

Зайцев посторонился, чтобы дать ей пройти. Но она не прошла. Встала рядом — и тоже стала смотреть в окно. Она заговорила ровно за миг до того, как Зайцев решил скрыться в купе.

— Вы теперь думаете, я плохой человек. — Знака вопроса на конце не было.

— Ничего я не думаю.

Ему хотелось отвязаться от разговора любой ценой.

— Думаете!

Зайцев уловил кислотоватый запах ее дыхания.

— Да мне все равно, — сдался Зайцев. — Ваше личное дело, что вы за человек. Ей-богу.

— Я не плохой человек, — повторила она. — И я вашего товарища от этой поездки не оттирала.

Зайцев не удержался — бросил на нее быстрый взгляд.

— Я знаю, вы хотели ехать с совсем другим товарищем, — удовлетворенно подтвердила Зоя. — Я все знаю.

Это «все» Зайцеву не понравилось.

— Я и сама не ожидала, что мне предложат... прикажут... Прикажет. Один человек. — Она отвернулась от окна, привалилась задом, оперлась позади руками, чуть вытянув ноги к стене, и уставилась на свои нарядные туфельки. А потом добавила глухо: — Любовь у нас с ним.

Такое начало Зайцева уже прямо испугало.

— Вот что, Зоя, я пойду. У вас вагонный синдром в чистом виде. Откровенность перед попутчиком. Вы сейчас наговорите лишнего. А потом пожалеете.

Она удержала его за рукав.

— Не синдром. Хочу, чтобы по-честному все. Открыто.

Это не понравилось Зайцеву совсем.

— Хорошо. Я понял. Любовь. Рад за вас.

Но так легко от Зои было не отделаться.

— Да. Это любовь. Настоящая. Просто ему нужно время. Чтобы разобраться в своих чувствах.

«Он женат», — мысленно перевел Зайцев. И не ошибся.

— Его жена со временем это тоже поймет, — уверила Зоя в основном себя саму. — И примет! Должна принять. Она сама говорила, что брак без любви для нее лишен смысла. То есть он мне говорил, что она говорила...

Зайцев чувствовал, что вот теперь он мог бы просто отойти на цыпочках — Зоя бы не заметила. Она, опустив голову, продолжала говорить своим туфлям, их мыскам, их бантикам:

— Так пошло: оба служим, познакомились на службе. В Смольном.

Вот и объяснение шелковым заграничным чулочкам, завивке, маникюру. В Смольном заседало высшее городское партийное

руководство.

— Он старше, — продолжала Зоя. — Но не намного, вы не подумайте! Он еще молод! Душой. И мы любим друг друга. Он меня любит.

«Ага, — подумал Зайцев. — Старый пень. Хорошо устроился. И жена, и любовница молодая. А ей кажется, что она первая, с которой такое».

— Просто ему нужно время.

— Это он вас, значит, отослал?

«Скотина, — рассердился он на товарища из Смольного. — С бабами своими запутался, а мне теперь тащи этот буксир всю дорогу и паши за двоих. Из-за нее Нефедов не...»

— Не отсылал меня никто. Я сама! Он только помог найти командировку. Говорю же, я понимаю: ему нужно время. Не ему даже. Его жене. Он бы сам — давно от нее ушел. Но она ему угрожает. Что-нибудь с собой сделаю, говорит. Ломает буржуазную мелодраму. Жена его должна понять: брак в старом смысле устарел. Люди сходятся — люди теряют интерес друг к другу — люди расходятся. Удерживать человека насильно — это мещанство.

Зайцев узнал содержание актуальной комсомольской брошюры. Но тон у Зои был самый выстрадавший.

— Так уж вышло: мы встретились, мы полюбили. Мы будем вместе. Ему просто надо сейчас побыть одному и подумать.

«Точно, — отметил Зайцев. — Особенно первое, насчет побыть одному». Он на миг испытал солидарность с этим неизвестным ему немолодым товарищем из Смольного. Зоя явно не относилась к категории легких увлечений. Легкость не была словом из ее умственного словаря. А тем более — из словаря душевного.

Она демонстративно встряхнула головой:

— Все наладится.

«А вот в этом сильно сомневаюсь», — подумал Зайцев. Но сказал, кивнув:

— Безусловно.

Если это и была легенда насадки, призванная расположить жертву, вытянуть на откровенность, то уж больно какая-то глупая.

Зайцев впервые допустил, что Зоя не врала.

К счастью, рельсы начали сползаться со всех сторон, вливаясь в одну реку, и та уже вела только в одном направлении. «Железный Дон», — пришло Зайцеву, вообще-то не склонному к поэтическим сравнениям, на ум. Поезд прибывал.

* * *

О том, чтобы помочь Зое с ее чемоданом, не могло, конечно, быть и речи. Она решительно волокла его сама. Из поезда на перрон сыпали пассажиры и устремлялись к двухэтажному зданию вокзала. Оно выдавало дореволюционную постройку и купеческий вкус. Зайцева мгновенно охватила жара. Он сдвинул кепку на затылок. Под мышками сразу стало мокро. Даже от полупустого сидора спине было жарко.

Хотелось скорее под прохладные своды, на прохладной плиткой выложенный пол.

Зайцев рассчитывал увидеть внутри вокзала пальмы в кадках. Но они, видимо, отошли в прошлое вместе с купцами и трактирами. Толпа была обычной, провожающе-отъезжающей. Белели платочки женщин. Кто-то дремал, сидя на узлах. Местных от приезжих отличить было легко. Местные без устали лузгали семечки, сплевывали шелуху. Страшных, отощавших людей видно не было. Запах — густой и сложный — можно было резать ножом.

Вышли. Запах изменился: человеческий пот почти исчез. Но крепость настойки осталась. Пахло пылью, тротуаром, травами, деревьями, лошадьми, едой, навозом, цветами, сухими досками, сразу всем. Как будто солнце выпаривало молекулы запаха из любой материи, включая камни. Под местным солнцем все сразу загнивало, начинало бродить, высыхало. На севере так не пахнет. Запахи оглушили Зайцева.

— Нас не встречают местные товарищи? — позади него спросила Зоя.

Она совсем запыхалась. Прядь волос прилипла ко лбу. Чемодан колотил ее по ногам. Взгляд сделался тупым, мутным. На блузке

расплылись пятна. «Как бы в обморок не грохнулась», — забеспокоился Зайцев. Уже дернул рукой к ее чемодану, уже открыл было рот, чтобы сказать: «Возьму?» Но успел сообразить:

— Выйдем в город. Найдем извозчика.

— Вы знаете, где здесь НКВД?

Зайцев успел проглотить шутку, чуть не сорвавшуюся с языка.

— Разберемся, — бросил он.

Под пыльными акациями дожидались несколько тележек, запряженных небольшими коричневатыми коньками, так не похожими на мохнатых ленинградских коняг. В пыли возились воробьи. Маленькие, тоже не ленинградские — словно ссохшиеся и выгоревшие на солнце.

Зайцев велел Зое постоять в тени, у вокзала. Ожидал обычного залпа о равноправии полов, но ей, видно, и правда было худо. Она с облегчением стукнула чемодан на землю. Зайцев отправился на переговоры.

— Отец, почем до НКВД подбросишь? — обратился он к головному экипажу.

Не следовало думать, что местные возницы придерживаются иных обычаев, отличных от северных. О цене следовало договариваться заранее.

Мужик ответил нечто вроде «эхм». Зайцев повторил.

— Россиец? — ответил тот, слушая, видимо, лишь звук речи.

— А ты нет?

— Я-то? Я казак. Чего дома-то не сидится, россиец?

— А тебе, отец, отчет в трех экземплярах предоставить?

Возница дернул себя за козырек фуражки. Потом за ус. А потом ответил на таком затейливом диалекте, что Зайцев понял смысл только по грамматической последовательности окончаний. Смысл был прост: возница уже столкнулся с другим пассажиром.

Мысленно выругав болтуна, Зайцев перешел к другому.

Потом к третьему.

И к четвертому.

Вернулся к Зое.

— Что? Что?

— Чертовщина. Занятой здесь народ, я погляжу.

Несмотря на то что у всех четверых, по их словам, было неотложное дело, все четверо так и стояли. Только коньки обмахивались хвостами, да над головой одного поплыл сизый дым от самосадного табака. Впрочем, первый, в фуражке, точно спрыгнул с тележки и куда-то потопал. Его лошадь, оставшись без надзора, смиренно стояла, водя ушами и отгоняя хвостом мух.

Зайцев прикинул: все старые русские вокзалы обычно строились в устье главной улицы. И оборвал себя: какие еще все? Какие он знал — московский да ленинградский.

Зоя села на свой чемодан. И Зайцев тотчас отбросил сомнения: уж НКВД точно расположился на главной улице или близко к ней. Найдут, не заблудятся.

Ему к тому же все острее хотелось двух взаимоисключающих вещей — пить и в туалет. Поэтому он без предварительных вопросов потянул из-под Зои ее чемодан.

— Вы что! Отдайте! — Вскочила, едва не свалившись, она. Вцепилась в ручку.

— Товарищ Соколова. Я все понял. Любовь пчел трудовых, женщина мужчине друг и брат. Вы мне все это объяснили. Я понял. Я покаюсь, прочту брошюру, вырасту морально и идеологически. Предоставлю вам конспект. Потом. А сейчас — просто идемте. Ладно?

Она хотела возразить. Но, видимо, ей опять стало нехорошо — она сделала движение человека, которого толкнул изнутри горький комок, проглотила его, прикрыв глаза. Разжала пальцы. Кивнула:

— Идемте.

— Вот и хорошо, — обрадовался легкой победе Зайцев. Закинул чемодан себе на плечо. Прикинул, как перейти на другую сторону. Зоя поплелась следом. И...

Отпрянул. Лошадь затопотала на месте, сдержанная вожжами.

Но вместо «куда прешь» или брани мужик, сидевший на козлах, весело спросил:

— Бабочке твоей никак присесть бы?

Бричка была пуста. Зайцев объяснил, что им в НКВД.

— Знаешь где?

— А то. — Кивнул назад: — Столкуемся.

Зайцеву уже было все равно. Он пихнул Зоин чемодан. Бросил свой тощий сидор. Подсадил Зою, обдавшую его запахом подмышек.

«Вот от меня козлищем-то, наверное, тоже прет», — с неудовольствием подумал он. И плюхнулся рядом на подушку из сена.

Возница цокнул. Конек заработал ногами, колеса затрещали по бульжной мостовой.

Есть хотелось по-прежнему. Во рту пересохло. Но сидя хотелось в туалет хотя бы уже не так сильно. В движении голову оведал приятный ветерок. Зайцев повеселел. Посмотрел: Зоя вроде тоже не была уже такой зеленой. И он с удовольствием принялся глядеть по сторонам, подобно госпоже Простаковой отдав знание географии на откуп извозчику.

Улицы извивались во все стороны, как миноги из сети. Вскоре осталась только одна — та, по которой они ехали. Бульжник тоже кончился: коняга токал, взбивая пыль. Вокруг все тонуло в зелени. Впервые Зайцев увидел, что это выражение не банальность, а точный отчет. Новочеркасск тонул в садах, палисадниках, огородах. Сквозь буйную зелень едва-едва виднелись то верхушка крыши, то маковка церкви, то серые зубья забора. По рукам Зайцева, по лицу Зои, по ее закрытым векам бежала пятнистая тень. Душисто пахло цветами. С гудением проносились то ли шмели, то ли еще какая дребедень.

Пиджак раскалился. Снять его прямо сейчас не было никакой возможности: он прикрывал кобуру. Зайцев ругал себя за питерскую привычку — ничего бы кобуре и в сидоре не сделалось. Постепенно ременная сбруя становилась все теснее. Зайцев воображал, каково было дамам в старину, когда нашивали корсет.

«Корсет», — вдруг вспомнил он язвительный голос и инструктора с невероятно прямой спиной там, на манеже.

Он подумал, не закрыть ли глаза, не подремать, как Зоя. Но тотчас их раскрыл.

Убаюкивающая тряска, солнце, душистые запахи, зелень — не убаюкивали его. Наоборот. Он с удивлением понял, что ему не по себе.

Он привык к питерской просторности — просматриваемости — улиц. К простору питерского неба. К ровным линиям плотно сомкнутых фасадов.

И даже темные сыроватые каменные колодцы дворов были ему уютны. Ухо слышало в их гулкой трубе любой шорох.

А здесь, в солнце и неге, казалось, вставала дыбом шерсть на загривке. Он чувствовал себя городской крысой, выброшенной в лес.

— Да не ерзайте уже, — раздраженно прошептала Зоя. Она была бледна и сухо сглатывала после каждой фразы. — Что вы вертитесь? Ужасно трясете сиденье.

— Любуюсь видами, — быстро ответил Зайцев.

Улочка была пыльна, тиха, пустынна. А казалось, что кто-то смотрит — за зеленью, за заборами. Хотя глядели на них только косматые морды подсолнухов.

— А вы россиянки, значит? — словно почувствовал его тревогу, отозвался возница. — По выговору слышу. Тоже приехали, значит?

— Тоже?

— Приезжают разные.

Зайцев подтвердил.

— Слушай, папаша, а что-то мы едем, едем — далеко еще?

— Не. — И сразу: — А что, никак с Англией война скоро?

— С Англией-то почему? — наобум спросил Зайцев. Он ерзал, глядя по сторонам, — вокруг уже точно ничего не говорило о приближении главной улицы. Даже если предположить, что жулик-извозчик нарочно повез их задом, чтобы содрать побольше.

— Что это мы все не доедем никак?

— Доедем, — заверил извозчик.

Повозка явно двигала из города вон. Извозчика пора было брать за шиворот. Зайцев и сам не понял, что правая рука его ткнулась под пиджак, под мышку. Не успел понять. А голова сама прыгнула назад — как бы отклоняясь от гудящего промелька пчелы.

Только это была не пчела. Сознание, опоздав, отметило звук выстрела — сухой треск. Тело само повалилось на Зою, вытолкнув из-под обстрела. Лошадь забилась на месте. Что-то крикнул — а может, и нет — возница. Или Зоя. Может, это он сам, Зайцев, кричал.

Еще треск. Он выкатился из повозки. Сдернул Зою за руку. Занял огневую позицию за колесом. Заметил движение. Почувствовал знакомую отдачу в ладони. Еще. И еще.

И опомнился, только когда тишина стала оглушительной. Когда ощутил, что в кобуре пусто. Когда увидел, что Зоя с ужасом смотрит на дымящийся пистолет в его руках.

Зоя выглядела уже совершенно спокойной, даже порозовела и пила чай, поглядывая поверх чашки то на Зайцева, то на Татьяну Григорьевну.

Так, она сказала, ее звали: Татьяна Григорьевна.

Особенно испуганной Татьяна Григорьевна не выглядела. Обеспокоенной — да. Но по-деловому. Зайцев отметил: усадила их так, чтобы не видно было из окна. А потом еще и задернула густую кружевную занавеску.

Расставила на столе блюдца. На них — перевернутые вверх дном чашки. Поставила миску с сушками.

— Паек армейский. Не жалуемся.

В чашку переложила из большой кринки простоквашу. В салфетке принесла хлеб. Вынула варенье. А затем столь же простым хозяйским движением достала из-под кровати и положила поверх покрывала винтовку.

Покрывало было белым и тоже кружевным — под стать занавескам. Не приходилось сомневаться, что выполнены одними и теми же — хозяйкиными — руками. И сейчас ее рука приветливо приподнялась с вороненого ствола винтовки и показала на стол.

— Наливайте. Угощайтесь. Чай — астраханский. Простокваша местная, сами корову не держим. Пока. Хотя я предпочитаю козу. Но мужу запах молока не нравится: душок, говорит, козлятиной пахнет. Варенье свое, прошлогоднее, правда. Вы там снимите сами, что засахарилось. Если не по вкусу.

Зайцев не мог и думать о еде.

— Очень даже по вкусу, — ответила Зоя. — Спасибо.

Рука хозяйки снова легла на оружие. В том, что Татьяна Григорьевна вскинет его в момент, прицелится и выстрелит, Зайцев не сомневался.

И поразит цель.

Он сразу видел, когда человек клал руки умело — будь то руки зубного техника, криминалиста-эксперта. Или женщины с ружьем.

Он чуть отогнул пальцем занавеску. Во дворе ни души. Кроме расписного индюка с до того неприличной штуковиной на голове, что Зайцев засмотрелся.

— И часто у вас вот так... озоруют, — наконец поинтересовался он. Она сама так сказала: «озоруют».

Впрочем, мог бы и не спрашивать. Винтовку Татьяна Григорьевна достала красноречиво быстро.

— Бывает, — спокойно ответила она.

Будто разговор шел о погоде.

«Если только эту погоду не мы с собой привезли, — кисло подумал Зайцев. — Но неужели кто-то знал, что мы едем?»

— Не любят нас местные, — добавила Татьяна Григорьевна.

— Вас?

— И вас тоже. Российцев, как они это здесь кличут.

На комод, на кружевной салфетке, малой родственнице занавесок и покрывала, стояла фотография: Татьяна Григорьевна с красноармейцем. Плечом к плечу, головы чуть склонены друг к другу — большего себе не позволили. Лица у обоих серьезные. Муж. Который не любит козье молоко.

Выговор у Татьяны Григорьевны и правда был не местный — обычный русский выговор. Салфетка, покрывало, занавески говорили, что досуга у Татьяны Григорьевны много. Жена военного. Он снова глянул на фотографию.

— Нас из-под Пскова сюда перевели, — ответила Татьяна Григорьевна, проследив за взглядом Зайцева.

— Они сами, можно подумать, не русские, — пробурчал он.

— Они казаки, — возразила она.

Зайцев хмыкнул:

— Не турки же или папуасы какие-нибудь.

— Мы не можем здесь сидеть бесконечно, — подала голос Зоя.

— Да вы поешьте, товарищ Зайцев, — опять пригласила Татьяна Григорьевна. — А то я могу в курятник сходить, яиц набрать.

При мысли о скворчащей яичнице Зайцев почувствовал зверский голод. Но мысль о том, что Татьяна Григорьевна выйдет наружу — и неизвестно, поджидают ли там... Эта мысль ему не нравилась совершенно.

— Я не голоден. Спасибо. Нам бы до местного НКВД добраться.

— Это в самом центре.

Где местное НКВД, Татьяна Григорьевна знала очень хорошо.

— А мы где? — поинтересовалась Зоя. — Мы далеко?

Татьяна Григорьевна пожала ситцевым плечом. Ответ ее был достоин буржуазного физика Эйнштейна с его вредной немарксистской теорией относительности:

— Так — далеко. А так — нет.

Зайцев опять ощутил укол бессилия: в Ленинграде он бы уже позвонил по телефону. Но судя по ведрям, которые он приметил в сенях, водопровод, электричество и телефон еще не вошли в дома простых новочеркасцев.

— На бричке — вмиг обернемся.

— Поешьте, товарищ Зайцев. Время есть, — позвала Зоя. — А голод не советчик.

— Озорники эти уже все равно тю-тю, — добавила Татьяна Григорьевна. — Да вы не подумайте. Все не так плохо. Не плохо. Бывают... отдельные элементы. Кулацкие. Недобитые. Они баламутят. Но ре-е-едко. — Зайцев недоверчиво хмыкнул. — Вы что? Думаете, у нас каждый день так? Не-е-ет, — махнула рукой она. — По пьяни кто шамальнул, может. Скорее всего.

«Кто их и правда знает», — подумал Зайцев. Он вспомнил пантомиму-карусель извозчиков у вокзала. Случайность или нет? А если нет? А если да? Иногда совпадение это просто совпадение. В одном хозяйка была права: именно сейчас метаться уже было поздно.

— Слушайте, Татьяна Григорьевна, а насчет яиц — не шутите?

Та всплеснула руками:

— Да боже ты мой! Ваньку нашего видели? У него так и несутся, только лукошко подставляй.

И Зайцев сел к столу.

Вышла Татьяна Григорьевна, однако, с винтовкой в руках.

Зоя проводила ее взглядом, а потом уставилась на Зайцева. Начинается. На арене Фемида-Немезида. Он не ошибся.

— Кулаки. Вот оно, истинное их нутро. А вы, товарищ Зайцев, кулаков своей рукой прикармливали, — с укором произнесла она.

— Поешьте, Зоя, простокваши.

* * *

Яичница, произведенная не без содействия индюка Ваньки, произвела на Зайцева магическое действие. В неприличной голове Ваньки ему уже виделась мужская красота. Зоя казалась не такой уж дубовой. А недавнее происшествие — разыграем.

Он бы вообще решил, что все это просто приснилось ему по дороге, в разморенной и тряской солнечной дреме. Но, к его изумлению бричка, обещанная Татьяной Григорьевной — и подведенная к самой калитке, оказалась той самой бричкой: Зоин чемодан так и валялся позади, только съехал углом вверх, так же валялся зайцевский сидор. На крыле виднелись два свежих пулевых отверстия.

Татьяна Григорьевна опраивала сбрую на коньке, смиренно покорившемся победительнице.

— Да кулак-то ваш утек сразу. И добро бросил. Не оставлять же животину на улице. Сведем в НКВД — пусть разбираются: может, кто узнает, чья. Хотя это вряд ли. Кто за советскую власть, кто против, а все одно — рука руку моет.

Зайцев потрогал пальцами дыры от пуль. «Интересно, как у будущих маршалов с огневой подготовкой?» — с неприязнью подумал он.

Мысль о том, что это все-таки не просто особенности местной классовой борьбы, не давала покоя. Так-то оно так. С другой стороны, отборные боевые командиры учились на кавалерийских курсах. Какой шанс, что такой боец промахнется?

Конек потряхивал головой, поджимал ноги в серых пыльных чулках. Ему было все равно, кого и куда везти, — классовых различий он, похоже, не знал. Жаль только, не мог человеческим языком дать показания о своем прежнем седоке.

Татьяна Григорьевна поставила ногу в шнурованном ботиночке, подпернула юбку, вскочила на облучок.

«Хотел бы я знать, — подумал Зайцев, влезая вслед за Зоей. — А я — тоже промахнулся?»

Они покатали по все так же безлюдно-жарким зеленым улочкам. Теперь они прибавляли в ширине. И вот уже опять под колесами затарахтел камень.

У ложноклассических ворот с колоннами Татьяна Григорьевна осадила.

— Мужу только скажу, чтобы передали, — объяснила она, спрыгнув. И пошла к проходной. За оградой и буйной зеленью, видимо, помещалась военная часть. В полумраке караульни Зайцев разглядел блик штыка. Сбоку от проходной висел небольшой самодельный плакат — солнце уже почти казнило выписанные через трафарет буквы, но Зайцев разобрал:

Пусть вся планета станет садом Для окрыленных пчел-людей.

Подивился содержанию. Он хотел было показать Зое, но увидел, что та глядит в одну точку перед собой — в никуда, а лицо зеленое. Видно, растрясло по дороге, да жара, да пыль.

Татьяна Григорьевна, придерживая косынку на груди, уже бежала рысцей обратно. Влезла, взяла вожжи.

— Предупредила, — запыхавшись кивнула она. — Передадут. Там у них марафет наводят.

— Марафет? — Зайцев знал это слово только в одном, профессиональном значении: наркотик.

— Красоту в смысле — моют, красят. Самого товарища Тухачевского с инспекцией на днях ждут!

И хлопнула вожжами.

Несмотря на бурное начало знакомства, Новочеркасск понравился Зайцеву.

В приземистых двух-трехэтажных домах, в пыльных, но прямых улицах, в густой зелени угадывалась тихая, но твердая осанка русского провинциального городка. Так Зайцев, во всяком случае, их себе воображал. Собор, казенный простор всевозможных бывших гимназий и училищ, еще церковка, парк, памятник, еще казенное учреждение, еще памятник. Сквозь зелень городского парка белели гипсовые пионеры.

НКВД занимало небольшой особнячок. До революции, видимо, купеческий — с каменным первым этажом и деревянным вторым.

Зайцев прыгнул. Зоя вяло сползла следом.

— Извините, — потянула она Татьяну Григорьевну за угол косынки. — Мне бы в уборную. — И опять сделала движение горлом, будто глотая горький ком.

* * *

Татьяна Григорьевна, русская, жена красноармейца и члена партии, была безупречным свидетелем. Только рассказать смогла немного. Была на кухне. Окно открыто. Услышала выстрелы. Выбежала. Пустая бричка, два товарища из Ленинграда.

Товарищ Емельянов изучил документы командированных. В распахнутых окнах кабинета шевелились занавески. Но сквознячок только шевелил — не разгонял запаха гуталина, пота и канцелярской пыли, хорошо настоявшегося на жару.

— А товарищ Соколова где?

— В уборной, — ответил Зайцев. Татьяна Григорьевна бросила на него выразительный взгляд: подробность, по ее мнению, была излишней, не для мужских ушей. Но кивнула.

Товарищ Емельянов зачесал пятерней волосы назад, показав треугольник, врезающийся в широкий, но не слишком доходный по виду лоб. Волосы тотчас встали обратно торчком, как щетка из барсучьей шерсти.

— М-да.

Товарищ Емельянов явно принадлежал к тому типу счастливцев, которые едва только заканчивают утреннее бритье, как на другой половине уже начинает переть наружу синеватая проволока. Зайцев подумал, что здесь, на юге, буйно растет все: подсолнухи, травы, шевелюры, бороды. Он поскреб свой подбородок — тоже бы не мешало побриться.

Товарищ Емельянов принял это за жест замешательства.

— Вам, Татьяна Григорьевна, спасибо, — зашепшил он. — Проявили гражданскую ответственность.

— А что, подписаться где не надо? — беспокоилась ответственная советская гражданка.

— Мы вас вызовем. Потом.

Товарищ Емельянов гаркнул в коридор, распорядился отвезти Татьяну Григорьевну домой. Та махнула рукой:

— Вот еще! Сама. Все равно в город собиралась. Заодно на рынок зайду.

— Жена красноармейца, — только и сказал Емельянов, когда она вышла. — Еще минуточку, — пообещал он Зайцеву.

За эту минуточку уладил судьбу конька и брички — обоих свели на милицейскую конюшню.

— Думаете, опознает кто?

— А то. Город маленький. Даже если конек не здешний, а со станции какой-нибудь. Только вот, — он показал: две большие волосатые кисти как бы умыли друг друга.

— Рука руку моет, — повторил Зайцев выражение. Татьяна Григорьевна употребила тоже именно его.

Емельянов кивнул:

— Местные особенности.

Из чего следовал вывод, что самого товарища Емельянова сюда тоже перебросили откуда-нибудь из «России». «Вместе с красноармейцами. И ККУКСом», — подумал Зайцев. Местным кадрам доверия, значит, особого нет.

Он невольно перевел глаза на карту района. Карта висела под портретами Ленина, Сталина и Дзержинского. Так он, во всяком случае, предположил. Только Сталин был относительно свеж. Двое других были до того засижены мухами, что могли быть Марксом и Энгельсом. Или даже Кларой Цеткин и Розой Люксембург.

Большая амеба, изображавшая Новочеркасск с прилегающими территориями, была поделена внутри на закрашенные сегменты — розовые и красные. Несколько лоскутков были охристыми.

Зайцев догадался, что видит перед собой те самые 82–87 процентов коллективизированных или коллективизованных земель, о которых читал в местной газетенке.

Товарищ Емельянов увидел его взгляд.

— Да, — сказал он. — Не все идет без спотыкача. Подкрепление нам не помешает.

Очевидно, он принял Зайцева за своего. Не стоило его разубеждать — во всяком случае пока.

— Что, очень озорничают? — поинтересовался Зайцев. — Думаете, не по пьяни пальнули? По жаре да во хмелю — только так чертей с рукава щелчками сбивать.

Товарищ Емельянов кхакнул. В ремарке старинной пьесы автор написал бы: «иронический смешок». Но на Зайцева Емельянов не произвел впечатление человека иронического.

— Вы гляньте сюда, — подошел он к карте. Положил поросшую волосом пятерню на розовый сегмент. — Вот области, пораженные кулацким движением и террористической активностью. Вот, — переместил растопыренную ладонь на красный, — сильно пораженные.

— А эти? — показал Зайцев на маленькие зеленые пятнышки.

— Сравнительно спокойные. Тут, товарищ Зайцев, нос высунуть некуда, чтобы не шмальнули. Только каким боком у ленинградского ГПУ здесь интерес? Мы-то подкреплению рады! — тотчас заверил он, и вполне искренне.

— Видите ли. Я не совсем из ГПУ. Уголовный розыск, — честно объяснил Зайцев. — Нас просто слили с ГПУ недавно, поэтому...

Он не хотел говорить «путаница» — чего доброго разозлишь Емельянова. Такие типы не любят, когда другие ошибаются.

— ...Работаем под одним знаменем, — обтекаемо выразился Зайцев. — И ведомство общее, и документы.

Повисла, как он и опасался, пауза. Болтать об областях «пораженных» и «сильно пораженных» перед посторонним товарищу Емельянову явно не полагалось.

— Понятненько, — протянул он. А взгляд его уже переменялся: захлопнулся с лязгом. — Преступничка, значит, ловите. Далековато ж вы заехали.

— У преступников нет границ. И у правосудия тоже, — несколько высокопарно ответил Зайцев. Но увидел, что Емельянов понял правильно: в глазах под бровями, тоже смастеренными из барсучьего волоса, мелькнула признательность. Настороженность не ушла — но и злобы Зайцев не заметил. Пока, во всяком случае. Оба поняли правила

игры. Оба с ними согласились. Рот на замке был в них важным пунктом.

— Поможем, чем можем, ленинградскому угрозыску, — заверил Емельянов, потряхивая Зайцеву руку на прощание. Рука его была не потной, как можно было опасаться, судя по зною в окне и запахам в кабинете, а сухой и сильной. — Вы где, кстати, устроились?

Выслушав, покачал головой.

— Ладно, разберемся. — Он снял трубку. — Здесь немало демобилизованных красноармейцев с семьями разместилось. Есть у меня даже на примете люди. — Сделал вид, что припоминает, думает. — Вот Патрикеевы хотя бы.

«Стукачки, значит», — без злобы подумал Зайцев. Это тоже входило в правила игры. И он не возражал против желания товарища Емельянова держать, так сказать, глаз на приезжих.

Емельянов задал вопрос другому концу провода. На том конце, видимо, уже нашли адрес, потому что Емельянов ответил:

— Записываю.

И чуть отведя трубку от рта — Зайцеву:

— Дорогу нарисовать?

— Спрошу у прохожих.

Емельянов кивнул.

Зайцев поблагодарил за все, за бумажку с адресом особенно. Они еще раз пожали друг другу руки.

Зою он нашел на ступеньках лестницы: она сидела, положив голову на колени. Тотчас выпрямилась.

Красно-розовая амеба не выходила у Зайцева из головы. «Сильно пораженные террористической активностью».

— Ну что? — спросила Зоя.

— Все в порядке, — заверил ее Зайцев. — В полном порядке. Мирный край. Житница страны.

— Они так быстро разобрались? Это были хулиганы? Просто пьяные хулиганы?

Зайцев вздохнул.

— Давайте сюда ваш чемодан.

Глава 9

Зайцев не проснулся даже — потому что липкую непрочную дрему нельзя было назвать сном, — а просто будто вынырнул из горячего киселя.

Вокруг была идеальная непроницаемая темнота. И духота. Простыни липли. Зайцев с отвращением сбил и затолкал простынь ногами на самый край кровати. Его раздражало все: и колючая вата в висках, и сухость во рту, и черный квадрат на том месте, где ленинградцы в мае и июне видят всегда светлое небо.

И жара, жара. Тело было каким-то слабым. Он перевернулся на бок. Снова закрыл глаза. Но поневоле — слушал ночные, не городские звуки. Какое-то потрескивание, уханье, шорохи. Постепенно стала видна занавеска, которой отгородили его угол в доме Патрикеевых — «хороших людей», на постой к которым их отправил товарищ Емельянов, начальник местного НКВД.

Проявились стены, пол. Сонные дыхания за занавеской отчетливо распались на два: мужское похрапывание принадлежало хозяину, тихое — его жене. Зои слышно не было — то ли не спала, то ли спала тихо. В темноте невозможно было понять, полночь или дело к рассвету. Зайцев понял, что и это его тоже злит.

«Как это можно так вообще», — сердито пробормотал он. Под «вообще» и «так» подразумевались темная ночь, жара, юг. Как будто кому-то пришлось в голову нарочно такое устроить.

Он спустил ноги с кровати. Пол хотя бы был прохладный. Теперь уже глаза привыкли к темноте. Стало видно, что ночь — лунная, а на комодке белеет восковая свеча в латунном подсвечнике. Рядом Зайцев нащупал коробок. Повис оранжевый шар света. Дышать стало легче.

Зайцев, как был, в трусах, бесшумно прошел босиком, отогнул занавеску — в большой темной комнате видны были только темные массы предметов. Накрахмаленные подушки в темноте казались синими. Зайцев иронически отметил черную круглую шапку на одной: кот.

Угол для Зои тоже был отгорожен занавеской, висевшей где-то в темноте; может, правее, может, левее. Спящее дыхание Патрикеевых

не шелохнулось. Зайцев увидел, что ему надо было. Осторожно поставил свою свечу обратно за занавеску, чтобы ненароком не разбудить спящих. Выскользнул опять, с легким ужасом ощущая собственную наготу, проделал в темноте бесконечный путь до стола, схватил кувшин с водой и там же лежавшую книгу. Нырнул обратно.

Вода оказалась противно-тепловатой. Но Зайцев выпил через горлышко весь кувшин, с наслаждением чувствуя, как вода стекает по подбородку, капает на грудь. А потом занялся книжкой. Она оказалась Зоинной — «Тихий Дон».

Пробормотал: «Лучше, чем ничего». Выдуманная история про выдуманных людей усыпит его не хуже, чем переписка Энгельса с каким-нибудь общественным деятелем, — а именно это он и ожидал найти у Зои.

Простыни успели чуть остыть — и стали еще отвратительнее: влажные и холодные. Он нашел сухое местечко, поправил подушку, поставил на подоконник свечу, переместив оранжевый шар поудобнее. И раскрыл книгу.

Он сразу понял, почему выпала именно эта страница: верхний уголок справа был загнут. Вероятно, Зоей.

Зайцев прочел. Жена-изменница ждала домой обманутого мужа. Она знает, что он знает, и в воздухе пахнет электричеством — перед грозой. Зайцев прочел главу до самого конца. А потом стал рассеянно листать дальше. Странно, что Зоя отметила именно это. По ее рассказу в поезде выходило, что это она любовница и с ней муж обманывает жену. Что же ее здесь так проняло? Страницы из-под его пальцев с быстрым шорохом убегали налево. Может, она выдумала всю эту свою историю? А может, не совсем — просто переменяла угол рассказа, как часто делают перед случайным попутчиком: это, мол, случилось с одним моим знакомым. Может, на самом-то деле это она обманутая жена?

И вдруг Зайцеву показалось, что он снова на том же месте. Он поспешно остановил страницы, отлистнул назад, проверяя глазами по диагонали, еще, еще и еще, и наконец нашел нужное. Сверил оба отрывка. Да, точно. Опять обманщица ждет обманутого мужа с войны. Зайцев нахмурился. Заложил эти страницы пальцем.

Снова вернулся к загнутому уголку. Перечитал первую сцену.

В современной литературе он, положим, не разбирался. Но свидетелей опрашивал каждый день. Тех, кто врал. Кто говорил правду. Кто говорил правду, но ни черта толком не помнил. Тех, кто помнил все, но ничего не замечал. Тех, кто замечал многое, но в кривом свете. Для кого глаза милиционера были сродни огням софитов, направленных на него, актера для одного зрителя. Свидетелей, которые приукрашивали, недоговаривали, покрывали, доносили. Зайцев принялся читать книгу как следователь, выслушивающий показания. Сомнений не было: он слышал двух совершенно разных свидетелей. Два голоса.

Сравнил обе сцены. Те же обстоятельства, похожи места действия и фигуранты те же, почти те же. Только в одной сцене — душно, как перед грозой. А в другой — сухо, как от старой слежавшейся бумаги. Большая разница! А обложка одна. Зайцев перевернул книгу. Нет, автор один. Некий Шолохов. «А ты, приятель, похоже, тот еще жук».

Это двухголосие заинтересовало его. Он даже перечел оба отрывка еще раз. Точно. Странноватая книжица. Любопытно, что за всем этим стоит.

Как бы там ни было, книжка свое дело сделала: мысли Зайцева разомкнулись. Ослабили онемевшую хватку. И карусель из разбившегося на полном скаку наездника, отравленного газом призового жеребца, врущих, а потом вообще черт знает куда переброшенных курсантов, финтящего Коптельцева, поспешной командировки с противной попутчицей и непонятно как к этому примешанных (или никак не примешанных?) вчерашних выстрелов — все это потихоньку перестало вертеться у Зайцева в сонном мозгу. Заглохло, остыло, развалилось, стало темнеть. Зайцев чувствовал, что глаза его против воли начали слипаться. Он полистал занятную книжицу еще.

«В будущих войнах, — попался на глаза диалог не пойми кого с неизвестно кем, — роль кавалерии сведется к нулю.

— Вернее, ее самой не будет существовать.

— Ну, это-то положим!

— Вне всякого сомнения.

— Слушай, Терсицев, нельзя же человека заменить машиной. Это крайность.

— Я не про человека говорю, а про лошадь. Мотоцикл или автомобиль ее заменит.

— Воображаю, автомобильный эскадрон.

— Глупость! — загорячился Калмыков. — Конь еще послужит армиям. Абсурдная фантазия!»

Зайцев решил, что на сегодня довольно в любом случае. Отложил книгу, наклонился, чтобы задуть стоявшую на подоконнике свечу. И вдруг увидел за окном женскую фигуру.

Женщина сидела на ступеньках крыльца, завернувшись в шаль, повесив голову. Лунный свет лежал у нее на темени, на плечах. По силуэту прически Зайцев понял, что это Зоя.

Она его не видела.

Не двигалась. Никого не высматривала. Возможно, кого-то ждала? Возможно, ей просто тоже не спалось в непривычной духоте и она искала прохлады, свежего воздуха. Сидящая вдруг подняла голову — точно услышала что-то. Или почувствовала чужой взгляд?

Зайцев тихо задул свет, пока она не успела на него обернуться.

Ему снилось, что на грудь ему жаркой тушей сел Коптельцев. Жар от его задницы давил, расползался, мешал дышать.

Зайцев очнулся, жаркая тяжесть не ушла. Он нащупал рукой — мех. Сердито спихнул хозяйского кошака. Тот мягко упал на пол — на все четыре лапы, как у их племени водится. И Зайцев снова провалился в сон — уже без сновидений.

* * *

— Ах! Я думала, вы одетые!

В один миг Патрикеева, выронив полотенце, запрыгнула обратно за занавеску. Зайцев судорожно обернулся простыней. В окно било пронзительное, не северное утро. Рука опасливо поставила за занавеску кувшин с водой, нога придвинула тазик. Зайцев смущенно пробормотал: «Спасибо», поднял с пола полотенце.

Пощупал щетину. Крикнул за занавеску:

— Извините, у вас миски неглубокой не найдется?

Мыло, кисть, бритва болтались в полупустом сидоре.

— Найдется, найдется, — быстро пропела Патрикеева.

Зайцев послушал ее торопливые шаги — она каталась туда-сюда по комнате. Двигала ящиками, поскрипывала дверцами. И бормотала:

— Где же тут мисочки такие?.. Вроде бы видела... Только где? Валя, ты мисочки здесь такие не видел? — Хозяин пробормотал что-то неразборчиво. — А я вроде видела. Но где?

Содержание этого диалога несколько озадачило Зайцева. Но не слишком — не успело. Просунулась рука с жестяным ковшиком.

— Подойдет?

Зайцев ответил:

— Годится, спасибо.

Когда он вышел, все уже сидели за столом. Сам «хороший человек» Валентин Патрикеев — молодой и в кудрях, но, несмотря на молодость, уже немного располневший: над краем партийной толстовки нависал зарождающийся второй подбородок. Напротив него Патрикеева — быстрая, по-среднерусски круглолицая, крутобокая, круглоглазая. И Зоя — она была немного бледна и сидела излишне прямо.

— Прошу — завтракать! — пропела Патрикеева.

— Прошу, прошу, — приветливо двинул стулом, переместил газету хозяин.

Поганый кошак вертелся тут же.

У ножки стула Зайцев заметил телячий портфель: хозяин убежал на службу.

И чулки.

Заграничные, шелковые. Совсем как Зоины. Вот только обтягивали они крупную твердую ногу Патрикеевой. Хозяйка перехватила взгляд гостя, со стуком убрала ногу под стол, под холщовую скатерть.

Зайцев вернул Зое книгу.

— Простите, одолжил.

Она кивнула. Положила книгу рядом. Хозяин тотчас макнул глаза.

— Вы читали «Тихий Дон»? — оживленно завязал разговор Патрикеев. У него был голос опытного выносливого болтуна: слова сыпались как горошины. — Как вам понравилось?

— Интересное произведение, — обтекаемо высказался Зайцев, садясь. Что Патрикеев намерен докладывать о каждом их слове и шаге прямо товарищу Емельянову, он не сомневался; для того их с Зоей и поселили не в какой-нибудь Дом колхозника или общежитие, а в этот хорошенький маленький домик. Зайцев только не знал — один ли Патрикеев или и жена его тоже. А впрочем, без разницы.

— В прессе была дискуссия, — вкрадчиво продолжал Патрикеев. Безличная манера, привившаяся на собраниях в Ленинграде, похоже, в Новочеркасск этот новый стиль тоже успел дойти: «есть мнение», «бытуют представления», «слушали», «постановили». Зайцев сразу оглох ко всему, что Патрикеев сказал, говорил и только намеревался сказать, и придвинул к себе тарелку с кашей.

Патрикеев вещал.

— Да, любопытно, — только и вставлял Зайцев изредка, отталкивая ногой кота — тот крутился под столом среди ног, выпрашивая подачку.

— Любопытно, вы находите? А я не понимаю, как это: если есть подозрения, что товарищ Шолохов совершил литературное воровство, плагиат, то эти подозрения должны быть вынесены на партийное обсуждение!

— Вот вы скажите ваше мнение! Вы культурный товарищ из Ленинграда! — встряла Патрикеева.

— Товарищ Патрикеева преподает русский язык и литературу в местной школе, — сдавленно подала голос Зоя.

Зайцев поднял на нее взгляд от тарелки.

— Я в литературе не разбираюсь, — пожал плечами Зайцев.

— Но вы же читали? — пристал Патрикеев. — В прессе поднимался вопрос относительно товарища Шолохова, что...

Но в этот момент Зоя резко встала, «извините» — и стремительно вышла из-за стола. Ринулась сквозь сени. Хлопнула дверь.

— Что такое? Что такое? Что я сказал? — засуетился Патрикеев. А глаза — забегали.

— Одну секундочку. — Зайцев поднялся.

«Хорошие люди» не двинулись с места, только посмотрели друг на друга. «Оба стучат», — сделал вывод Зайцев.

Еще в сенях он услышал нутряной звук. А когда выглянул во двор, Зоя уж отплевывалась, утирала губы тыльной стороной ладони.

— Не смотрите, — сердито приказала она. А потом стала приминать траву носком туфли с бантиком. Вернее, не траву, а что-то в траве.

— Зоя, перестаньте...

— Я в порядке.

— Вам плохо. Вы явно больны.

— Мне хорошо. С чего вы решили... Мне — хорошо!

Ему пришлось посторониться. Зоя, не глядя на него, вошла в дом.

Теперь она в самом деле выглядела лучше — порозовела, оживилась. Зайцев решил, что уже в конторе НКВД сбегрит ее куда-нибудь. Под предлогом липового задания. Сделать и напечатать выжимку какого-нибудь толстого скучного тома или местных газет за неделю. Пожалуй, газет правдоподобнее. В трех экземплярах.

Найдя решение на сегодня, он повеселел.

Снова опустил ложку в кашу.

— Вы сейчас куда? — не удержался Патрикеев.

— В НКВД, — с оттенком удивления ответил Зайцев.

Патрикеев кивнул. Но успел глянуть на жену.

Ушел на службу Патрикеев.

Патрикеева, увидев, что Зайцев потянулся за кепкой, тотчас накинула на плечи шаль.

— Я вас провожу!

Но и это не испортило Зайцеву настроения. Он правда думал начать день с визита в НКВД: уладить питание — выправить карточки в местную столовую.

Новочеркасск казался Зайцеву все симпатичнее. Приветливее топорщились тополя, акации выглядели мило-растрепанными. То ли дело было в сытном завтраке, то ли в том, что немного походило на питерскую Коломну. Для полного сходства только недоставало неба и камня, а Коломне — зелени.

Пара воинственных памятников попалась по пути. Мимо проехал открытый грузовик, полный красноармейцев. Потом еще один — в ту же сторону. В обоих была какая-то неприятная целеустремленность. Видимо, из-за ровного механического хода машин, так не похожего на нестройный волнообразный ход всего остального на улице — повозок,

прохожих, баб, собак. Трещали воробьи. На башмаки быстро осела пыль — они сделались какими-то пепельными.

— Вот бывшая женская гимназия, теперь школа, — звонко поясняла Патрикеева. Ей, очевидно, хотелось поболтать — она ждала вопроса: что за школа, как ученики, каникулы. Но Зайцев не задал, а взгляд Зои плавал по акациям — ей хотелось туда, в кружевную тень.

— Пришли, — наконец, объявила Патрикеева и показала на знакомый особнячок. — Теперь-то уж точно не заблудитесь, — приветливо пропела она. — Обратного-то дорогу вечером найдете? Запомнили? Не заблудитесь?

Зайцев ее уверил.

— Ну до вечера.

Зоя пожалала ей руку, Зайцев тоже тряхнул полную мягкую ладошку.

И отметил: Патрикеева сразу не пошла, убедилась вначале, что «гости из Ленинграда» — «культурные люди» — точно двинули к входу в НКВД.

— Смотрите не заблудитесь! — еще раз крикнула она.

Зайцев отметил глазами чернокрылый «Форд», стоявший у бывшего купеческого крыльца. Явно вымытый с утра: пыли на лакированных крыльях еще не было. Кто сидел внутри — рассмотреть не успел. Зоя помахала вслед Патрикеевой, обернулась к Зайцеву:

— Вы что, знаете эту машину?

— Нет.

Автомобиль облепили мальчишки. Они сами были похожи на воробьев — стремительная, чирикающая, пыльная стайка. Наиболее смелые норовили пристроить грязноватые ноги на подножки. Руки тоже не блистали чистотой.

— Эй, стекло не трожь лапами, — беззлобно прикрикнул шофер в голубой фуражке.

Шофер высунулся. Стайка дернулась, но не упорхнула — это было бы выше их сил. Шофер жестом парикмахера обмахнул фары. Бросил тряпку под сиденье, задвинулся сам. Восторженное внимание пацанят ему скорее нравилось.

Зайцев вспомнил клейкий неуклюжий диалог, вычитанный ночью. Вопросы, заданные бумажными плоскими — липовыми — героями. «Вот и ответ», — подумал он. Эти мальчишки были будущим. Оно

восторженно ласкало взглядом фары, шины, нагревшиеся на солнце крылья и радиатор.

— Идете? — нетерпеливо-раздраженно позвала Зоя. Жара, очевидно, уже доконала ее. Манжетом шелковой блузки Зоя осторожно промакивала верхнюю губу, подворачивая ее так, чтобы не оставить на шелке отпечаток помадой.

Зайцев буркнул:

— Угу.

И снова остановился. Мимо со стуком прокатили две телеги. Младая жизнь, облепившая железного коня, уже выбрала себе будущее — не обратила на деревенские колесницы ни малейшего внимания.

А Зайцев обратил. Под рогожей на одной из телег торчали приклады, а тонкие железные ноги могли принадлежать только пулемету. Красноармеец сердито перехватил чересчур понимающий взгляд Зайцева, одернул рогожу, укрыл. Не выдержал:

— Ты, гражданин, проходи. Чеши, чеши куда шел.

— А вы не ругайтесь. Не стыдно вам? — неожиданно встряла Зоя.

Видимо, в провинцию эта ленинградская мода еще не дошла. Свои бабы, конечно, могли отбрить и похуже, но не таким тоном. И не такие вот завитые, в помаде и узкой юбке. Красноармеец так обалдел, что только хмыкнул.

Зайцев успел только заметить, как из-за угла подрулили давешние грузовики. А войти не успел — навстречу вывалили, натягивая голубые фуражки, несколько энкавэдэшников. Некоторые были в штатском, среди них выгоревшей формой выделялись красноармейцы. «По коням», — бросил кто-то. Все быстро запрыгивали в телеги, карабкались в грузовики. Рассаживались. Мелькнула черная щетка волос.

— Товарищ Емельянов! — крикнул Зайцев.

Мотор «Форда» заурчал шефу навстречу, заволок слова. Емельянов, не глядя по сторонам, коротко бросил: «Брысь», — мальчишек сдуло как ветром. Нырнул в машину. По крышам грузовиков стали хлопать, шоферы запустили моторы. Возницы дали вожжи. Кавалькада тронулась. Исчезла. Только оседала светлая пыль и пахло в воздухе бензиновым дымком.

«Ладно, — легкомысленно подумал Зайцев. — Перебьюсь сегодня без карточек».

— Куда это они? — спросила Зоя, и только сейчас он снова вспомнил о ней. И тут же забыл. На другой стороне улицы — за оседающим шлейфом пыли — его дальнорюкие глаза приметили знакомое лицо. Вернее, сперва знакомый силуэт: слишком прямую выправку. Слишком тонкую, словно затянутую в корсет, талию. И только потом — костистое лицо, из тех, что третье сословие любит называть «породистыми».

— Вы куда? — изумилась Зоя. — Нам же в НКВД!

— Идите! Сделайте мне до конца дня статистику по району, — на ходу придумывал он. — И непременно в печатном виде!

— Статистику чего? — растерялась Зоя.

Зайцев был уже на другой стороне улицы, уже пристроился на подходящем расстоянии следом за фигурой, напоминавшей рюмку.

— Скота! — крикнул он Зое на бегу.

* * *

Курсант, спешившись, тотчас снял фуражку — на мокром от пота лбу виднелась красная полоска. Он утер лоб рукавом, как бы желая стереть ее вместе с потом.

Зайцев и сам изнывал. Как в такую жару курсанты прели в своих сапогах и галифе — он вообще не представлял. Ему казалось, что он сам мог бы варить яйца, просто подержав их у себя под мышкой. Империалистические шорты, пробковые шлемы в качестве военной формы здесь, в Новочеркасске, были, конечно, идеологически неуместны, но желанны с сугубо климатической точки зрения. Не верилось, что и здесь бывает зима. Настоящая, со снегом.

Корсет — а впрочем, Зайцев уже знал, что фамилия его Артемов, — товарищ Артемов бросил несколько коротких замечаний. Показал улыбку. Видимо, был все же доволен. Отпустил курсанта.

На манеже стояла такая звонкая пустота, какая бывает только в театре днем или в музее в выходной день.

Зайцев не переменил позу — чуть подавшаяся вперед спина, локти на барьере. От барьера пахло смолой, а доски — светлые, с

бежевыми глазками на месте спиленных сучков: навели манеж, видимо, совсем недавно.

— А вам, товарищ Зайцев, не скучно? Не надоело? — обратился Артемов, подойдя.

— Нравится вам новый манеж? — ответил Зайцев вопросом.

— Подходящий. Курите? Нет? Правильно. А впрочем, черт его знает, правильно или нет. Обливайся по утрам, упражняйся с гирями, ешь простоквашу на завтрак. А тебя — чик! — и снесли в первом же бою. А я вот скриплю.

Вид у него при этом был и точно — как у старого дерева. Но такого, что простоит еще лет сто. Артемов щелкнул крышкой карманной пепельницы.

Зайцев дал ему выдохнуть сизый клуб. Папиросу Артемов держал на отлете.

— А вы — воевали?

— Или в тылу отсиживался? Или хотите узнать, на чьей стороне воевал потом — с красными, белыми, зелеными или серо-буро-малиновыми?

— Если советская власть признала вас членом нового общества, доверила обучение кадров Красной армии, значит, советская власть в вопросе разобралась окончательно и бесповоротно. Я в ее решениях не сомневаюсь.

Артемов бросил на него недоверчивый взгляд. А потом щелчками стал сбивать пепел. Курение — великая вещь, подумал Зайцев: дает столько предлогов разговаривать. И еще больше — не разговаривать.

Он в который раз пожалел, что бросил.

— Точно не хотите? — снова предложил Артемов.

— Ну дайте.

Артемов вынул портсигар. Тоже щегольской, как и пепельница. Зайцев выудил пальцами гильзу, убрал за козырек кепки.

— На черный день.

Артемов фыркнул:

— Как угодно. Между прочим, я вас еще тогда заметил. В Ленинграде. На манеже. Не очень-то вы хорошо маскируетесь. Для сыщика.

— Да я ведь ничего не разыскивал — просто познакомиться приходил. Считаете, маскироваться надо было?

Артемов ответил неопределенным жестом.

— Странная война, — заметил Зайцев. — С одной стороны животные: лошади. С другой — тут же новейшие механизмы, газы. Человек маску Зелинского еще надеть мог. А зверье... жалко.

— Так и для лошадей маски водились, между прочим.

— Это как так?

— Слушайте, Зайцев. Я думал, вы ради Жемчужного сюда из самого Ленинграда притащились.

«А вы? — мысленно спросил Зайцев. — Тоже из-за Жемчужного из Ленинграда так быстро смылись? Подальше, на самый край страны». Но вслух спокойно ответил:

— Так и есть.

— Чего же вы тогда государственные деньги разбазариваете? Вас в служебную поездку отправили, а вы не службу служите, а хвостом за мной ходите да разговоры светские ведете.

— Отчего же светские?

— А. Понял. Прием такой. Кружите вокруг да около. А потом — раз!

Артемов ткнул сигаретой, как бы поражая мишень. Жест был отточенным — сабельным.

С наблюдательным товарищем Артемовым следовало держать ухо остро.

— Вы как-то романтически работу милиции представляете.

— Ладно, товарищ Зайцев. У вас свои приемы, у нас свои. У вас своя служба, у меня своя. И моя — не ждет. Бывайте.

Зайцев подался за ним.

— И отлично. Мне как раз интересно, в чем кавалерийская служба состоит.

Артемову это не понравилось.

— Из рутины. Скука смертная.

— Отлично. К скуке мне не привыкать, — не отстал Зайцев.

* * *

Мухи так и вились. На подоконнике стояли блюда.

— Это у вас для кого? — попытался шутливо заговорить с черноглазой подавальщицей Зайцев. — Для кошечек?

— Для мушечек. Мухоморы жареные, — недовольно объяснила та — поговору, из местных. Зайцев не понял — правда или смеется над приезжим.

Даже при виде мухоморов в животе заурчало.

— Столовая только для работников и слушателей ККУКСа, — сурово отрезала подавальщица.

«Дашка-курва! — весело позвали ее из кухни. — Прими биточки!»

— Зря пришли, — повторил Артемов.

— Ничего. Не голодный. Я с вами просто посижу. Вы ведь не против? — не отставал Зайцев.

— Как угодно.

Подавальщица вернулась к деревянной стойке с маслянистым шипящим противнем в руках.

— Это что? — поинтересовался Артемов.

— Биточки. По-казацки.

— Тогда биточки.

«Дашка-курва! — опять раздалось трубное из кухонного чада. — Компот заберешь?»

Подавальщица не подала виду, будто не ей. Но опустила глаза к чанам. Зайцев оценил.

— Капуста? Пшенка? — томно поинтересовалась она у Артемова.

— Пшенка, — мужественно отвечивал ее герой.

На тарелку шлепнулось из половника.

Артемов взял тарелку, подхватил с подноса оловянную ложку.

«Биточки казацкие» по виду мало отличались от «мухоморов». Артемов ел с аппетитом. Ходил кадык на тощей шее и желваки на костистом лице. Он, очевидно, был из тех, на которых все съеденное горит — а не откладывается нежным начальственным салом.

Курсанты за другими столами на них косились, переговаривались тихо — но никто не пялился. Будто так и надо.

Артемов промокнул губы салфеткой. С той же обезоруживающей прямоотой спросил:

— После обеда тоже за мной увяжетеесь?

— Увяжусь, — чистосердечно признался Зайцев.

— А вы что, собственно, вынюхиваете? — Тон у Артемова при этом был самый дружеский. Заинтересованный. Не пугливый, не опасливый. Таким тоном один собиратель марок может беседовать с другим. Зайцев легко в него попал. Пожал плечами.

— Сам пока не знаю.

Артемов, потягивая из стакана воду, кивнул. Как будто они и правда обсуждали марки. Или он был законченным душевнобольным. Или вне подозрений. Но в любом случае почему-то Зайцеву он был симпатичен.

— Нравится вам на новом месте? — опять сменил он тему.

— Какое у военного человека может быть нравится — не нравится? Приказ есть — приказ выполнен. Нравится. Милый городишко.

— Товарища Буденного приказ?

— Товарища Буденного приказ.

— По Питеру не скучаете?

— Не успел. Ах, товарищ Зайцев, ну к чему вы опять эти светские разговоры ведете? «Нравится», «скучаете» — будто барышня я вам. Курсантам и лошадям эта перемена на пользу. Точка. Значит, мне здесь нравится.

— В смысле — на пользу?

— Во всех смыслах.

— А какие есть?

Артемов пожал плечами.

— Большой город — много соблазнов. А люди еще молодые.

— В маленьком, скажете, соблазнов нет?

— Разве что маленькие. Что здесь можно сделать? Напиться самогоном? Да поди достань еще его.

— Что, и лошади тоже пьют?

Артемов уставился на него. Видел, что отчасти шутка, но не понимал в чем.

— Вы сказали: на пользу курсантам — и лошадям тоже, — пояснил Зайцев.

— Климат! Перемена климата. Лошадь солнце любит. Не зря же конные заводы у нас исконно все больше по югу шли — поближе к Украине, туда, — он махнул рукой. — То есть сюда.

— Да, у нас в Питере с солнцем, конечно... — пробормотал Зайцев. — А в Туле?

— Не бывал. А только повторяю: со мной вы теряете время.

Артемов поднялся.

— Это почему же теряю? А знакомство с рутинной?

— В данный момент я направляюсь осматривать закупаемых для курсов лошадей.

— С интересом осмотрю лошадей.

Артемов хмыкнул. Оба снова вышли на солнцепек.

* * *

Артемов не обманул: Зайцеву быстро стало скучно. Скука собиралась где-то за лбом. От нее наливались тяжестью веки, чесалась спина, гудело в ушах.

А может, скучно было из-за жары.

Пустырь был заполнен людьми и лошадьми. Все это бормотало, колыхалось, всхрапывало, вскрикивало, притопывало — и пахло, пахло, пахло. Запах был густым, маслянистым: конский пот, человеческий пот, пыль. Сложносоставленный дух армейских с гуталином в основе. Запах колол виски.

Зайцев прикрыл глаза.

Да, Коптельцев, размышлял он, конечно, гадина. Но гадина разумная. Он прав. Зачем газ? Есть множество других способов убить Жемчужного. Лучше. Проще, надежнее. Таких, которые при этом бы еще и сбивали со следа, меньше. Но и они есть. «Как бы поступил я?» — прикинул Зайцев.

Глянул из-под ресниц. Смотрины на пустыре шли полным ходом. Под ресницами лошади расплывались в дрожащее, переступающее на месте коричневатое пятно.

Вывели очередного коня. Не рослого, не статного, а какого-то сжатого, зло-собранныго — не было в нем ничего женственного, что

так поразило Зайцева тогда в Ленинграде, на манеже. Мужик с чубом, явно из местных, держал коня под уздцы.

Отсюда Зайцев видел, как Артемов склонил свой прямой в талии стан к передним ногам — ощупал шишки суставов в белых «носках». Выпрямился. Качнул головой: нет.

Что бы сделал он, вернулся Зайцев к прерванным мыслям. Тюкнул Жемчужного ломиком в подворотне. Вытер пальчики. Ломик бросил бы тут же. Риск? Случайно увидит какой-нибудь прохожий или глазастая соседка в окне. Но Зайцев по опыту знал, что риска, на самом деле, нет. Есть, как это называл Крачкин, «психология»: для свидетелей преступление почти всегда внезапно. Оттого почти никто потом не может толком описать внешность преступника. Одного и того же негодяя один свидетель назовет высоким, другой — маленьким, коренастым, один прилепит усы, другой будет утверждать, что нападавший был рыжим, с бородой или вообще женщиной.

Нет, преступник мыслил иначе.

Ему не нужно было, чтобы «проще» и «надежнее». Ему другое было важней.

Явно не «диверсия на вокзале». Террор не разбирает личностей. А это преступление было направлено на личность гражданина Жемчужного безошибочно, как игла в нерв.

Цепочка «газ — лошадь — наездник» была с виду ненадежной. Могла развалиться в любой момент. Для Зайцева. Для Коптельцева. Для Крачкина. То есть для дилетанта. Но для человека с иным — военным — опытом она была прочна и вела от точки А к точке Б прямо, как Троицкий мост с одного берега Невы на другой. Для человека с опытом войны.

Той самой войны, где были и лошади, и отравляющие газы. Для человека военного, прошедшего ту войну, фосген был естествен и надежен, как свинчатка для хулигана или яд для ленинградской домработницы. Здесь все как раз просто.

Но ржавые гильзы... Явно никчемные. Явно слишком. Их двое, предположил Зайцев. В этом преступлении — двое. Один — ясно: убийца. И ему фосген был ой как необходим: газ дал отсрочку приговора. Помог замести следы. Отвести подозрения. Иначе — сразу бы павшие на правильного человека, осенило Зайцева. Он — тот, чья вина иначе сразу бы показалась очевидной.

И был второй. Кто знал. Или догадался. Кто подбросил гильзы на видное место. Бросил почти что из окна уходящего поезда.

Но кто?

Кандидатов — целый ККУКС.

Пока еще не различимы в своем воинственном единстве. Одинаковые галифе, одинаковые гимнастерки, одинаково заправленные кровати, одинаковое выражение на лицах, одни и те же слова. Двадцать три богатыря, в чешуе, как жар горя. Этот строй придется разбирать по бревнышку. По зернышку. На личности. Каждый курсант метил высоко. За одинаковой формой кипели личные амбиции, личные успехи, личные таланты — или зависть к ним. У личности — всегда есть мотив, почерк, примета. Есть, как обронил Артемов, свои соблазны.

Особенно в большом городе.

Зайцев раскрыл глаза.

Случайно Артемов это обронил или нет?

Подле белоногого жеребца тем временем жесты стали размашистее, голоса резче. Там закипала нешуточная ссора.

«Боже, какое уродство!» — донеслось до Зайцева. Отчетливый петербургский выговор Артемова сделался визглив. Зайцев вынул руки из карманов. Похоже, пора было занимать место в первом ряду.

— Эдак мы вовсе до шелудивых одров дойдем, товарищ Герасищев.

— Хорошо. Что именно вас не устраивает. — Товарищ Герасищев со своей короткой шеей, покрытой черными волосами, стал еще более свекольного цвета, чем был в положении «нуль». Но говорить старался спокойно.

— Вот эта именно лошадь. — Воспитанный Артемов не показывал пальцем.

— Что же не так? — в голосе Герасищева был вызов. — Это советская лошадь, из колхоза, — напыщенно объяснил он. — Доброкачественного классового происхождения.

Зайцев вспомнил жалобы товарища Кошкиной на дворняг, под видом родовитых немецких овчарок приобретенных в Германии на ценную валюту такими вот товарищами герасищевыми.

«Скажет он ему дурака или нет?» — Зайцев с интересом следил за дискуссией.

На лице Артемова появилось выражение человека с пульпитом. Будто сквозь дергающий зуб он выговорил:

— Товарищ Герасищев. Это. Брак. Очевидный. Железный. Несомненный. Брак.

— Нет, вы скажите — что не так.

— Вы все равно не поймете.

— А вы попробуйте, — напирал Герасищев.

— Эта лошадь не годится.

— Повторю! Лошадь удовлетворительная! Из колхозного хозяйства.

Зайцев хмыкнул. Расстановка сил стала ему ясна. Знакома по множеству советских учреждений, для управления которыми требовались знания и опыт — а не только идеологическая грамотность. У старых кадров были знания, но не хватало политической благонадежности. Идеологически подкованные новые ни черта не смыслили в предмете — в том, чем им предполагалось управлять. ККУКС, судя по увиденному, не был исключением.

— Вот туда ей и дорога — в колхоз. Пахать, боронить, воду возить.

«Брак», он же «шелудивый одр», нервничал, косил налитым глазом, водил мордой, переступал ногами в белых носках. Мужичок с казацким чубом придерживал его под уздцы.

— Нет, я прошу, я требую — вы объясните! — Товарищ Герасищев налился до такого густого тона, какого Зайцев еще не видел в природе. — Это почему же вы считаете, я не пойму?

— Потому что эти знания я приобретал в течение многих лет. А вы думаете, что все можно усвоить за три минуты. Кратким курсом.

— Объясните, — нехорошим тоном начал красный специалист.

Но Артемов только махнул рукой.

— Если требуется объяснять, товарищ Герасищев, значит, объяснять — не требуется.

— Есть мнение, что вами движут другие мотивы.

— Это какие же?

— Вы саботируете замену лошадей. Вам ничего не нравится!

— Если вы имеете в виду, что я настаиваю не выводить наших рысаков в завод, то да, это верно. Заменять наших лошадей местными тем более не вижу смысла.

— Модест Петрович! — завопил свекольный ему вслед.

Зайцев вспомнил мальчишек, облепивших «Форд». Артемов и Герасищев только думали, что один из них «новый», а другой — «старый». На самом деле оба принадлежали прошлому. О прошлом спорили. Сам их спор был давно мертв. Будущее — со всем пылом мальчишеской энергии — свой выбор уже сделало. В пользу дутых шин, подвесок, фар, трансмиссий, лакированных крыльев и бензина.

Внезапно по группе военных словно пронесся ледяной ветерок — всех будто морозцем прихватило. Взгляды обратились на коренастого человека, шариком вкатившегося между спорщиками.

— Так берете коня? Или нет? — со злобой не выдержал чубатый, дернув своего коня за уздцы.

— Берем. Берем, — распорядился этот третий.

Со своими белыми височками, черными глазками и полнотой он был похож на барсука. Подскочил к белоногому жеребцу. Как-то вмиг ощупал его всего взглядом быстрых черных глазок и маленькими, знающими дело ручками. Подтвердил:

— Хорошая лошадь. Добротная. Берем.

Обернулся на окоченевших от взаимной ненависти спорщиков — кивнул одному, другому:

— Берем. Берем. Выводи следующую!

Зайцев изумленно понял, что знает этого делового колобка. Видел в Ленинграде. Где-то. Совсем недавно. Где?

И в ту же секунду вспомнил. «Бутович, моя фамилия Бутович!» В тот самый день на ипподроме, когда отравленные легкие Пряника схлопнулись — и призовой жеребец на всем своем знаменитом скаку обрушился головой вперед, увлекая за собой, круша о борта дорожки и легкую игрушечную коляску, и бедные кости наездника Жемчужного. «Моя фамилия Бутович, это я вам позвонил».

У Зайцева вспотели ладони.

— Товарищ Бутович! — заорал он.

Бутович оглянулся. Увидел. Узнал. Но прежде чем Зайцев дернулся вперед, кто-то сзади крепко схватил за локоть его самого.

— Товарищ из Ленинграда!.. Товарищ из Ленинграда!..

Зайцев искал глазами сбитую невысокую фигуру Бутовича. А за спиной гудело, тянуло:

— Меня за вами...

— Отстаньте. Вы кто? — Лицо вытертое, никакое. — Потом, я сказал! — попробовал стряхнуть его Зайцев.

Но хватка была железной. Профессиональной. На миг Зайцев ощутил в позвоночнике ледяной штырь: арест. А уже в следующий миг незнакомец залопотал растерянно:

— За вами. Мигом чтобы. Бегом. Там это, с другим товарищем из Ленинграда... женского пола который... С ним... С ней. Нехорошо.

Глава 10

Сидели в таком порядке. Старуха в платке и с козой, вокруг рогов у козы была намотана веревка, конец ее старуха сжимала в руке. Женщина в платье и с корзинкой на коленях; корзинке она время от времени говорила: «Потерпи, мальчик». Зоя, прямая и глядящая перед собой. Зайцев, устало откинувшийся головой на стену, с кепкой на коленях. И мужик, до того густо поросший рыжим волосом, что Зайцев невольно подумал: этот сам — пациент ветеринара, отряд приматы. Было душно, пахло животными и медикаментами.

За дверью зычно повторялось: «Товарищ! Я же вам русским языком...» После чего объяснение описывало еще один круг, и опять: «Товарищ!..» Что бормотал в ответ непонятливый товарищ, было не разобрать. «Потерпи, мальчик», — шептала женщина в корзинку. Коза глядела своими дьявольскими, поперек поставленными зрачками. Зоя время от времени слизывала с верхней губы пот.

Зайцев уже представил себе, что произошло.

Случилось все на рынке.

— Как вас на рынок занесло? Я же четко и внятно дал вам задание.

На миг Зайцеву стало стыдно: от «задания» за километр несло туфтой. Но только на миг.

— Простите, — прошептала Зоя. Кашлянула. И добавила твердо: — Я завтра все нагоню. Статистика по району, скот, крупный и мелкий. Дело в том, что эта женщина...

— Какая женщина? — Несмотря на жалкий Зоин вид, Зайцев боролся с раздражением. Толком описать свою новую знакомую Зое никак не удавалось.

— Русская.

— Я, в общем, и не предполагал, что здесь вам встретится француженка или китаянка.

Зоя угрюмо глянула, но не нашла сил пререкаться.

— Не казачка, — устало пояснила она.

Зайцев осекся. «Рассейцы?» — вот первый вопрос, которым приветствовали их здесь. Люди были или казаками, или «рассейцами». Вот что волновало всех прежде всего здесь, на бывшей земле Войска

Донского. Он вспомнил красно-розовую карту в кабинете начальника НКВД. Нет, на земле Войска Донского по-прежнему.

— Хорошо. Не казачка. Имя у нее есть?

Русскую звали Нютой.

Переехала сюда с мужем. Жена терпеть не могла южный край. Но дом, который им сразу здесь предоставили, ей очень даже понравился.

— Домик, — уточнила Зоя. — Небольшой, но все есть.

Дальше Зайцев слушал без интереса, голос Зои жужжал, как муха, бьющаяся по стеклу. И слушать нечего. Две «русские» женщины одурели от скуки, зацепились языками. Зайцев вообразил южный рынок. Теснота, духота, густой запах парного мяса, распластованные туши, испачканные кровью колоды, головы с высунутыми языками, копыта — Зое стало дурно. Вот вам и железная комсомолка, друг, товарищ и брат. Фифа.

Все это Зайцев представил себе очень хорошо. Кроме одного.

Но не успел задать вопрос. Его мозг выхватил из Зоиною жужжания имя.

— Кренделева? — переспросил он, не поверив своим ушам.

— Ее муж — курсант-кавалерист. Я же с самого начала о том и толкую.

Она не упоминала этого раньше, но Зайцев не стал цепляться. «Ну да, — сказал он себе, — конечно, жены. Это для Баторского и Артемова они «мальчики». А вообще-то взрослые мужики. С женами. И домиками».

Зоя встала. Зайцев так и остался на скамейке. Он думал. В Зоиней истории, в целом простой и ясной, была одна неувязка. Вернее, две. С одной он разберется позже. Другую следовало увязать прямо сейчас.

Коза смотрела на него горизонтальными зрачками-палочками. Белая борода ходила из стороны в сторону, как будто коза пожевывала задумчиво. «Я тоже хотел бы знать», — мысленно ответил ей Зайцев.

— Идемте уже. Чего сидеть, — раздраженно позвала Зоя.

— Следующий! — высунулся ветеринар. Старуха поспешно встала ему навстречу, дернула за веревку. А распаренный визитом мужик понесся к двери — в руках у него трепетали листы с лиловыми печатями.

— Бабуся, одну секундочку. — Зайцев вскочил между козой и ветеринаром. — Я только вопрос товарищу задам.

И втокнул ветеринара в кабинет, закрыл за собой дверь.

— Представляете, какой болван? — оживился распаленный предыдущим визитером ветеринар — в нем, видно, все еще кипело, искало выхода. И Зайцев дал огненному фонтану вырваться без помех. — Кроликов ободрал, а лапки не оставил! — возмущался ветеринар. — Теперь он ко мне за правдой. Я ему (для пущей выразительности ветеринар, пересказывая это Зайцеву, даже ударил себя кулаком в грудь): «Товарищ, а я-то чем помочь могу? Вам правила писаны. Может, это у вас не кролики, а кошки». А он мне: «Сроду делали так, не было обычая об лапках». А я ему: «Товарищ, что там при царе Горохе было — не моя забота, есть правила приема колхозной продукции». А он свое. Установи мне, говорит, что это кролики, а не коты, — ученый или нет? И бумажку дай. Ну? Не было у них тут обычая об лапках! Привыкли, понимаете, сами с усами. Казацкие эти хозяйства — или сами животное подлечат, или прикончат. Лапки им.

Он помотал головой.

— А что, нельзя установить истину наверняка? — заинтересовался Зайцев. — Чисто анатомически, так сказать?

Ветеринар бросил на него безумный взгляд.

Зайцев пожал плечом.

— Между прочим, одному моему знакомому случалось есть кошку. В Петрограде, в восемнадцатом году. Так, ничего особенного: нечто среднее между кроликом и курицей. Ближе к кролику.

Он опустил деталь: этим «знакомым» был он сам.

Взгляд ветеринара стал подозрительным:

— А вам, товарищ, чего?

Зайцев сменил тон и тему.

— Гражданочке одной сегодня на рынке плохо стало...

— А! — перебил ветеринар. И так многообещающе набрал воздух в грудь, что Зайцев тотчас бросился наперерез очередному монологу:

— Что же это у вас, товарищ ветеринарный специалист, порядки тут в городе такие интересные? Медпункта у вас на рынке, что ли, не имеется? А в городе — фельдшера? Больницы? Женщина больна, а ее к ветеринару тащат — будто козу какую.

К его удивлению, ветеринар бросился к окну и поспешно закрыл створку.

— Тише вы! — шепотом цыкнул он. — Тише.

Он едва ли доходил макушкой Зайцеву до подбородка. Но так и буравил гневным взглядом снизу вверх.

— Не стали ее в медпункте принимать. Ясно?

Версии одна другой хуже пронеслись у Зайцева в голове: «инфекция», «тиф». Он ждал вопросов: как давно? кто был в контакте?

Вспомнил: ее еще в Питере тошнило. Это заразно?

Но спросил ветеринар совсем другое:

— Вы приезжий?

Зайцев не ответил: в вопросе ветеринара уже как бы заключался ответ.

— Я сам из Вологды, — добавил ветеринар таким тоном, будто это все объясняло. И должно было успокоить. — Я знаю. Приехали — вот и не ждите другого от них отношения.

— От них? Вы кого в виду имеете? — задал он напрасный вопрос.

— Они — казаки, мы — «российцы». Спасибо скажите, что хоть ветеринарный пункт имеется. А при нем — я.

И распахнул окно, показывая, что разговор окончен. Он так и стоял спиной к Зайцеву, когда снова заговорил — сердито, почти прикрикивая:

— А чем на других бросаться, вы бы лучше сами ее поберегли. Не коза ведь и не кролик. А хоть бы и коза — в этом положении нечего скакать, в толчее да по жаре. Да еще перетянутая вся, как не знаю что. Вы хоть знаете, что беременные должны соблюдать особую гигиену? Вы? Эй! Что глазищи-то выкатил? Сумел ребенка заделать, папаша, — умей теперь и позаботиться о здоровье будущей матери.

* * *

Теперь Зайцеву казалось, что все встречные на улице — особенно женщины — смотрят на Зоин живот. Сперва на живот, а потом на него — мужчину рядом. «Виновника торжества». Он сам опустил глаза, глянул на ее талию. Живот как живот. За узкой юбкой ничего не видно; черт этих дамочек знает, какие у них там утягивающие пояса да волшебные панталоны имеются.

— Я вас не обманывала.

Зайцев ей не ответил.

— Я сама... — Она хотела сказать «не знала», но Зайцев видел, что она сообразила: вранье — плохая тактика, и поправилась: — ...не была уверена.

— Товарищ Соколова, это уже детали. Дела они не меняют. Вы уже здесь.

Он добавил мысленно: «Навязалась на мою голову. Черт подери вашу половую жизнь». Он досадовал не на Зою — не первая в истории человечества беременная баба, подумаешь. Но и на Зою тоже. Там, в толпе, среди пыли и конского всхрапывания он успел уловить движение Бутовича. Маленькие черные глазки заметили его — и узнали. А затем Бутович сделал вот это движение локтями — движение человека, разгребающего толпу, чтобы скрыться в ней. Желательно навсегда. Их разделяли метры и секунды. Зайцеву не впервой было бежать за бандитом на своих двоих, уж толстячка средних лет он бы нагнал в два счета. Бы.

Если бы только не пришлось, сломя голову, нестись в ветпункт за этой Зоей. А теперь — вести ее домой.

Вслух Зайцев говорил, стараясь не показывать раздражения:

— Вам, товарищ Соколова, о здоровье надо заботиться. Своим. И этого... этой... Ребенка.

— Я не больна! — возмутилась Зоя. — Что за отсталый взгляд! Женщина — такой же строитель и соратник, как мужчина, а женщина в положении это...

— Прошу вас, давайте без речей. Ветери... Врач, в смысле, все правильно сказал: покой. Сидите. Лежите.

Зайцев остановился. Зоя, глядя на него, тоже. Зайцев глядел по сторонам. Заборы, сады, домики, утопающие в зелени по самую крышу. Потрехивали из-за заборов собаки. Лоснились косматые морды подсолнухов. Вроде все знакомое. И вроде бы — не то.

— Мы заблудились? — оглядывалась вокруг Зоя.

Зайцев старался глядеть повыше: на том уровне, где маячили колокольни, виднелись луковки церквей. Как звезды, они могли своим расположением подсказать путнику, где он находится. Но не говорили Зайцеву ничего. Это был чужой город, каленый, пыльный, зеленый,

незнакомый. Ничуть не похожий на тот единственный город, сырой каменный мешок, который Зайцев знал и любил.

— А что бы на моем месте делали вы? — задиристо прервала его размышления Зоя.

— Что?

— На моем месте. Будь вы в положении.

— Я? — несколько удивился он такому повороту. Представлять себя беременным Зайцеву до сих пор как-то не доводилось. Но он все еще надеялся, что Зоя имеет в виду марьяжный треугольник: муж — жена — беременная любовница.

— Да, вы, — раздула ноздри Зоя. — Женщина — такой же человек, как мужчина. И между прочим, современная советская наука скоро найдет способ разделять вынашивание плода между двумя полами.

Она, как всегда, придерживалась биологических определений и мыслила глобально. Но Зайцев задумался.

— Я бы испугался.

Его простой тон застал Зою врасплох.

Зайцев же думал: жуть какая. Невозможно разделить с другим человеком смерть — он это знал. На его руках, случалось, умирали — свои же товарищи, раненные в перестрелках, или жертвы, которых приезд милиции еще застал в живых, но ненадолго. Умирали и бандиты, подстреленные, чего уж там, им самим. Но разделить с человеком начало его жизни... Это вдруг оказалось не только возможным, оно только так и было. И Зайцев честно сказал:

— Я бы от ужаса тотчас упал на кровать, накрылся одеялом и пролежал так до того самого дня, когда врачи в положенный срок не освободили бы меня от этой тайны бытия.

Зоя уставилась на него так, как будто он вдруг заговорил по-китайски.

Но Зайцев не дал ей разразиться речью. Вдали розовым пятном мелькнула блузка — из-за поворота вышла женщина с ведром. Ведро было полным, женщина слегка перегнулась в сторону, но, несмотря на это, быстро уходила прочь — из-под холщовой юбки так и мелькали белые сильные икры. Зайцев бросил Зое:

— Стойте здесь, — и ринулся за женщиной с ведром. Догнал, поравнялся. — Извините, пожалуйста, вы не знаете, в каком доме

Патрикеевы живут?

Женщина остановилась, поставила ведро. Черноглазая, чернобровая. Посмотрела на Зайцева так, будто решала, покупать ей его или нет.

— Дом такой белый. Калитка синяя, — старался он припомнить детали.

— Подхорунжего дом, что ль. — Судя по тону, она решила: не куплю.

Патрикеев служил по партийной линии. Как ни мало разбирался Зайцев в должностях и званиях, но подхорунжим Патрикеев точно не был.

— Хозяин полноватый такой, кудрявый. А жена у него примерно такого роста, учительница, — подсказал он.

— Подхорунжего дом, — ответила женщина теперь уже уверенно, но еще более неприязненно. — Нет, не знаю.

И, гибко подхватив ведро, пошла дальше. Зайцев глядел ей вслед, соображая, что это значит.

— Нет, вы мне ответьте, — потребовал за спиной голос Зои. Зайцев обернулся.

— Короче! Товарищ Соколова. Я здесь ваш прямой начальник. Вы будущая мать, и этим ваша служба на данный момент определяется. Приказываю. Сидеть смирно. Смотреть на красивое. Думать о хорошем.

Зоя раскрыла рот, но перевела дух и только спросила:

— Гулять-то можно, товарищ начальник?

— Гулять разрешаю. Прогулочным шагом. В тени. В толчею не заходить. Мальчишек и животных остерегаться. Об исполнении доложить. Задачи ясны?

— Ясны, — неохотно ответила Зоя.

— И я, черт подери, не шучу.

А потом заметил дом Патрикеевых. Беленый. С синей облупленной калиткой. Дом, в котором Патрикеева не могла ничего толком найти. Дом, который им, как многим красноармейцам — переселенцам из северных губерний, похоже, тоже «предоставили».

— Вы не хотите выслушать мои аргументы? — надменно не сдавалась Зоя.

— Нет, — вздохнул Зайцев.

* * *

Увидев в окне смеющееся солнце, Зайцев приуныл. Заскучал по серенькому тусклому ленинградскому свету. И тут же сказал себе: «Глупости».

Чем больше Зайцев разговаривал с курсантами и преподавателями, тем больше сам чувствовал себя мухой на блюде с чем-то липким. И ядовитым.

Или это все-таки оттого, что он дурно и беспокойно спал с самой первой ночи здесь?

«Надоело уже», — проворчал он солнцу. Откинул простынь (от одеяла он давно отказался), дал телу немного остыть — и начал одеваться.

Пуговица оторвалась внезапно и мягко, как обычно и бывало с дрянными нитками ленинградского производства. Подпрыгнула на полу и тут же укатилась. Пуговица была с брюк. Иголки у Зайцева не было. Это плохая новость. Хорошая: на брюках оставалась еще одна пуговица. Зайцев решил: сойдет, не свалятся.

Потом потрогал щетину на подбородке — бриться было лень: сойдет. И тут же рассердился сам на себя. Отвернул края рукавов, глянул — постирать не мешало бы. Понял, что Новочеркасск, с его садами, пылью, жарой, ленивыми улочками, действует на него разлагающе. В Ленинграде он бы так ходить не стал. Не смог. Зайцеву стало досадно. Увидел свои пропыленные, давно не чищенные ботинки.

— Товарищ Патрикеева! — как-то слишком громко крикнул он.

— М-м-м, — безмятежно отозвалась за занавеской хозяйка.

— У вас иголки с ниткой не будет? — нетерпеливо потребовал он.

— Отчего же не будет? Где-то была.

Эта ее лунатическая манера вести хозяйство нимало его не беспокоила прежде. Но тут он с трудом подавил бешенство. Как она

уроки только ведет? В этой школе своей. У самой в голове... мухоморы!

Что школа уже на каникулах, он совсем забыл.

— Не одолжите ли?

— Одолжу, конечно. Где же я ее видела?

Зайцев расвирепел. Весь мир, казалось, держался на этой проклятой пуговице. Все его расследование тоже от нее зависело. Все его недовольство — дурацкой Зоей, навязанной в попутчицы, дурацким ККУКСом с его лощеными офицерами-преподавателями и курсантами, дружно стоявшими на страже фасада, всем этим слишком пыльным, слишком жарким, слишком пахучим городком — сдерживалось одной этой пуговицей. И теперь она оторвалась.

— Так дайте же! Пожалуйста!

— Аюшки? — невпопад спросила Патрикеева.

Зайцев рывком откинул занавеску, вышел на хозяйскую половину. Занавеска, которой был выгорожен угол для Зои, сдвинута.

— А товарищ Соколова где?

— Совершает моцион, — отозвалась важно Патрикеева.

Зайцев понадеялся, что у Зои хватит благоразумия держаться тени. Но в принципе был рад, что она ушла. Только Зои («беременность — не болезнь!») сейчас и не хватало.

Патрикеева стояла посреди комнаты на табуретке. В руке полотенце.

— Я ловлю осу, — объяснила она, встретив взгляд Зайцева. — Возьмите сами, а?

— Где?

— Ась?

— Взять — где?

— Да вон там сундук. В нем поищите. Вроде там было.

Зайцев двинулся к сундуку.

— А, нет. Я забыла. Не там. А на полочке. У двери. Шкатулка на полочке.

— Где?

Патрикеева махнула рукой.

Шкатулка, деревянная резная, к счастью, точно была на полочке. Зайцев постарался перевести дух. В конце концов, Патрикеева ни при чем. И пуговица тоже. Это все жара, это город, это бессмысленная

поездка. Он открыл шкатулку. Моточки ниток и тесемок, наперстки, булавки, подушечка с иголками. Ножницы.

И тут увидел надписи.

Почти оттертые, почти смытые, бледные. Надписи на дверном косяке. Черточки — и надписи.

«Елена. 1920».

«Михаил. 1921». «Елена» — а черточка повыше: Елена, значит, старшая.

В 1923-м появился, вернее, научился стоять на двух ногах Павел, самый маленький. Елена, Павел, Михаил росли, как маленькие деревца, догоняя друг друга.

А орфография дореволюционная. Зайцев с непонятной ему самому бережностью — как будто касался не дверного косяка, а детских головок, — провел пальцем снизу вверх. Лента сантиметра, меряющая чье-то семейное счастье. Не Патрикеевых, у Патрикеевых детей не было.

Меряла, меряла — да оборвалась.

1930 — последняя метка. Его палец замер. В прошлом году оборвалась.

Зайцев задумчиво постучал пальцем. Вспомнил вчерашнюю бабу с ведром, волчий взгляд: «Дом подхорунжего? А где Патрикеевы живут — не знаем».

Ничего странного. Люди жили здесь и переехали — объяснил он собственной тревоге, непонятно с чего засосавшей где-то у желудка. С Еленой, Павлом и Михаилом. И наперед знал, что неправда: люди, когда переезжают, берут с собой сундуки. И подушки. И кастрюли. Какая мать семейства не захватит свою шкатулку с иголками и нитками? Что шкатулка эта — не Патрикеевой, он почему-то знал, он это понял.

Патрикеева была не из тех, кто зашивает, латает, штопает, — она была «выше этого». Обычной неряхой.

— Товарищ Патрикеева! А, товарищ Патрикеева? А кто эта Елена? И Михаил? И Павел? — нарочно легкомысленно спросил Зайцев. — Родственники ваши?

Патрикеева стояла у окна, протянув к стеклу руку. И только обернулась, беспомощно, кривовато улыбнулась. Рука ее была будто приклеена.

— Что это вы?

— Оса, — ответила она.

Зайцев подошел. Патрикеева прижимала круглые края стакана к оконному стеклу. Оса ползала внутри, билась о граненые стенки. Срывалась, ползла. Снова билась своей хитиновой головой.

Патрикеева не могла отнять руку. И что делать с опасной пленницей, тоже не знала.

Зайцев дернул медный крюк. Толкнул раму. Стеклянные ворота прянули наружу. И оса вылетела в сад. Как пуля, только легче и медленнее.

И тут только Зайцев увидел, что туловище Патрикеевой туго обтягивает шелковая блузка с галстучком. Похожая на Зоину. Зоина блузка. Жемчужные пуговицы едва сдерживали тонкий шелк и готовы были потерять свои круглые головки под напором телес изнутри. Зайцев даже не сообразил, что взгляд его уперся хозяйке в грудь, что уж никак приличным не было. Хуже того — совсем не имелось в виду.

— Вы, товарищ Зайцев, завтракать — готовы? Завтрак — на столе!

Патрикеева так растерянно и панически глянула на Зайцева, что он убрал свой вопрос, как убирают напрасно протянутую для пожатия руку.

— А нитки? — с опозданием окликнула уже закрывшуюся дверь Патрикеева.

* * *

В манеже Зайцев занял привычное место. Тело само приняло привычную позу — сцепленные руки впереди, локти лежат на барьере.

Ему хотелось спать. Не так, как хотелось в Ленинграде. Ночи, дни, лица, разговоры слиплись в какой-то подтекающий ком. Дремотной тяжестью наливались виски. В ногах слабость.

«Да ведь мне не спать — мне просто хочется есть», — ошарашенно понял Зайцев.

Негромкие команды инструктора доносились как из-под воды. Волнообразные движения лошади убаюкивали. Зайцеву отчаянно хотелось положить лицо на сцепленные руки и закрыть глаза.

Из-под копыт с глухим токаньем взрывались фонтанчики. Зайцев узнал курсанта Ниорадзе, одного из тех «восьми в Сиверской, которые вернутся поздно вечером», а на самом деле там вовсе не были. Под мышками на гимнастерке у всадника с великолепным горбатым носом расплылись круги пота.

Товарищ Артемов при этом был подтянут и свеж. О том, чтобы он потел, словно не могло быть и речи. Однажды сбитый с толку злызычным курсантом Кренделевым, Зайцев теперь подумал: а не пользуется ли товарищ Артемов, помимо корсета, еще и дамскими подмышечниками?

Он успел заметить, что товарищ Артемов любил безупречную форму. Могло статься, что для нее, как для всякой любви, все средства были хороши.

Артемов заметил его. Не мог не заметить, следуя вращению часового механизма «лошадь — длинный повод» в его руке. Но только когда всадник получил разрешение остановиться, спешился, снял фуражку, выпустив торчащие щеткой черные волосы, выслушал замечания и был отослан, — только тогда Артемов сделал вид, что увидел зрителя.

— А, товарищ Зайцев! Приветствую! — Он показал зубы в несколько фальшивой, то есть вполне петербургской, улыбке. — Я вам еще не надоел?

Зайцев при этом не исключал, что Артемов действительно рад его видеть. По-своему.

— А я вам? — приветствовал он его.

Артемов направился к барьеру. Зайцев выпрямился.

— Закончили упражнения на сегодня?

Сапоги инструктора ступали по песку манежа — блестящие, туго натянутые. Словно они были сделаны из другого материала, не из того, что зайцевские башмаки. Словно к ним пыль не липла вовсе. Зайцев тотчас вспомнил, что утром обещал свои, наконец, вычистить — но так и не вычистил.

— Антракт, — объявил Артемов. Постучал бумажной гильзой по барьеру, сунул папиросу в рот. Он был в настроении поболтать.

Сначала на лице было облачко удивления: Артемов явно ожидал расспросов о Жемчужном. Но и оно растаяло. Небольшие карие глазки, как у собаки породы колли, смотрели внимательно, пока Зайцев говорил. Артемов больше не удивлялся ни внезапной теме, ни отсутствию повода для нее. Ни тому, что Зайцев больше не спрашивал о Жемчужном. На первый взгляд — не спрашивал.

«А ты ко мне привык», — отметил Зайцев. Отлично. Привычка — первая брешь в обороне. Уже не так легко быть на чеку. Уже не так настороженны взгляды, интонации, слова.

— Вы читали «Тихий Дон»? — перебил сам себя Зайцев. — Современный роман.

Артемов покачал головой: нет.

— Не важно, — и Зайцев продолжил.

Они все к нему начали здесь привыкать. Уже они из «богатырей» распались на имена: Кренделев, Панкратов, Журов, Ниорадзе, Радзиевский...

Зайцев умолк.

— Лошади отомрут?

— Их заменят автомобили.

Артемов хмыкнул, выпустил дым.

— Или мотоциклы.

— Вы тоже. Уже, — поправился он. — Уже нахватались этих идей товарища Тухачевского?

Зайцев — несмотря на дремотную усталость — слушал внимательно, терпеливо, как рыболов слушает глазами, ждет всем телом движение поплавка на водной глади. Имя Тухачевского, например. От него сразу пошли круги. Тухачевский совсем недавно был командующим всем Ленинградским военным округом. А теперь кто? Выше Буденного? Или на одной доске? Тухачевского, как сказала жена красноармейца Татьяна Григорьевна, здесь ждут с инспекцией.

Зайцев ничего не выразил лицом. Но и оговорку — тоже-уже — отметил и припрятал в дальний карман памяти.

Артемов вещал:

— Чушь! Да, машина выносливее. Хотя это еще вопрос, при каких условиях. Машина на морозе, например, так закапризничает, что никакая норовистая лошадь не сравнится. Машина, может, наконец, сломаться.

— А лошадь — умереть, — тихо вставил Зайцев.

Артемов отмахнулся, роняя пепел:

— Машина — это машина. А мы говорим о двух живых существах. Это совсем другие отношения, поймите же. Лошадь и всадник образуют единый организм.

— В умелых руках и машина с человеком тоже, можно сказать, единое целое.

— Чушь. Машина — это кусок железа. А лошадь... Лошадь реагирует на голос, походку, хватку руки, лицо — быстрее, чем на команду хозяина. Она общается с хозяином на уровне инстинктов.

— Своих? — скептически ухмыльнулся Зайцев.

Артемов удивился искренне:

— Своих тоже. Но прежде всего его! Всадника. Человека.

— Как-то странновато в наши дни доверять жизнь человека инстинктам, тем более инстинктам животного, нет?

— Роббишня! На поле боя вообще действуют инстинкты, а не разум, товарищ Зайцев. Инстинкт атаки, инстинкт спасения, инстинкт гибели, инстинкт жизни.

Зайцев, любивший чужие словечки — все эти родимые пятна, шрамы, короче говоря, особые приметы человеческой речи, — догадался, что «роббишня» была гибридом английского *robbish* и простой российской «галиматьи».

Артемов же не умолкал — тема задела его:

— Машина так может? С ней человек предоставлен себе, он одинок на поле боя. Он предоставлен своему разуму, а я вам скажу: на поле боя разума нет.

«Разум, да, — подумал Зайцев. — Набрехать мильтону, что восемь курсантов в Сиверской, было очень разумным планом. Пока Журов не выскочил вдогонку за сбесившимся конем и все вам не испортил».

Зайцев показал подбородком:

— А как же Журов?

Артемов обернулся. Журов, сменивший Ниорадзе, одним махом уселся в седло, оправил повод. Лошадь под ним послушно ждала команды. Артемову было пора.

— А что Журов? — Лицо его, Зайцев видел, замкнулось. «Ага, значит, любимец». Он угадал.

А имеют ли вообще значение остальные семеро, пришло Зайцеву на ум. Уж не было ли так, что они просто колода карт, чтобы запрятать, затасовать в нее козырь. Любимца, лучшего. Неплохо. Учитывая, что Баторскому и Артемову пришлось сочинять этот план на ходу. Или только Баторскому? Или только Артемову?

— Журов мне кажется в высшей степени разумным. Холодная голова, — сказал Зайцев. А подумал: «Только вот именно вам, тебе все время приходится ее остужать».

Артемов помолчал несколько секунд, наматывая на ладонь, разматывая, снова наматывая конец длинного поводка.

— О, — сказал он, — Журов — будущая звезда, не сомневайтесь. Красная звезда, — не удержался от остроты он, чтобы охладить прорвавшуюся в голос теплоту. — Журов — стратег. Не холодная голова, а золотая. Вот точно будущий маршал. Еще увидите.

Прозвучало это странно — будто: «а я нет».

— Так вы сами тоже увидите, — заметил Зайцев.

Артемов словно не расслышал.

— И коня он, между прочим, знает как мало кто! Любит лошадь. Понимает. А вы говорите: нет у лошадей будущего. Вот же оно. У вас перед носом.

И пошел к ученику. Но вдруг остановился.

— Товарищ Зайцев...

Он болезненно поморщился.

— Да?

Зайцев ждал чего угодно, но только не того, что последовало. Голос Артемова упал до деликатного шепота, а на лице появилось выражение легкой боли:

— Вы меня простите, голубчик. У вас пуговица на брюках оторвалась.

Зайцев наклонился, дернул себя за полу пиджака.

— А, ерунда.

— Да как же...

— Не упадут, — легкомысленно успокоил старого кавалериста Зайцев. Но по лицу Артемова пробежала тень настоящего страдания. Зайцев понял: шутки неуместны. Вопросы формы Артемов, выпрямленный то ли силой воли, то ли искусством корсетного портного, принимал близко к сердцу.

— Юрий Георгиевич! — вдруг громко крикнул он. Куда-то за спину Зайцеву. К ним из тени тотчас вынырнул, как показалось Зайцеву, совершеннейший дед — тощий, в фартуке, но зато с роскошными бакенбардами, как на портретах царя-освободителя. Он почему-то глянул Зайцеву не в лицо, а на ступни. Зайцев даже переступил ботинками имени товарища Кирова. И только потом чудной дед перевел взгляд на лицо.

— Вот как кстати. Юрий Георгиевич, — учтиво обратился к нему Артемов, — знаю, не по вашей части. Плох тот солдат, который сам не может зашить себе порты или пришить пуговицу, но этот юноша, видите ли, и не солдат, а сугубо штатский. Сделайте одолжение. Выручите. У вас ведь найдутся обычные нитки, обычная игла и какая-нибудь пуговка? Если возможно, в цвет, очень вас прошу.

— А что случилось? — опять уставился на зайцевские ботинки царь-освободитель.

— Он вам покажет, где... беда.

И не успел Зайцев подивиться странно выраженной просьбе, как Артемов повернулся и пошел навстречу молча ожидавшемуся его Журову.

— Прошу за мной, — буркнул Юрий Георгиевич.

В берлоге у Юрия Георгиевича царили сапоги. С голенищами трубой или расправленные и натянутые на колодках подошвой вверх. Готовые к починке, недошитые, законченные. Но непременно — выстроенные в ряд, носок к носку, как на параде. И блестящие. На спинке стула висела маленькая зеленая сумка старого военного покроя.

Зайцев испытал укол разочарования. Несмотря на слова Артемова об игле и нитках, он почему-то решил, что Юрий Георгиевич — штатный парикмахер кавалерийских курсов. «Бакенбарды с толку сбили», — решил Зайцев.

Бакенбарды и усы.

К усам начальника ККУКСа товарища Баторского, казалось, должен был быть нанят и приставлен — необходим! — особый человек.

А уж к усам товарища Буденного — целый штат: мойщик, расчесывальщик, человек, который втирает помаду, человек, который пушит...

— Ставьте ногу сюда, — отвлек его от мыслей Юрий Георгиевич, обладатель дивных бакенбард. А сам уселся на низкую скамейку, развернул, брякнув, чехол-валик. В вертикальных кармашках были вложены кусачки, шила, молоточки, щипцы.

Зайцев почувствовал, что краснеет.

Сапожник вопросительно поднял лицо.

— Это... Там просто пуговка, — замямлил Зайцев. Бог весть отчего ему хотелось провалиться под землю. — Вы просто одолжите мне нитку с иглой и пуговку какую-нибудь, а дальше я уж сам.

— Модест Петрович меня попросил, — отчетливо выделил каждое слово сапожник. Дал понять, что приказ есть приказ. Возражения были бесполезны.

И опять глаза вниз.

— В толк не возьму. Где же у вас на ботинках пуговка была?

— На брюках, — смущенно выдавил Зайцев. — Снимать?

Сапожник вздохнул:

— Поднимите полы, я взгляну.

Зайцев приподнял пиджак, стараясь не показать кобуру.

— Пистолет можете вынуть и положить здесь, — так же отчетливо проговорил царь-освободитель.

— Ничего, мне не мешает.

— Мне — мешает.

Зайцев повиновался.

— А вы сюда прибыли из-за Жемчужного, верно?

— Да.

Юрий Георгиевич достал из зеленой сумочки жестяную банку из-под леденцов.

— Хороший был наездник. Знаток.

Открыл: разномастные пуговицы и пряжки в коробке напоминали гальку после отлива.

— А Пряника не жалеете. Дрянная была лошадь.

— Ого. Даже так?

Впервые Зайцев слышал, чтобы легендарный Пряник кому-то не нравился.

— Именно так.

— Почему же? Рекорды. Чемпион.

— Чемпион-то чемпион, — перебил сапожник. — Только толку в его рекордах? Он спортивную карьеру заканчивал, а дальше — в завод. И там, скажу вам, от него только был бы вред.

— Как это?

— А так, что нельзя орловскую породу замыкать на себе самой. Нель-зя. Тупик. Да. Вырождение. Порода должна развиваться. В нее нужно вливать свежую кровь. Вы вот слышали об рысаках-метисах?

Зайцев признался, что не слышал.

— Вот где скорость! Вот где резвость! Орловцы ваши — сущие черепахи. Зато скрещивание их с американскими рысаками дает великолепный результат — так называемых метисов. Только отсталые пуристы цепляются за чистокровных орловцев. Хуже! Цепляются враждебно. Уничтожая всех, кто представляет иное мнение. И еще хуже — протаскивают это свое заблуждение на самый верх!

Зайцев вздохнул. Здесь все были помешаны на рысаках. Даже сапожники.

— А Злой? — неожиданно для себя спросил он. — Хороший был конь?

Руки сапожника остановились. И даже, показалось Зайцеву, задрожали.

— Орловец в чистом виде. Тоже дрянь, — последовало.

«От негодования трясется», — сделал вывод Зайцев.

— Вам виднее, — покорно согласился он.

— Еще бы!

«Однако. Гонор у товарища сапожника».

Юрий Георгиевич поворошил в коробке пальцем, поглядывая на зайцевский гульфик.

— В тон, в тон, — бормотал он. — Уважим товарища Артемова, отчего же... — Выловил несколько кандидаток. — Вот, может, так.

Приложил выбранную. Зайцев задрал подбородок, стараясь не глядеть. Он умирал со стыда, чувствуя себя наполовину голым на улице, наполовину — лошадь, которую подковывают, а в общем — как на приеме у доктора по венерическим болезням.

— Вот эта будто верного тона, — сообщил Юрий Георгиевич тоном врача, который объявляет, что подозрения на сифилис не подтвердились, — удовлетворенным, но не оскорбительно-радостным.

И стал пришивать.

Зайцев плавал взглядом в стороне, стараясь не думать о движениях вокруг собственного гульфика и надеясь только, что Юрий Георгиевич, закончив, воспользуется ножницами, чтобы обрезать нить. А не перекусит ее зубами.

Юрию Георгиевичу не нужны были собеседники. Ему нужны были только уши.

— Да, эти сторонники орловцев — не будем показывать пальцем, — шил и вещал он. — Они вам скажут, что американские рысаки — уроды.

— А они уроды?

— Шутите? — Игла замерла.

— Вопрос дилетанта.

То, что Зайцев назвал себя дилетантом, старику явно понравилось.

— Положим, я готов признать: экстерьер не самая сильная их сторона, — охотно пустился в объяснения он. — Но голубчик! Как можно мерить лошадей этими мерками? Знаете, как было? Церковным чинам, от архиерея и выше, полагалась тройка вороных рысаков-орловцев. Серые в яблоках и белые — для аристократического выезда. Если у лошади чулок, то лошадь — пуф! — бракованная. Роббишня!

— Роббишня? — переспросил Зайцев.

— А разве нет? Что это вам? Пуговка, что ли, чтобы в тон подбирать? Мы развиваем лошадиные качества или следуем моде?

Зайцев не вмешивался в спор сапожника с самим собой — очевидно, давний: с тех времен, когда Ленинград еще назывался Петербургом и в нем можно было увидеть представителей аристократических фамилий на тройке рысаков, серых в яблоках.

Он смотрел в сторону — и вдруг заметил под столом замшевый носик. Потом бантик. А потом и обе туфли-лодочки. Те самые, что зашли в его кабинет, потом ехали с ним в поезде, тряслись в шарабане и, наконец, причалили в доме Патрикеевых. Но, как оказалось, ненадолго.

— Тпр-р-р, — прикрикнул Юрий Георгиевич. — Стоять... Стойте смирно. — Зайцев дернулся, насколько позволяла нить. — Я же мог вас ненароком уколоть.

— А что, дамские туфли вы тоже чините? — показал Зайцев.

— Эти-то? — Юрий Георгиевич водил туда-сюда иглой, деликатно оттянув ткань. — Что их чинить? Туфли английские, им сносу не будет. Разве только дамская мода не обернется и не выведет их из оборота.

— А?..

— Ей они просто не по ноге. Номер верный, ее, а в стопе узки. Растянуть надобно.

Зайцев забыл о гульфике. На туфли свои Зоя не жаловалась. Вроде бы. А хоть бы и. Из всех сапожников Новочеркасска она почему-то выбрала наименее очевидного. Того, что обслуживает военные сапоги. Или ее прогнал местный сапожник — как ранее фельдшер? Это Зайцеву очень не понравилось.

— Неплохо у вас здесь в Новочеркасске со снабжением. Туфельки английские продаются, — нарочито беззаботно отметил он.

— В Новочеркасске! Пф! — раздул бакенбарды тот и щелкнул ножницами, освобождая Зайцева. — Теперь застегните. — Зайцев оправил брюки, пиджак. — В тон. Вполне, — оценил свою работу сапожник. И продолжил: — В Новочеркасске? В Новочеркасске разве чуни какие купишь. Или лапти. Ей гражданка какая-то продала, а сама гражданка-то из Питера. У вас, гляжу, тоже ботинки недурные. Американские?

Зайцев отмахнулся от вопроса вопросом:

— Кому продала? Кто принес эти туфли? Когда?

— Да что вы всполошились? Краденые туфли разве?

— Кто их принес?

— Да мадам Кренделева и принесла. Жена курсанта здешнего. Стой! Ах ты плут!

Зайцев схватил Зоины туфли и выскочил вон.

Журов уже спешил, уже подвел потемневшего коня к воротцам, из которых коридор вел в конюшни. Они чуть не сшиблись.

Зайцев выронил туфлю.

Журов наклонился быстрее.

— А, принц! Ищите Золушку? Проверьте в столовой — там среди подавальщиц есть и хорошенькие. — Он поигрывал туфлей в руке — в его лапе туфелька казалась еще изящнее. Конская морда нависала над ними. Лошадь потянула к туфельке замшевые губы с рыжими волосками-усиками. Журов бесцеремонно оттолкнул морду.

— Держите.

Зайцев сунул туфельку в карман пиджака — она торчала оттуда, как огурец.

Журов снял фуражку. Волосы его были мокры от пота. Ремешка на фуражке не было, отметил Зайцев. Такое особое кавалерийское щегольство. Застегивать ее под подбородком Журов не считал нужным: показывал, что не боялся потерять на скаку. Такие фуражек не теряют. А голову — теряют?

Конюх принял разгоряченную лошадь. Журов вытер лоб рукавом.

За его спиной, на манеже Артемов гонял следующего курсанта. Летали команды и ругательства.

— Так кто Золушка?

— Слушайте, ну у вас и сапожник, — сменил тему Зайцев.

— Николаев-то? Да бросьте. Безобидный старик.

— Безобидный! Думал, живым не уйду. Такую мне лекцию вкатил.

— О рысках американских? — опередил Журов. — Он это всем рассказывает. «Были когда-то и мы рыскаками». По-моему, трогательно. Вас не тронуло?

— Не очень, — признался Зайцев. — Как-то все это далековато от сегодняшней повестки дня.

— Почему?

— Орловские рысаки, американские рысаки. Драгуны с конскими хвостами, уланы с пестрыми значками и так далее. Какая теперь разница?

Журов слушал спиной. Прислонясь плечом к раме ворот, смотрел, как Артемов ведет лошадь на длинном поводе.

— Вы правы, — неожиданно отозвался он. — Лошади свое отвоевали. Будущее за машинами, техникой.

«Артемов говорил о нем другое», — отметил Зайцев.

— Зачем же вы теряете здесь время?

— Почему теряю? — удивился Журов. — Н-нет, — покачал он головой. — Нет, — добавил твердо. — Уланы, кирасиры, гусары — всего этого больше не будет, верно. Но структура армии все равно в целом верна. Прежняя, кавалерийская. Кирасиры, например. Старинные кирасиры с их панцирями — это будущие офицеры и солдаты бронированных войск. Танков и прочего. Или гусары. Вместо

них — легкие механизированные подразделения, — объяснил Журов. И повторил: — За машинами — будущее армии.

— Вы меня запутали, — честно признался Зайцев.

На манеже Артемов остановил круговое движение. Курсант спешился. Доносились визгливые интонации. Потом бурчание курсанта.

— Вон! — взвизгнул Артемов. — Проветритесь — приходите!

Журов смотрел на манеж. На выволочку. А Зайцев — на его спокойный курносый профиль. Поди пойми, что на уме.

— Артемов считает вас великолепным кавалеристом.

Журов обернулся:

— Приятно знать.

— Своим учеником, — добавил Зайцев.

— Так и есть.

— И все-таки вы говорите: время лошадей прошло. А время свое на кавалерийских курсах тратите. Как понимать?

Распаренный взбучкой курсант Панкратов повел коня с манежа прочь. Лицо злое, но старается не показать. Бросил на Журова злой взгляд — еще бы, свидетель унижения. Но было в этом взгляде еще кое-что — что-то, что только Журов понял и прочел. Но что?

— Лошади-то в вашем этом будущем с машинами зачем? — повторил Зайцев.

— Лошади? — очнулся Журов. — А лошади — это чтобы победитель на белом коне красиво проскакал перед строем на параде. Триумфа не подпортил. Не трясся в седле, как курица на заборе.

И будто отвечая не Зайцеву, а сопернику, выхватил у того повод. Ловко и красиво забросил себя в седло, крепко сел — и легко, бравурно послал лошадь обратно на манеж.

«Что бы сказал Нефедов? — хмыкнул про себя Зайцев. — И братья-джигиты Джиевы».

Выбрасывая сухие стройные ноги, гордо выгибая крепкую шею с маленькой головой, распушив хвост, лошадь несла прямо сидящего всадника. Словно сама понимала, что они сейчас красивы, слиты в одно торжествующее целое, что все взоры сейчас обращены на них и все — любуются. И ликовала, как человек.

Зайцев видел, как смотрит на Журова Артемов — умиленно и гордо.

И как смотрит тот, другой.

И сам смотрел. Смотрел на гарцующего Журова. Чеканное лицо, ладонь у виска замерла в военном салюте. И поневоле видел бесконечные шеренги, горошины касок, сомкнутые дисциплиной и общим восторгом. Блеск погон и орденов. Знамена. Зубцы кремлевской стены. Рты, раскрытые в крике «Ура, победа!». И с усилием отогнал это внезапное видение.

Журов осадил коня прямо перед ним. Лошадь опять встала как влитая.

Глаза Журова смеялись.

— Ясно вам? Товарищ штатский?

И пустил лошадь танцующим, мерным шагом.

Вот бы сейчас пригодилось умение делать дебильное лицо, как Нефедов, мысленно пожалел Зайцев. Но решил попытать шанс своими скромными силами.

— А что, — вдруг окликнул он Журова вполголоса, — он правда носит корсет? Артемов?

— А это его личная жизнь, — легко отрезал Журов. Мерно отстукивали ритм копыта — безупречно, правильно. Словно метроном. Ток-ток, ток-ток.

— Ну не знаю, — как будто самому себе пробормотал Зайцев, но так, чтобы Журов ясно слышал. — Личная жизнь, она очень на всю остальную влияет.

И вдруг мерный ритм сбился, лошадь сбилась с ноги.

Всего на миг. Но Зайцев заметил это. А в следующий Журов уже восстановил контакт.

— Чушь, — отрезал он. — Бабы сказки.

У ворот он легко спешился. Вернул повод хозяину. Тот ревниво поспешил увести коня, как загулявшую на танцах подругу.

— Вы глупости всякие по коридорам собираете, товарищ Зайцев. — Журов уже справился с раздражением и говорил теперь холодно, строго, как военачальник с низшим по званию. — И самое глупое — их зачем-то повторяете. Привет вашей Золушке!..

И быстро ушел туда, куда уводили лошадей, — в полумрак конюшен.

Зайцев остановился у двери. Увидел полусмытые детские имена на косяке. Теперь он замечал их всякий раз. Отошел, как будто там висело привидение.

Ужин закончился, грязная посуда громоздилась в медном тазу — ждала нагретой воды.

Зоя сидела за столом, в уютном круге, который отбрасывал оранжевый абажур. Читала сочинение товарища Шолохова. Патрикеевы занимали свои обычные места. Он — с газетой. Она — с книгой в мраморного цвета переплете: «Что делать?».

Слышно было, как в ночное окно с другой стороны стучаются сухими головами мотыльки. Зайцев готов был спорить, что занята книгой только Зоя — Патрикеевы всего лишь делали вид, что читали. Навострив уши.

Он поборол искушение поставить беглые туфли прямо на стол перед Зоей. Туфли оттягивали карманы.

— Товарищ Соколова, не хотите ли пройтись? Жара спала. Воздух дивный, — пригласил он.

Зоя молча заложила страницу, потянулась за шалью в цветах. Ядреной, не городской — не ленинградской. Такой шали не могло быть в чемодане у служащей Смольного.

— Не хочет. — Патрикеев опустил газету, Зоина рука с шалью недоуменно замерла — взгляд остановился почему-то на газете. Патрикеев тряхнул листом. Его жена показала глаза поверх своей книги.

— Темно уже. И вы, товарищ Зайцев, не хотите. В темноте всякое бывает.

— Мошки, комары, — пояснила Патрикеева.

— Нельзя? — Зайцев старательно убрал из голоса раздражение и вызов. Оставил только удивление.

— Не рекомендуется.

— Что ж, — пожал плечами Зайцев. — Мошки — это серьезно.

Зоя недоуменно глянула Зайцеву в глаза, но выпустила шаль. Взяла «Тихий Дон». И Патрикеев снова отгородился газетой.

* * *

Утром отделаться от Патрикеевых было куда легче.

Зайцев улучил момент, когда Патрикеева вышла с тазиком какой-то каши — «кормить кур».

— Пора, товарищ Соколова, — решительно распорядился он.

— Вы куда? — высунулся из-за занавески хозяин. Его полные плечи облежала майка, на подбородке была рождественская пена. — Час ранний.

«Посоветовать ему прорезать в занавеске дырки, что ли, — подумал Зайцев. — И в газете тоже». Оптимистично отозвался:

— Служба зовет! А вас — не зовет?

— Вы бы жену мою подождали! Она вот-вот вернется! — засуетился наблюдатель. — Она с вами сходит! Вдруг вы заблудитесь.

— Дорогу я выучил, не беспокойтесь!

И он почти вытолкал Зою в дверь. За руку быстро протащил ее через двор до самой калитки. И только на густо-зеленой улочке — по обеим сторонам сады и заборы — заметил, что на Зое просторная ситцевая блузка и широкая юбка.

Зоя поймала его взгляд и закрыла живот углом шали с длинными кистями.

— Вам не нравится моя одежда?

Наряд Зои был странен, но, видимо, дура все-таки послушалась ветеринара и не «затягивалась». Зайцев вздохнул.

— Нравится. Живенько. Дачный стиль. Идемте.

— Куда?

— В ГПУ. Вы же слышали.

Он решил, что сам отведет ее — убедится, что там ее пристроят где-нибудь с пишмашинкой и горой никчемной работы.

— Туфли ваши, кстати. — Он вынул из кармана одну, потом другую.

— Они не мои! — всполошилась Зоя. И тут же приказала строго: — Верните их.

Улица шла на подъем, и Зоя чуть отдувалась. На верхней губе появилась испарина.

— То есть они все-таки ваши.

— Я их продала.

— Кому?

— Раз они у вас, значит, знаете кому, — с вызовом ответила она.

— Но зачем?

— Они ей понравились.

Зайцев сдвинул кепку на затылок. В акациях трещали воробьи. Зеленая, обсаженная заборами улочка была пуста, их следы четко отпечатывались в пыли. Навстречу маячила прохожая, на локте у нее висела корзинка.

Туфли так и торчали у Зайцева из карманов, как огурцы. Один в правом кармане, другой в левом.

— Я хотела с вами поговорить, товарищ Зайцев. А вы мне вчера не дали, — начала Зоя. Прохожая поравнялась с ними. Обменялась с Зоей кивками и улыбками. И остановилась.

— Вот жарень-то, — заговорила женщина, явно местная. — Ноги-то пухнут?

— Немного.

— Я вот распухла тоже. Только свекровы калоши надеть и могла. И подвязывать не надо было ничего — и так не спадали. Первый? Второй?

— Первый.

— А. Первого-то я относил а слава богу. Я на втором распухла.

Зайцеву стало неловко, он отошел.

— Терпимо пока, — улыбалась Зоя.

— Бывает и так. У кого как! Красивые часики.

Зайцев видел, как Зоя подняла запястье.

— Нравятся?

— Ничего. Дороговастенько только.

— А сколько дадите?

— Ты, доча, богатую ищи. Муж-то не прибьет?

Зайцев ничего этого не слышал — увидел только, что женщина кивнула в его сторону.

— Прибьет, — вздохнула Зоя. — Да из часиков-то суп не сваришь.

— Эх, — посочувствовала женщина. Зайцев не выдержал — подошел. Женщина тотчас сменила тему. — А их — в воду. Ноги. Прямо из колодца воду — и сразу. Поломит немного, не застуди только смотри.

Зоя пообещала. На том и пошли своей дорогой каждая.

— Это кто? — дернул Зою за край шали Зайцев.

— Не важно. Спросила, который час.

— Долго что-то спрашивала.

— Тут вопрос другой. — Речь Зои переключилась, как будто кто-то крутил ручку радио, и снова выскочил канал, по которому передавали партийное собрание. — Мы пошли к ней домой. Чтобы я переобулась. Она очень мелкобуржуазна. Мещански занята вещами.

Зайцев не верил ни слову.

— Что же, на улице с вами познакомилась — и сразу к себе в дом?

Это плохо вязалось с винтовкой на коленях у жены красноармейца и с паранойей Патрикеевых, которые не высывали носа после наступления темноты. А их параною Зайцев доверял: она была замешена на неподдельном страхе. Ей — и дырам от пуль в бричке. И карте района, покрытой воспаленной розово-красной паршой.

Но Зоя как в трансе продолжала перечислять поразившие ее туалеты мадам Кренделевой:

— Юбка и два джемпера из «Смерти мужьям». Не с рук купленные! Сшитые по ее собственному заказу! И каракулевый жакетик! Представляете? У жены простого курсанта!

Зайцев не успел самому себе сказать, что это и правда — очень интересно. Как вдруг им подмигнула встречная женщина в белой косынке. Вернее, Зое подмигнула, не ему.

— Пацанчик небось. Вон, — показала она подбородком на Зоин живот, — вроде вниз смотрит. А если в стороны ползет, то девка.

— Да, вроде смотрит вниз.

— Говорят так. Хотя у меня за третьим разом вширь пошло, а там раз — и казачонок.

— Вам липстик случайно не нужен? — неожиданно спросила Зоя.

— А это что еще?

Зоя махнула рукой.

— Не берите в голову.

Обменялись улыбками. Зоя двинулась вперед, женщина — своей дорогой. Зайцев недоуменно глянул ей вслед, потом на Зою.

— Вы что, со всем городом уже перезнакомились? Кто это?

— Не знаю.

Они свернули на улицу побольше. Здесь уже был мощен булыжник. Виднелась чугунная кукла какого-то полководца. Зоя свернула.

— В ГПУ сюда, — остановил ее Зайцев.

— А на рынок — сюда, — показала она.

— Зачем на рынок?

Вместо ответа Зоя показала ему запястье — золотые дамские часики. И Зайцев, наконец, сложил в уме чулки на икрах Патрикеевой, шелковую блузку Зои на ее плотном корпусе. Туфельки-лодочки, уплывшие к Кренделевой.

— Вы продаете свои вещи?! Зачем? Что случилось?

Зоя смотрела на него и ничего не отвечала.

— Отвечайте.

Шаль съехала на плече, она ее поправила.

— Ну? — потребовал Зайцев.

— Раскомандовался, — проворчала на ходу какая-то женщина. — Жена в положении, а он глотку дерет. Командир тоже выискался.

И показала затылок с узлом волос, крепкую спину и икры быстрее, чем Зайцев сообразил, что обращались к нему.

— Идемте, — только и сказала Зоя.

Близость рынка чувствовалась — толпа густела. «Добро пожаловать!» — реял поодаль над головами транспарант. И вывеска: «Колхозный рынок».

— Идемте, — повторила она. — Я все равно пойду, но лучше, если вы постоите на стреме.

Еще одна женщина — с узелком в руках — на ходу мигнула Зое улыбкой, как встречный шофер приветствует коллегу светом фар. И Зоя шагнула под транспарант — добро пожаловала.

— Зоя, стойте!

Но ее уже затянуло в людской водоворот. Сновали, суетились, протискивались, приценивались, щупали товар, убирали купленное женщины. Шли с корзинками и узелками. В своих самостоятельно сшитых блузках и холщовых юбках. В платочках или шалях.

Зоя озабоченно поглядывала по сторонам. И вдруг заговорила тоном хозяйки, выбирающей морковь:

— А как, по-вашему, мы здесь без карточек и запаса еды протянем? Вы цены видели? Мне кажется, товарищ Патрикеева меня немножечко... обманула. Мои чулки и блузку мы с вами уже съели. Утверждает она. Но я же помню, сколько стоят шелковые чулки! Они французские, между прочим.

Наконец, до Зайцева дошло.

— Зоя. Вы что — и свой паек отдали? Тогда.

Зоя кивнула.

Зайцев опешил. Упрекала его «помощью классовым врагам», «кулакам» — а свой паек тоже отдала? Что же из этого было правдой? Настоящей Зоей.

— Зачем?

Зоя не смутилась:

— Вы так страшно крикнули.

— Ни о чем я вас не просил!

— Вы таким жутким голосом сказали: «Берите все!» Ну я и схватила. Все.

Зайцев чувствовал, что щеки его горят, как каленые. Все эти дни он легкомысленно ел то, что покупала Зоя — продавая свои вещи. А он даже не задумался, с чего это Патрикеевы такие добренькие: и дом, и стол. Какой стыд.

— Не дуйтесь, — истолковала она по-своему выражение его лица. — Я не с Луны свалилась. Мы же с вами из Питера. Помним восемнадцатый год. Как пользоваться барахолкой — знаем. А часики золотые.

— Нет!

— Стойте здесь, — велела Зоя. Слегка покраснела и добавила: — Увидите мильтона — сигнальте.

И быстро ввинтилась в толпу. Рука с часиками была поднята будто невзначай.

Зайцев проклинал себя. «Будда уездный. Святоша. Рыцарь печального образа». Но зорко высматривал, не покажется ли милицейский шлем. Он был готов выхватить удостоверение, плести что-то насчет «секретной операции» и «проверки», на все готов, чего

уж там. Зоин профиль то заслоняли, то открывали чужие головы. Уже кто-то сунулся к ней, уже шевелил губами, видимо спрашивая цену.

И только сейчас Зайцев увидел, что Зоя в ее блузе и юбке выглядит не ленинградской служащей, неприступной департаментской сучкой («такой ужас, представляете: моя маникюрша...»), но одной из них, здешних. Ее живот, как магнит, притягивал доброжелательный интерес женщин, который бил поверх неприязни к «россиянам»: каждой было, что сказать, что вспомнить, каждой хотелось поделиться своим опытом.

Черт, подумал он. Она не дура.

Его пихнули в бок.

— Полегче, — прикрикнул Зайцев. А когда восстановил равновесие, то Зою уже не увидал. Лица, затылки, носы, профили, затылки, плечи.

— Дорогу, товарищи, — немедленно ввинтился он в гущу. Принялся грести в толпе. В ту сторону, куда подалась Зоя. Крутил головой.

Тщетно. «Еще не хватало», — подумал он, сам не зная, что именно имел в виду. Зою не было нигде.

Он протиснулся к прилавкам, обитым железом в мясных и рыбных рядах, и деревянных — в остальных.

И поневоле перестал грести.

Его пихали, на него шипели. Зайцев забыл обо всем. Прилавки поразили его.

Он воображал себе, что увидит здесь натюрморты с эрмитажных картин. Видимо, все тот проклятый дурак из поезда со своими рассказами о тучных южных землях: «воткни карандаш — и тот заколосится». Зайцев воображал: груды яблок, пухлые груши, золотые зерна кукурузы, окорока и туши, мед, хлеба, вино, изобилие. Молочные реки и кисельные берега. Степь — житница Союза.

Огромный радужный пузырь, который лопнул, обдав его вонючими брызгами. Лопнувшие мечты почему-то всегда пахнут дурно. Прилавки — настоящие, здесь и наяву — скалились пустотой.

Не было ни окороков, ни тучных груш, ни пышных хлебов. Ни живописного изобилия.

Не было даже просто — как в Ленинграде — «продуктов питания».

А только убожество и скудость. И роскошное солнце, которое напрасно проливало свое золото вниз.

Это была обычная барахолка. Одни граждане менялись старьем с другими гражданами. Изредка вместо старья передавали баночки или фунтики.

Зайцева толкали, его материли, ему наступали на ноги. Он не замечал. Тихий холодок стыл под желудком. «Раскулаченные» — и пустые прилавки. «Раскулаченные» — и скелетики, среди которых не различить было мужчин и женщин, старых и молодых. Тощие руки, в которые он пихал свои припасы. Безумный голодный взгляд Пашиных постоялиц, «моей няньки» и «моей кухарки». «Матреша шила — птичка пела». Голова у него шла кругом.

Слишком много кусочков никак не хотели сложиться в целое.

Вернее, складывались в такое целое, верить в которое было невозможно, не хотелось — нельзя было верить. Слишком чудовищное, чтобы быть правдой.

«Кулаков выселяют», — сказал милиционер на станции. Не милиционер — конвоир. «Патрикеевых? Не знаю. Вам дом подхорунжего?» А Патрикеева не знает, где в доме что лежит. Не в ее доме. В доме подхорунжего. И волчьи взгляды. И волчьи пули в тихой улочке. И карта в кабинете начальника местного ГПУ, вся, как ожогами разной степени, покрытая красными и розовыми пятнами. Пустые прилавки там, где должны лежать натюрморты, подобные которым Зайцев видел только на картинах в Эрмитаже.

— Пьяный, что ли? — толкнули его. — Смотри, куда прешь.

Зайцев, тыкаясь и оступаясь, прошел рынок насквозь — вышел через другие ворота.

Здесь стало легче. Не легко. Но легче.

— Товарищ, туфельки почему? — окликнул его голос.

Перед ним стояла женщина, показывала ему в бок. Зайцев машинально хлопнул рукой по карману: туфли.

— Не продаются.

Женщина пробормотала что-то. отошла. А туфельки — одна в левом кармане, другая в правом — немедленно налились свинцом и принялись Зайцева жечь, как грешника в аду: одна справа, другая слева.

И все это время он ел — сначала Зоины чулки, потом блузку, потом туфли.

Как назло Зайцеву вспомнилось: раз соседки в их квартире обсуждали некую Таньку, которая «плохо питалась» и «ребенок получился рахит». Зайцев видел во дворе эту Таньку, вспомнил «рахита»: тихий серьезный малыш на тоненьких кривых ножках и с большой головой копал совочком в городской пыли... При этом воспоминании мысли Зайцева опять заметались. Он почему-то уже нацелился увидеть Зоиною ребенка загорелым юношей-спортсменом. Или плечистой девушкой в майке. «Ребенку нужно молоко», — дунуло в уши: где он это слышал? Неважно. Нужно.

Мимо трещали по булыжной мостовой телеги, прокатили колесо мальчишки. Шли прохожие в бедных ситцевых и холщовых уборах — как не похожи на ленинградцев. До них Зайцеву, впрочем, дела сейчас не было. Ни разу в жизни не бывав ни отцом семейства, ни мужем (и даже не собираясь таковыми становиться в обозримом будущем), он рухнул в бездну забот сотен тысяч ленинградских папаш.

Что делать?

Карточки? Их мог выдать товарищ Емельянов. Но где же который день носит этого чертова товарища в его чертовом черном авто?

Чтобы раздобыть еду без карточек, нужно было идти на рынок.

Чтобы идти на рынок, нужны были деньги.

Чтобы раздобыть такие деньги, надо было продать что-то нужное.

Зайцев быстро сбежал по этим ступеням логики.

У него не было ничего нужного — только необходимое. Как правило, в единственном экземпляре. Он не мог ходить без штанов. Да и они чиненые-перечиненые.

Решил: ботинки. Выменять на какое-нибудь дерьмо — не в носках же ходить. А разницу проесть. Ботинки хорошие, заграничные, из закров товарища Кирова. Даже сапожник ККУКСа отметил: хорошие.

Но менять — как? Какое-то время все равно придется стоять на толкучке в одних носках. С ботинками в руках? Или связать шнурками и повесить себе на шею?..

Зайцев сделал то, что совсем от себя не ожидал — ибо в этот момент действительно превратился в затурканного, загнанного отца

семейства — отца-неудачника, отца-недотепу. Сел на каменную кладку ограды. Закрыв лицо ладонями, громко сказал:

— Пуух! — И несколько раз хлопнул себя по дурной голове.

— Что, отец? — спросил голос. Зайцев вскинулся, как ужаленный.

И только потом понял, что «отец» здесь было таким же нейтральным обращением, как «гражданин».

Мужичок участливо склонился:

— Душа горит?

Очевидно, принял за похмельного страдальца.

— Помаленьку, — ответил Зайцев ответом, который подходил на любой вопрос, отвечать на который не хотелось.

Мужичок охотно сел рядом. Вынул кисет. Ловко скрутил сигарку. Раскурил — протянул Зайцеву. Тот послушно принял. Попробовал: дым резкий, но душистый.

Мужичок тоже сунул в рот папиросу.

— А что, отец, война, говорят, скоро.

— С кем? — вынул изо рта папиросу Зайцев.

— Черти знает. С японцами. Или с англичанкой.

Гражданин оказался словоохотливым.

— Говорят только, что Деникин уже на ероплане прилетел, и с ним хорунжие, которые тогда за кордон ушли. Вон солдат-то пригнали. Одних коней, говорят, целый поезд. Мол, курсы из самого Питера. Какие еще такие курсы?

— Курсы и курсы.

— Из самого Питера чтобы тащить?

— А что не так в курсах?

Мужик не спеша затынулся. Выпустил. Посмотрел, как дым рассеялся в солнечном свете. Объяснил:

— Курсы это у бухгалтеров, например, у их — курсы. У женского пола — курсы. Это бывает. А у кавалерии какие ж такие курсы? Во-во. Брехня. С просто так россияне сюда столько кавалерии не стянули бы.

Мужик покачал головой. Зайцев глянул на него — не наседочка ли из НКВД? Табачок, разговорчики — и скользкий поворот: Деникин, то, се...

— Не знаю, не слыхал, — холодно обрубил он и выбросил недокуренную папиросу. — Я приезжий.

Мужик наклонился, поднял папиросу. Обдул.

— Больно сердит ты.

Убрал ее и пошел своей дорогой.

— Товарищ, — тут же окликнул Зайцева нетерпеливый женский голосок. — Почему туфельки продаете?

Глава 11

Зайцев тщетно пытался поймать его взгляд — заместитель товарища Емельянова был безнадежно косоглаз. Одно недремлющее око смотрело прямо, другое съехало на сторону, как будто его обладатель постоянно ждал нападения справа.

Зайцев решил глядеть в то, что было нацелено вперед.

— Вы хотите, чтобы вам позвонили. Вижу по вашему лицу. Кто вас устроит? — холодно поинтересовался Зайцев. — Начальник ленинградского угрозыска? Представитель партийного руководства? Начальник Ленинградского ГПУ? — блефовал он. Потому что, конечно, начальнику ГПУ по городу Ленинграду товарищу Медведю плевать было на провинциальные беды какого-то там мильтона.

Зам вздохнул.

— Ладно. Давайте сюда ваши ленинградские карточки, — недовольно выговорил он. — Придумаем что-нибудь. Переоформим. — И пригрозил: — Временно.

— Товарищ дорогой! — вскинулся Зайцев. — Я вам битый час твержу: нет у меня карточек! Утеряны!

Оба глаза съехали к носу. Который теперь врет, было не понять.

— Я без санкции товарища Емельянова решить ваш вопрос не могу, — опять загудел зам.

Сказка про белого бычка снова вышла на репризу.

— Хорошо. Спросим товарища Емельянова.

— Он вышел. Скоро вернется.

Зайцев вспомнил черный «Форд» и кавалькаду грузовиков с красноармейцами. И телегу, на которой стоял пулемет.

Не выглядело это так, что товарищ Емельянов «вышел» — и скоро вернется, вот что.

Но все равно ответил, как подобало настырному посетителю:

— Я дождусь. Здесь.

— Нельзя.

— Он же скоро вернется.

— Не разрешается.

— Когда он вернется?

— Не могу знать.

Этому Зайцев верил вполне.

— Где он? Я сам к нему схожу.

Глаза теперь расплылись в разные стороны. Не поймать.

— Не могу сообщить.

— Товарищ! — рявкнул Зайцев. — Вы, по-моему, надо мной смеетесь!

Он выхватил удостоверение. Вынул из него сложенный в несколько раз листок. Тряхнул, разом развернув. Мелькнули фиолетовые печати. Сунул под нос заму.

— Я что, с вами в игрушки здесь играю?

Глаза смотрели в разные стороны. Зайцев перескакивал с правого на левый, с левого на правый.

— Смотрите мне в правый глаз, — неожиданно устало сказал емельяновский зам и показал пальцем. — Левый — игра судеб.

Зайцев на миг проникся к этому чиновному мешку человеческим чувством.

— Товарищ Зайцев, я что могу, то могу. И помогу. А если не могу, то не могу, — сказал человек. — Поймите. Вот вернется товарищ Емельянов, с ним и переговорите.

Зайцев хотел спросить: «А есть-то мне что тем временем прикажете?», но вспомнил, что сам тогда, на платформе, сделал свой выбор, и сказал только:

— Переговорю. Не сомневайтесь.

Убрал бумажку, подписанную Коптельцевым, и рванул на себя дверь.

— Товарищ! — позвал косоглазый зам почти жалобно.

Зайцев обернулся. Он размахивал полоской бумаги, рачительно оторванной от целого блокнотного листа. С бумагой в Новочеркасске, похоже, тоже было напряженно.

— Адресок — забыли, — напомнил заместитель из-за своего стола. Но задницу не поднял. Как будто она была приклеена к стулу и отодрать ее можно было только с санкции летучего и неуловимого товарища Емельянова.

— Не забыл.

Зайцев вернулся к столу и выдернул из пальцев огрызок с адресом курсанта Кренделева.

Первый этаж дома был каменным. Второй — деревянным. Тянулся унылый серый забор из рассказа Чехова. В окне первого этажа тарачился кот. Со второго этажа доносилось звонкое пение. Голос был приятный, а слуха — никакого: в популярной песенке Лещенко девочка умудрилась не попасть ни в одну верную ноту. Ее хорошему настроению это не мешало.

Зайцев сверился с бумажкой. Буквы были крупные, старательные, а слово этаж написано через «е». Зам товарища Емельянова не мог похвастаться грамотностью. Зайцев толкнул калитку в сером заборе. Было не заперто.

У самовара — я и моя Маша,
А за окном — почти уже темно, —

фальшиво, но уверенно выводила певица.

Он прошел к крыльцу с остатками чугунных перил. До революции дом, похоже, был купеческим. Не богатым, но основательным.

Зайцев постучал. Пение не оборвалось, но пошло волнами — девочка, очевидно, пела на ходу.

Пение умолкло. Дверь открылась. На Зайцева уставились большие голубые глаза. Он успел заметить коротко остриженные льняные кудри.

— Кренделевы здесь живут?

— А его дома нет. Но он вот-вот будет!

— Мне с гражданкой Кренделевой бы поговорить. — Зайцев показал удостоверение.

— А что такое? — И добавила быстрее, чем он успел рассердиться: — Я Кренделева. Аня Кренделева!.. Да вы входите. А то сейчас вся улица высунется в окна и будет глазеть.

Что, впрочем, несколько не расстроило Кренделеву. Она стала подниматься по деревянной лестнице и опять запела:

— У самовара... у самовара... Тара-тара-тара. — Обернулась: — Хорошая песня. Вы знаете? Нет? А за окном — почти уже темно!

Только сейчас Зайцев разглядел, что, несмотря на девичий голос, голубые глаза такого оттенка и разреза, которыми почти невозможно удостоверить ум (то есть очень голубыми и очень круглыми), льняные

кудряшки, кукольный румянец и легкие движения, Кренделевой никак не было шестнадцать.

Зайцеву все казалось, что эта веселая Анюта его дурит. Сейчас визнает, зачем мильтон пришел к Кренделевой, потом повернется и закатит глазки: «Обманули дурачка на четыре кулачка».

Куколка провела его через сумрачный коридор с остатками резной купеческой роскоши. Толкнула дверь в комнату. Он задержал шаг. На двери точно была пришпилена картонка: «Кренделевы».

— Входите же, ну?

Зайцев признал, что пал жертвой предубеждений.

По рассказам Зои он вообразил Кренделеву сухой стареющей стервой или матроной с жирным валиком-горбом на спине. Такие жадно цепляются за любые ухищрения красоты: перманент, каракулевые жакетки, индпошив из «Смерти мужьям».

Очевидно, Зоя — тупо-правильная и серьезная — возненавидела поющую Кренделеву с первого взгляда.

Зайцев терпеть не мог предубеждения. Они мешали работе. И оглядел комнату Кренделевых уже как полагалось — будто эта была вообще первая комната, которую он видел в жизни. Сразу схватив ее характер. Не упуская ни одной детали.

Розовенькие занавески. Фестончики, воланы, розаны. Кружева. Трудно было представить, куда мсье Кренделев мог поставить свои кавалерийские сапоги. Положить бритву. Повесить брюки. Комнатка была хорошенькая, кукольная. Такое ощущение, что Анюта Кренделева жила в ней одна.

Только свадебная фотография в рамке (беленькой с гипсовыми розочками) удостоверяла супружеские права курсанта. На фото он был в португальском и красноармейском шлеме, по-крестьянски серьезный перед фотографом. А губы узкие, брюзливо оттянутые книзу. В свадебной фате Зайцев с иронией узнал нынешнее покрывало на подушках. Сама же Анюта и тогда выглядела ровно как сейчас.

И уже тогда — главой новой ячейки общества.

Зайцев вынул туфли.

— Ой, туфельки мои! — всплеснула фарфоровыми ручками Кренделева. — А я думала: ну кому дурак Николаев их отдал по ошибке?

«Значит, вот что сапожник ей наплел», — отметил Зайцев.

— Очень уж они похожи на туфли моей жены, — соврал он, почти не запнувшись. — Я только дома понял, что совсем и не похожи. Просто никак.

— Да, вам, мужчинам, все туфли на один лад, — звонко засмеялась Анюта, схватила обе лодочки и прижала к груди. — Вам не понять. Милые туфельки, не правда ли? Я так переживала, что Николаев их кому-то отдал. А вот и они. — Она любовно посмотрела на мыски, чуть не облизнулась. Как киса на мисочку со сливками.

В коридоре хлопнуло. Анюта наострила уши. Шаги. И в комнату вошел Кренделев собственной персоной.

Подле прелестной Анюты он казался березовой чуркой с глазами.

— О, — сказал он. — Какая встреча. Я только забыл вашу фамилию.

— Зайцев.

— А. Точно. Рад видеть.

По виду товарища Кренделева этого было не сказать.

Его несколько оловянный взгляд перешел на туфельки. Зайцев заметил промелькнувшее на лице — и в плечах, чуть обмякших, — выражение глубокой усталости. Слово Кренделев на полсекунды ощутил на себе вес всего атмосферного столба — который, как утверждает наука, человек не способен заметить. Промелькнуло и исчезло.

— Ты купила новые туфли, Анюта? — отчетливо, слишком отчетливо произнес он. Тон Анюте, похоже, был знаком. Потому что она тотчас пихнула туфли Зайцеву.

— Возьмите их, товарищ... эээ... Зайкин. Дороговато. Да и вообще не мой номер.

— Я думал, вам понравились, — немилосердно изобразил удивление Зайцев. — И цена подходящая.

— Что вы, товарищ Зайонц. Они хорошенькие. Но фасон не мой. И размер. И вообще дороговато, — залепетала Анюта. — Но вы спрашивайте в соседнем доме. Может, там кому подойдут.

— Вы продаете вещи, товарищ Зайцев? — недобро осведомился Кренделев.

Зайцев не успел ответить — да даже и придумать ответ. Фарфоровая Анюта со словами «вы в соседний дом постучитесь» энергично выставила его за дверь.

В коридоре был тихий полумрак. Где-то у соседей бормотало радио. Зайцев приник виском к двери. Послушал.

Там разгоралась сцена из супружеской жизни.

— У тебя же уже есть туфли, — с драматическим отчаянием напомнил голос Кренделева.

— Но это правда не мой фасон, — журчал голосок жены. — И размер. И вовсе я его не приглашала. Он сам пришел. Ходит, видать, по дворам.

— Аня, я больше не могу так.

— Не нравится — заведи вторую семью. Как этот ваш Журов. И отдыхай там душой.

Зайцев перестал дышать.

— Аня. У меня больше нет сил, — пробурлил голос Кренделева. — Сил и денег.

Голосок стал хрустальным — и ледяным, как вода в горном ручье:

— Слабак. Потому что ты слабак.

— Анна...

Плаксивые нотки:

— Ты же мне обещал... Неужели так трудно... Что красивого, изящного я здесь вижу? В Ленинграде я могла пойти в балет. В Эрмитаж.

— Могла. Но ты все равно ходила по комиссиям, парикмахершам, ателье, — видимо, не удержался Кренделев. Зайцев его понял.

Всхлип.

— Так найди их, эти деньги!.. У других...

— Анна, ни у кого теперь денег нет.

Очаровательная Анюта, похоже, топнула ножкой.

— Найди, где их взять!

— Будто я не искал.

— Что же ты не нашел?

— Здесь нет Жемчужного, пойми.

Зайцев за дверью превратился в окаменелую копию самого себя.

— Не понимаю! Я глупая. Ты мне объясни! Нет того, но есть местный. Раз есть эти ваши кони, то, значит, есть и свой какой-то местный Жемчужный.

— Кони есть, но состязаний нет, понимаешь?

— Не понимаю! Ты слабак, ты...

Убедившись, что ничего больше сказано не будет, Кренделев перешел к бессловесным способам утешения, Зайцев тихо выпустил вздох изо рта и бесшумно отошел от двери, так и сжимая вспотевшими ладонями лакированные лодочки.

В особнячке ГПУ все так же дышало прохладой от плиток пола.

— Он вышел.

— Как же вышел? — напирал Зайцев. — Когда? Я с ним сегодня разговаривал. Недавно.

— Не могу знать.

Теперь и косоглазый заместитель товарища Емельянова испарился. Письменные столы мельчали, а порода местных гэдэушников, видимо, вырождалась по мере спуска по служебной лестнице. На сутулых плечах этого лежала перхоть, редкие волосенки были зачесаны от уха до уха, а глаза, казалось, протухли еще вчера. Как у рыбы, которую забыли убрать в ледник. Стол казался странно коротконогим и тесным. Видимо, письменные столы мельчали, а порода местных гэдэушников вырождалась по мере спуска по служебной лестнице.

— А что с моими продуктовыми карточками? — пошел ва-банк Зайцев. — Заместитель товарища Емельянова мне твердо пообещал.

— Не могу знать.

— Свяжитесь с товарищем Емельяновым, наконец!

Тот вдруг ощерился.

— Вы, товарищ из Ленинграда, уж больно пристально местонахождением товарища Емельянова интересуетесь. Уж больно настойчиво.

Зубки были мелкие и редкие, как у рыбы.

Зайцев подумал, что если он сейчас уйдет, а потом опять вернется, то примет его совсем уже нечеловек.

— Я карточками своими интересуюсь, дорогой товарищ, — ответил он. — Поскольку не святым духом и акридами питаюсь. А белками, углеводами и, если повезет, жирами.

— Не могу помочь, — отвечивал зам емельяновского зама. — Ждите санкции товарища Емельянова.

— Когда он вернется?

— Не могу знать. Справьтесь через пару часов.

— Не сомневайтесь.

Зайцев вышел на покрытый мягкой пылью двор. Обернулся. И увидел движение в окне: нос емельяновского зама поспешно скрылся за занавеской.

А операция у товарища Емельянова, похоже, секретная. Причем при участии грузовиков с красноармейцами и пулеметов системы «Максим». Обещающе. В том смысле, что ничего хорошего такой набор не обещал. Кому? Где? Когда? Все оставшиеся в здании ГПУ молчали, будто уже набрав крови в рот...

— Товарищ Зайцев, ау!

Зайцев удивленно уставился. Он понял, что Артемов ждет ответа. За стойкой раздачи маячила Дашка-курва.

Вопрос он не слышал.

Артемов вдруг снова обернулся к стойке.

— Дарья Платоновна. Сделайте большое одолжение, если не затруднит вас. — Артемов держался почтительно и просто. — Товарищ из самого Ленинграда. А время обеденное.

На широком лице шевельнулись чувства. Дашка-курва ответила бы: «Нехай! Ходют тут всякие — жрать просят!» Но Дарья Платоновна так ответить не могла. А как ответить — не знала. Поэтому нерешительно провела руками по фартуку.

— Дорогая, вы ведь вырежете товарищу из Ленинграда из моих карточек? — мягко предложил Артемов.

— Да не суйте! — оттолкнула она листки с печатями. — Не объест.

«Дашкааа-курва! Уснула там, што ль?» — надрывалась кухня. Столовая была гулко пуста. Скатерти со столов сняты. Ужин закончился.

— Благодарствую, — светски кивнул Артемов.

Дарья Платоновна ответила:

— Пускай, чего там. — И тотчас Дашка-курва заорала в сторону чадного проема: — Глотку не дери! Не глухая!

Зайцев встрепенулся:

— Слушайте. Зачем это. Я ведь не голоден.

— Да, — спокойно согласился Артемов. — А в желудке у вас гремит — просто симфонический оркестр.

— Неудобно, — запротестовал Зайцев.

— Спать в носках — вот это неудобно! Бросьте, — серьезно добавил он. — Я тоже знаю, что такое Петроград в восемнадцатом году, и если у человека голод — узнаю с тех пор сразу. Вы молодой человек. Вам надо есть. И есть много.

Зайцев почувствовал, что у него загорелись уши.

— Простите. — Снял кепку, провел ладонью по жаркому темени. — Мне кажется, жара меня доконала.

Артемов кивнул.

— Спасибо, — отозвался Зайцев.

Под дождем артемовской любезности морда Дашки-курвы сперва стала лицом, а затем оно будто помолодело.

— Так котлеты будете или бефстроганов? — напомнил Артемов.

— Берите котлеты, — сказала Дашка. — Бефстроганов — одни жилы.

Зайцев ощутил легкую панику. Он бы лучше отнес ужин Зое. Но как?

Артемов оценил его отсутствующий взгляд.

— Дилемма товарищу не по плечу. Мы сделаем выбор за него. Котлетам и быть.

Котлеты в карманах? Макароны в кепке?

— Что вы заметались? — поинтересовался наблюдательный Артемов. Он облокотился на оцинкованный стол раздачи, будто это была буфетная стойка в петербургском Офицерском собрании. — Вы как-то оглаживаете себя по карманам. Обронили что?

— Н-нет, — растерялся Зайцев. — Я по правде голоден не очень.

— Не очень? — поднял бровь Артемов.

— Но точно проголодаюсь. Чуть позже.

Артемов выдержал паузу. Но как воспитанный человек предпочел знать о собеседнике не больше, чем тот желает рассказать сам, и крикнул в сторону кухни:

— Даша, любезная. А сухим пайком можно? Товарищу навынос.

— Можно и сухим, — прогудело из остывающих недр кухни.

Артемов кивнул Зайцеву.

— А мы сядем. Посидим. Покурим. Если дамы не возражают?

— Курите, — голубиным голосом прогулила Дашка. — Только не убрано ведь.

— Это ничего.

— Я вам хоть чаю принесу! — крикнула она.

— Это было бы чудесно, — одобрил Артемов.

Та порозовела.

Когда они отошли, Зайцев напомнил ему их давнишний разговор.

Артемов шаркнул стулом.

— Я такое говорил? — вполне искренне удивился он. — Соблазны большого города? Не помню.

— Но что-то вы под этим имели в виду?

— Да ерунду, вероятно, какую-то. Молодые люди. У них — у вас — совсем другой аппетит к жизни. Вам всего нужно много. Не только еды. Вот и все, что я имел в виду, думаю. Потому что, повторю, не помню, чтобы я это говорил. Но мог, мог. Это у нас, стариков, все выгорело, отшумело. Отговорила роща золотая. А молодые до всего жадны. Вот и все, что я, наверное, имел в виду. Да. Вот и все.

Дашка-курва брякнула перед ними два судка и как-то особенно любовно обмахнула их своим фартуком.

— Только судки верните. Казенные.

На Зайцева она и не глядела. Он был никто.

— Что я помню, — подхватил снова разговор Артемов, — так это то, что мы говорили о лошадях. Это я помню.

Зайцев придвинул судки, покрывшиеся теплой испариной.

Артемов вынул портсигар. Выщелкнул из него папиросу. Положил портсигар на стол. Закурил. Выложил пепельницу.

— Чай скоро, — сообщила Дашка. Артемов ей кивнул за клубами дыма.

Зайцев понял, что не первый раз Артемов сидит вот так в пустой столовой. После ужина. Когда столы уже без скатертей, а на некоторых уже стоят, задрав ножки вверх, опрокинутые стулья — ждут поломойку.

Дашка словно мимоходом поставила стаканы с чаем — оба перед Артемовым. Зайцев по-прежнему был никто.

Артемов зажал папиросу зубами, один стакан подвинул к себе, другой — через стол — Зайцеву. От чая шел парок. Жидкость казалась слегка маслянистой на вид: заварки Дашка не пожалела, сахара тоже.

И не в первый раз Дашка ставит перед ним чай в подстаканнике. Пустая столовая напоминала храм. Это был ритуал. Ритуал, который Дашка оправляла с важностью жрицы. Артемов был ее божеством.

Зайцев не судил их, не осуждал. Он, в сущности, одобрял все, что придавало чьей-то жизни смысл.

— Мы говорили о лошадях? — Зайцев отпил чай. — Хм. А вот этого не помню я.

— Говорили, говорили. У Якова Петровича Бутовича множество недоброжелателей — с давних пор. Даже и прямо — врагов... Между прочим, в той истории с Николаевым... А впрочем, пес с ним, паршивый человечиска Бутович. Но знаток. Знаток. Это не отнять.

«Николаев», — удивился Зайцев. Здешний сапожник — тоже Николаев. Впрочем, фамилия распространенная.

От судков, стоявших на столе у самого его локтя, предательски пахло; живот у Зайцева сводило. Он глотнул чай, приятно обжегший горло.

— А что же Бутович здесь делает?

— В ККУКСе?

— Да.

— То же, что делал в армии раньше. До всего. — «До революции», — перевел Зайцев. — Закупает лошадей.

Зайцев уловил, что голос Артемова на последней фразе скептически дрогнул. Возможно, это еще не дверь. А только щель. Зайцев быстро поставил в нее ногу.

— Как это? У ККУКСа кончились лошади?

— Товарищ Бутович восстанавливает свой завод, — неожиданно сухо ответил Артемов. — Поэтому ККУКС меняет свой конный состав, как выражается здесь один... А впрочем, пес и с ним.

Слово «завод» для Зайцева означало одно.

— На колбасу? — не без ужаса переспросил он. Желудок снова заурчал.

Артемов испустил смешок, похожий на звук треснувшей под сапогом ветки.

— Конный завод. Не служить, а размножаться. Поднимать породу. Чистить русскую рысистую кровь от американских примесей. А курсантам, мол, и казачьи лошади — донские — сгодятся. Они, мол, резвее рысаков. Негодяй. Он был бы негодяй безвредный. Да только, к

сожалению, сумел убедить и перетащить на свою сторону некоторых высокопоставленных товарищей, сначала в Наркомате сельского хозяйства, а потом дошел и до самого...

Артемов умолк.

Зайцев не успел спросить: кого? Артемова понесло:

— Роббишня! Смешайте русскую орловскую лошадь с американской. Вот вам и будет резвость! Что в этом плохого? Слово «метис»? Орловская порода изначально является смесью — причем молодой! — из нескольких других, старинных. Или что метисы якобы не блещут линиями? Вам важен экстерьер, товарищ Зайцев?

Зайцев посмотрел на дно стакана.

— Я думаю, что будущее за автомобилями.

— Бред имени товарища Тухачевского, — быстро и убежденно ответил Артемов. — Только не в кавалерии. Вы слышали про Умного Ганса?

— Ганса? Иностраный специалист?

Артемов то ли вздохнул, то ли просто выпустил вниз сизый клык дыма.

— Я забываю, как вы молоды.

— Ладно, вы из меня молокососа тоже не изображайте.

— Не в количестве лет дело. — Артемов стряхнул пепел, покачал головой. — Боже мой, как изменилась русская жизнь. Вы — моложе меня не на годы. На целую вечность.

Перед ним в сизых клубах плавали, очевидно, воспоминания. В окне раздачи — дальше, там, где помещалась кухня, — загремели ведра. Принялись браниться сердитые женские голоса. Зайцев смотрел на поникшие плечи Артемова (а стан — все равно прямой) и невольно подумал: «Да, это тебе не Красное Село, маневры императорской гвардии, а вечером — балет».

Плечи приподнялись. Видно, воспоминания отступили.

— Умный Ганс — это лошадь, — словно нехотя ответил Артемов. — Он гремел в свое время. В мое время, — уточнил он. — Не резвостью, не экстерьером. Ганс обладал математическим талантом. Он складывал, вычитал.

— Это Ганс так говорил?

Артемов пропустил иронию мимо ушей.

— Он отбивал ответы копытом. Представьте, даже делил и умножал. Отвечал на разные вопросы. Вообще производил оглушительное впечатление своим разумом.

— Пока однажды не?... — продолжил за него Зайцев.

— Вот вы какой, — проворчал Артемов. — Молодой советский человек. Позитивист и нигилист до мозга костей.

Зайцев засмеялся.

— Но ведь вы именно это собирались сказать? Однажды его вывели на чистую воду? Вернее, не его, а хозяина, верно? Но к тому моменту Умный Ганс успел заработать на своих выступлениях целое состояние, и его хозяин, который тоже был не дурак, вовремя смылся?

— Нет. Да. Сначала так и думали. Чтобы хозяин ему не подал какой-нибудь тайный знак, ему велели отвернуться. Потом вовсе вывели. Но Умный Ганс по-прежнему не ошибался!

— Пока однажды не...

— Будь по-вашему! Пока однажды не сделали так, что Ганс вообще был один. Сам по себе. Его отгородили ширмой. Он не мог видеть никого из людей. И вот тогда-то не произошло ничего. Он больше не мог ответить верно, ошибался.

— Чудо кончилось.

— Началось! — с жаром перебил Артемов. — Хозяин Ганса и не думал дурачить публику. Он искренне верил в математический талант своего коня. Вот только таланта там, конечно, не водилось.

— Чудо. Ага.

— Чудо! Чудо природы и селекции. Потому что Ганс все это время действительно получал знаки. От людей. Невольные, не намеренные. Выражение лица. Не выражение даже — оттенок. Скошенный глаз, дрогнувшие губы, легкий жест, чуть выступивший пот, сжавшиеся пальцы, напрягшаяся шея. Конь все это подмечал. И понимал, что ему делать. И действовал сообразно. И не ошибался! — с волнением заключил Артемов. — Видел, подмечал, понимал! Вы понимаете, что это значит?

— Нет, — честно признался Зайцев. Он привык к природе, замкнутой в ограду Летнего сада, окованной гранитной набережной. Природа для него была крысами, кошачьим запахом черных лестниц, воронами, чайками. Без чудес.

— А то, что Умный Ганс был русским рысаком, — строго ответил Артемов. — Способность к тончайшему взаимодействию с человеком. Это и есть — порода, товарищ Зайцев. Это, а не экстерьер.

Во время его тирады Зайцев как бы невзначай накрыл крошечную коробочку-пепельницу Артемова салфеткой.

Тот был слишком увлечен:

— Какого черта мне экстерьер орловских рысаков? Что я, патриарх? Или великая княгиня? Мне не нужен выезд-игрушечка. Я не подбираю лошадей в тон галстуку! Меня не смущает, что метисы некрасивы. Красота — это так, позолота. Да и резвость... Любой мальчишка вам скажет: скоро автомобили побьют самую резвую лошадь-чемпиона. И мальчишка будет, черт вас возьми, прав!

Зайцев будто машинально придвинул его пепельницу к себе.

— Побьют и вытеснят отовсюду. Автомобили не будут уставать, капризничать, кусаться, гадить на улицах! Они всегда будут нужной вам масти: надоело — перекрасил! Собрать нужный автомобиль в миллион раз проще, чем родить и вырастить лошадь нужных качеств. Но никогда — никогда! — никакой автомобиль не окажется Умным Гансом! Ни на улице, ни на спортивных состязаниях. Ни на войне! Кавалерия всегда останется кавалерией.

Зайцев тихо опустил завернутую в салфетку пепельницу себе в карман. А чтобы Артемов не очнулся раньше срока, пристально посмотрел ему в разгоряченные глаза и спросил:

— Но ведь время сейчас...

— Время отталкивает от себя то, чего не понимает, — быстро перебил Артемов. Видимо, невысказанный вопрос Зайцева он много раз задавал самому себе. И знал ответ. — Но мы-то понимаем! И если время не принимает, мы ему навяжем — для его же блага!

В уборной Зайцев осторожно поставил еще теплые судки на туалетный бачок. Перевел пепельницу Артемова во внутренний карман пиджака. На миг ему стало совестно. «Я ведь преломил с ним хлеб. Вернее, котлету». Представил, как Артемов не захочет самому себе признаться, что его новый знакомый, ленинградский сыщик, приятный молодой человек (так, Зайцеву казалось, он его себе описывал) с внимательными глазами — вор. Или извинит все голодом?

Но что же все-таки такое этот Николаев?

Зеркало с отбитыми углами ответило мутным отражением. Кран зафыркал, пустил носом ржавые пузыри и только потом воду. Мыла не водилось.

Зайцев не верил в совпадения. Дважды он запнулся об Николаева. Ровно на два раза больше, чем нужно.

Он одернул пиджак, приятно ощущая тяжесть пепельницы в кармане.

— Ты что там, газету читать засел? — забухало в дверь.

— С чего бы такая фамильярность? Не могу припомнить, чтобы мы пили на брудершафт, — пробормотал Зайцев своему отражению в паршивом, покрытом коростой зеркале.

— Чо-о-о?

— Сейчас! — рявкнул в ответ Зайцев. Подхватил брякнувшие судки. И спустил воду.

Поставив судки — уже остывшие — на стол, Зайцев ощутил то, что не ощущал до сих пор в жизни ни разу: первобытное мужское самодовольство. Каменный топорик и немного удачи — и вот уже у костра не мамонт, конечно, но, допустим, полноценный суслик.

— Вы что же, столоваться не хотите больше? — сузила глаза Патрикеева.

Зайцеву захотелось подступить к ней вплотную, чуть ли не нос к носу, тяжело посмотреть в самые доньшки глаз и нехорошим голосом сказать: «Верните ей чулки и блузку». Он подавил это желание.

— Нет, спасибо. Дальше справимся сами.

И даже наполовину выдавил улыбку.

— Вы ув...

— Я уверен, — не дал ей закончить он.

Патрикеева ушла в сени, загремела там чем-то рушащимся, катящимся.

Обвал планов. Точно — зарилась на очередную тряпку.

Зоя сняла крышечки. Удивленно заглянула внутрь, еще более удивленно — посмотрела на Зайцева. Он вынул из карманов туфли.

— Вы их ей не отдали?

— Они ей не подошли.

— Но продукты... Как же... Съели же...

— Туда им и дорога. — Зоя спустила туфельки на пол. — Вы нас обоих выручили. Спасибо. Но не делайте так больше, товарищ Сок... Зоя, — попросил он.

Она не ответила. Вдела одну ступню, топнула.

— Я что-нибудь придумаю. Вернее, все уладил.

Она по-прежнему молчала. Топнула второй. Прошла через всю комнату. Осмотрела свои ступни, как будто они были чужими. Сняла туфли. Рывком выдернула из-под кровати чемодан. Уложила туфли.

— Вы мне обещаете?

Зоя посмотрела ему в лицо. Нахмурилась. Задвинула чемодан под кровать. Потом лоб ее разгладился.

— Я вам обещаю.

* * *

— Воображаю, что вам наговорила обо мне эта пустоголовая канарейка Кренделева! — сказала она, пропустив Зою вперед, в комнату. — Но не дала Зое возразить: — Нашли кого слушать! Надеюсь, вы не стали ее слушать? Да садитесь.

Дорога с рынка Зою утомила. Но торговаться там покупательница боялась.

Зоя села. Потупила взгляд на вышитые крестиком букеты на скатерти и успела пролепетать только:

— Да я, в общем-то...

Панкратова милостиво кивнула:

— И правильно сделали! Это сплетница, каких мало. Бедный Кренделев из кожи вон лезет, чтобы ей предоставить наряды, парикмахерш, маникюрш. Тряпка, а не мужчина. «Нюточка привыкла!»! А Нюточка эта на самом деле служила подавальщицей в профессорской столовой. Там она — «привыкла!»! — к нарядам и прочему — на профессорских женах... А липстик не забыли?

И снова Зоя не успела вставить ни слова. Только кивнуть.

— Вы здесь поосторожней. Если не будете осмотрительны, то и глазом не успеете моргнуть, как наживете врагинь. Это же клубок змей!

Она вывернула патрончик. Глаза блеснули.

— Да, цвет интересный. Интересный цвет.

— Дьябль роз.

— Это так называется? Да, Франция — родина роскоши. Но естественная красота важнее! А что еще у вас есть?

Зоя потянула из-за пазухи трикотажный рукав. Панкратова трещала:

— Я не сплетница, мне можете верить. Они вам задерут носы по первости. Каждая ведь видит уже себя маршальской женой. Ждет не дожидается, что уж ее-то супруг первым выбьется. Я не такая... Это шелк?

— Это натуральный шелк.

— А посмотреть поближе?.. Хороши будущие маршалы! Этот Журов, с которым они тут все носятся. Он ведь содержит две семьи, представляете?

Насладилась эффектом.

Потом стала щупать материю.

— Примерять можно?

— Пожалуйста.

Панкратова ушла за ширму.

— Любовницу? — удивилась Зоя, стараясь не выдать свое смятение и особое любопытство. Из-за ширмы слышался шорох снимаемой одежды. — А жена что?

— Которая? — отозвался голос из-за ширмы. — Они обе — жены.

— Как такое может быть?

— А в неразберихе лет десять тому назад и не такое было можно. Все еще было такое путаное: то ли отменили церковный брак, то ли нет, то ли записаться достаточно, то ли надо разводиться, то ли можно самим разойтись. Вот и вышло... Причем с той, первой, он вовсе не порвал — деньги посылает. У него же там ребенок! Дочь! Вы представляете, сколько ему денег на это надо?

Зое не понравилось углубление в тему. Ее наряды, ее духи, ее чулки тоже были куплены не на зарплату скромной служащей Смольного.

— А куда смотрит партийная организация? — спросила она.

— А туда и смотрит. В окно, наверное. Игнорирует сигналы.

Из чего следовало, что часть их испустила сама Панкратова. Она вышла. Надув губы, попыталась заглянуть себе за плечо.

— Вам идет.

— Вам в вашем положении такой все равно уже не нужен. Не скоро понадобится, — поправилась она. — А может, и вообще не понадобится; многие так полнеют. У нас этого добра, к счастью, нет. Детей в смысле. На спине не морщит?

— Нет.

— Это вы, может, так говорите. Чтобы только сбегать мне этот джемпер.

Зоя хотелось сказать: «Не хотите — не берите». Но при мысли о рынке ноги протестующе загудели. Хотелось лечь.

— Сбросите цену? — пристала Панкратова. — И сойдемся.

Сняла с плеча невидимую нитку.

— Джемпер-то очень не новый. Этот Журов всем им глаза застил. Отличник, «золотая голова». Так мозги им, дуракам, запудрил. Только не мне! Меня не обманешь. Меня никто не проведет. Этот их Радзиевский, красавец так называемый писанный... Хлюст, на мой вкус. Вы его видели? Тоже, скажете, красавец?

Зоя помотала головой.

— Я не видела.

— Ничего не потеряли! Уж не знаю, откуда эта репутация красавца. И тоже... Я беру.

— По бабам бегают?

— Бабы сами по нему бегают. Только зря это. Толку от него — нуль.

— Импотент?

— Хуже. Помешан на книжках. И главное, покупает — какие-то все грязные, старые, рваные. В Питере он на развалах книжных так и пропадал. Несет рвань какую-то, будто драгоценность. Я как услышала, сколько он за эту дрянь заплатил, так чуть на месте не упала. Не буду вас даже и пугать — в вашем положении. А сам сияет. Ну в своем ли уме? Спорю: он их не читает даже. Нет, такого и даром не надо! Еще и бегать за ним? Увольте. А по бабам бегают — это Тихонов. И липстик этот тоже возьму. Для смеха разве.

— По бабам?

— Я-то ему сразу показала, что здесь ему ничего не улыбнется.

Тонкие губы решительно сжались, как будто развратный курсант Тихонов уже стоял здесь, спустив брюки.

— Известного сорта бабы. С его-то внешностью... Ничего не поделаешь, приходится за удовольствия платить. Даром он никому не нужен. Разве только в Луна-парке, в цирке. А Ниорадзе! Душенька, только я вас уболтала!

— Нет-нет.

— Я же только чтобы вас предупредить. По-дружески. Я возьму и липстик, и джемпер. Вы сколько за них хотите? А потом я вам о Ниорадзе этом расскажу. И про остальных тоже. А то вам сплетницы наши потом законопатят уши. А вам нужна правдивая взвешенная картина. Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Да-да, я между прочим, тоже интеллигентная. Я вам эту картину предоставлю.

— И липстик тоже продали уже? Ну входите, входите же.

Анюта Кренделева быстро высунула голову в коридор. Повертела направо, налево — не видел ли кто.

И, заперев дверь, обратила расстроенное личико на Зою. Ротик пополз в сторону: киса, казалось, вот-вот всхлипнет.

— Но мне так хотелось липстик. — Топнула ножка. — Эта дылда Панкратова. Вобла облезлая. Зачем ей липстик? Зачем вы к ней пошли? Ее ведь ничего уже не украсит. А туда же. Все свихнулись точно с этими бегами. Как бы вырядиться. Других уесть. Только ей ничего уже не поможет!

— Я не знала...

— Что ее муж пьет? Да-да, он пьет. Страшно пьет. Я вообще удивлена, что эта уродина нашла чем заплатить. Он ведь просаживает все! Он ведь не просто пьет. Я, мол, не алкаш, говорит — я гурман.

Зоя покраснела. В узелке у нее булькала бутылка коньяка — плата за липстик и джемпер. Панкратова долго рыскала под кроватью, потом за кроватью, потом в столе, потом за шкафом — и, наконец, лицо ее озарилось торжеством: выудила за горлышко. Видимо, схрон товарища Панкратова. Семейная ссора была неизбежна.

А Кренделева возбужденно перечисляла:

— Шампанское, коньяки, американский виски — замашки у товарища Панкратова самые буржуазные. А только это ничего не меняет: алкаш и есть! Вы только не подумайте: я не сплетница! — всплеснула ручками изящная Анюта. — Я вам правду говорю. Предупреждаю по-дружески. С такой-то супругой запьешь. Он пьет — вот она и зла на весь свет. Обо всех собирает и рассказывает гадости какие-нибудь. А еще что-нибудь у вас осталось?

Зоя спохватилась, завозилась, теребя свой узел. В нем клякнуло стекло о стекло.

При виде граненого флакона с французской надписью хорошенькие голубые глазки хищно блеснули.

Стук молотков оглушал. Дерево отзывалось звонко, вибрацию досок при каждом ударе Зайцев чувствовал ногами, ушами, всей поверхностью мозга, с которого будто сняли черепную крышку вместе с кепкой.

Шум, однако, несколько не беспокоил товарища Баторского. Ноздри трепетали. От улыбки роскошные усы приподнимались, жили своей жизнью.

Среди большого пустыря быстро выростала конструкция. Уже можно было различить очертания трибуны. На ярком солнце свежие доски слепили. Один из рабочих стащил через голову потную рубаху, показал поросль под мышками, на груди и снова влил свое в общее: бам-блям! Бам-блям!

— Бутович? — переспросил Баторский, будто в этом грохоте ослышался. — Я полагал, вы Жемчужным интересуетесь.

— Им я тоже интересуюсь. В свою очередь.

— А что — Бутович?

— Я тут справки навел... Интересная фигура.

Баторский бросил на него быстрый пронзительный взгляд. Но тон Зайцева был так прямодушен, глаза глядели на плотников так простодушно, что Баторский все же кивнул.

— Не скучная, нет.

— Товарищ Баторский, мне жарко, вы, я вижу, тоже заняты. Давайте не будем польку-бабочку друг вокруг друга танцевать.

— Мне нечего вам сказать, товарищ Зайцев. Я Бутовича не имею чести знать близко.

— Вот как? Бутович у вас служит, а вам так прямо и сказать нечего?

— Он направлен по распоряжению товарища Буденного. По личному распоряжению товарища Буденного, — веско добавил Баторский. Не требовалось договаривать: «А я умываю руки». Симпатии в голосе Баторского слышно не было.

— Интересно как. Бывший царский офицер...

— Я тоже бывший царский офицер, товарищ Зайцев, — ощетинился Баторский.

— Ваша-то биография поди не так красочна.

— Я в биографы господина Бутовича не набиваюсь.

— Я тоже нет. У меня бескорыстная любовь к человеческим курьезам.

Баторский явно напряг спину, шею, плечи. Глаза не моргали. Глаза опытного картежника. «Да, Умный Ганс бы сразу смекнул дело», — отметил Зайцев.

— Бывший офицер. Бывший коннозаводчик. Бывший глава Рысистого или какого там общества. Бывший издатель журнала о рысаках. Бывший миллионер. И вот поди ж. По личному распоряжению товарища Буденного.

— Так точно. И разговаривать об этом не вижу смысла.

— Почему?

— Приказы не обсуждаю.

— Понял, — кротко согласился Зайцев. Завизжало сверло. — А чего строят-то?

Баторский глянул на него удивленно.

— Вас никто из мальчиков, хотите сказать, до сих пор не пригласил?

— Да. Я сам удивляюсь. Думал, за это время я им всем уже как родной.

— Я приглашаю. Наши бега. Приходите. Сами увидите.

— А кто с кем состязается?

— Все со всеми.

— Что, и рубль поставить можно будет?

Баторский выдержал великолепную паузу. Зайцев оценил: обычный человек от такой паузы успел бы превратиться в ледяной столб.

— Мы. Здесь. Не играем.

— Я так и подумал, — охотно согласился Зайцев. И подумал: «Мальчики. Нельзя, значит. Мальчикам».

Над уже готовой трибуной принялись натягивать транспарант. Большой, как парус, он бросал на потные головы рабочих благодатную тень. Может, поэтому они не особо торопились. Полотнище опадало, вздувалось.

— Здесь вам не городской ипподром, — рубил Баторский. — Они курсанты. Цель забега — показать успехи учебного процесса. И новый состав лошадей.

«Кому?» — Внимание Зайцев запнулось. Голос остался добродушным:

— Да я не спору. Просто слово уж больно вы странное выбрали.

— Которое?

— Мальчики. Хороши мальчики. Кадровые военные. Дядьки усатые. С женами, детьми, служебными продуктовыми карточками и жилплощадью. А вы — мальчики.

Сзади неслышно подошел адъютант.

В руках у него был серебряный подносик. На подносике стоял стакан. В стакане — чай. Зайцев даже не знал, что из этого меньше отвечает ситуации — подносик ли в огромных лапах или чай в такую жару. Или само наличие адъютанта. От всего этого веяло откровенно старыми привычками. Товарищ Баторский — вернее, господин Баторский — не собирался их слагать и став красным командиром. Даже делал это напоказ.

Баторский тотчас осведомился:

— Вам, может быть, тоже чаю? Возьмите мой.

Передал чашку на блюдце. И не оборачиваясь, не повышая даже голоса, распорядился:

— Иващенко, еще чашку.

— Сию секунду.

Мысль о том, чтобы сейчас взять в руку горячую чашку, казалась Зайцеву невозможной. Он взял чашку. Из нее дышало жаром. Но еще и глотнуть огнедышащую жидкость? На его лице, видимо, это отразилось. Потому что Баторский чуть улыбнулся. Даже смягчился.

— Я служил когда-то в Туркестане. На жаре именно горячее питье помогает лучше всего, — посоветовал он. — А что до мальчиков... Вы

не преподаете, товарищ Зайцев? В какой-нибудь милицейской школе, или что там у вас?

— Я и не учился-то нигде особо. Не пришлось.

Баторский кивнул, словно и сам нигде не учился.

— Тогда вам труднее представить ту связь, что возникает между преподавателем и учениками. Они для меня всегда — мальчики, — голос его окрасился нежностью.

— И двоечники тоже?

Баторский глянул на него. И вдруг громко захохотал.

Иващенко уже стоял позади с другой чашкой. Тоже дымящейся. Будто возник из-под земли — доставил горячее питье напрямик из раскаленных недр. Или ада. Терпеливо ждал, когда залп начальственного хохота иссякнет.

— И они.

Баторский крякнул, выдавив последний смешок. Не глядя, вдел палец в фарфоровое ушко. Другой рукой взял с подноса ложечку. Размешал сахар.

— Позвольте. — Зайцев быстро перехватил его ложечку — прямо из чашки. На лице Баторского отразилось легкое недоумение. Показал, что амикошонство его покорило, — не показал даже, он для этого был слишком хорошо воспитан, только обозначил. — Идиллия какая, — сказал Зайцев, когда адъютант отошел. — Слуга царю, отец солдатам.

Ложечку он держал за самый кончик.

— Вы мне не верите? — дрогнули усы. — Поверьте. Потому что в этом мало идиллического. Как между родителями и детьми.

Ложечка в чашке Зайцева остановилась.

— Видите ли, родители должны отдавать — даже если детям это не нуж... не всегда нужно. Или они думают, что сейчас не нужно. Даже если потом они выпорхнут из гнезда...

Зайцев тихо вынул ложечку. За самый-самый кончик.

— И потом будут презирать это гнездо: слишком тесное, слишком старое.

Ложечка скользнула Зайцеву в карман, будто не весила ничего.

Транспарант хлопнул, натянулся. Баторский поднял лицо, Зайцев тоже. Два усача — Сталин и Буденный — косо и плоско реяли в

жарком, будто выцветшем небе. Молотки, сверла разом смолкли. Стало слышно, как высоко-высоко в небе поет жаворонок.

* * *

— Почему же это вас так удивляет? Вы же распорядились. И вот. — Зоя подняла листки. — В трех экземплярах. Полная статистика скота по району.

Зайцев изобразил улыбку.

По крайней мере, в этот день он знал наверняка, где она была: проторчала в конторе ГПУ за пишмашинкой.

— Спасибо. Очень помогли. В самый раз. — Он свернул листки в трубочку, сунул в карман. — А теперь сделайте, пожалуйста, в сравнении по Союзу. В трех экземплярах. — Зоя сжала губы.

Увязалась за ним в коридор.

— Товарищ Зайцев.

— Товарищ Соколова, вы направлены сюда мне в помощь. Вот и помогайте.

Он прибавил шаг, Зоя перешла на рысцу.

— Я помогаю! Я хотела вам рассказать... Я как раз узнала... Курсанты... Там многое наводит на мысли...

Она стала задыхаться на бегу. Ему стало ее жаль. Он остановился.

— Товарищ Соколова.

— У Журова две семьи, — выпалила Зоя. — Вы знали? Он обе содержит. Радзиевский скупает раритеты у букинистов. Панкратов увлекается выпивкой, самыми дорогими напитками. А...

— Вы, Зоя, нахватались сплетен, даже никуда особо не выходя. Я гляжу.

— Но... А это у вас что?

Она заметила в руках у Зайцева небольшой пакет в вощенной бумаге.

— Улики, — просто ответил Зайцев.

— Улики?

Но он уже пустился чуть ли не бегом.

— Скота! По всему Союзу! В трех экземплярах!

Косоглазого заместителя он застал врасплох.

— Товарищ Емельянов еще не вернулся! — заверещал зам. Зазвенева, подпрыгнула, стукнулась, снова подпрыгнула на полу пилочка для ногтей.

В один миг Зайцев представил косоглазого за маникюром. Ощутил тупой укол тошноты. Проглотил.

— Не могу сказать, когда будет! — верещал тот.

Зайцев положил пакет из вощенной бумаги ему на стол. Один глаз уставился на пакет, другой — в стену.

— Запечатайте как совершенно секретное. И наискорейшей доставкой — в Ленинград. В угрозыск.

— Вы не имеете права, здесь другое ведомство...

Зайцев вынул заветную бумажку с лиловыми розами ведомственных печатей, сунул в тот глаз, что смотрел прямо.

— Ведомство у нас теперь одно и то же. Потрудитесь, дорогой товарищ. А потом снова занимайтесь своими когтями, сколько пожелаете, — не удержался он.

— У нас нет такой возможности.

— У вас есть такая возможность. Она называется Новочеркасский военный аэродром. Видите, я и это знаю, — веско проговорил Зайцев и не преминул повторить: — Ведомство же у нас одно.

От этих слов фигура в кресле будто пожухла.

— И пусть ваш помощник соединит меня немедленно с ленинградским угрозыском по телефону. Немедленно.

Глава 12

— Товарищ Артемов?

Старый кавалерист странно смотрелся на лестнице ГПУ: дородная роскошь бывшего купеческого особняка сразу стала какой-то дряблой и грубой, а лица пробежавших мимо сотрудников — похожими на бельевые пуговицы. «Сам пришел», — почти изумился Зайцев. Как дикий зверь, который сам пришел в зоопарк. Дикий, но загнанный. Лицо замкнутое. Мешочки под глазами пожелтели. Рот запал. Вдруг стало видно, как он стар.

— Товарищ Зайцев.

Артемов снял фуражку. Вдруг стало видно, что он полностью сед.

— Идемте, — сказал за него Зайцев и взялся за перила.

Артемов не двигался.

— Поговорим уютно. В интересах следствия.

Артемов медленно двинулся за ним, прямо неся стан.

Зайцев не ошибся. В новочеркасском ГПУ, как в любом советском учреждении, нашелся свой красный уголок. Как в любом учреждении, он занимал дальнюю комнату в коридоре. Как в любом учреждении, пустовал. И никогда не был заперт — тоже как везде.

На них дохнуло пылью старых газет и папок.

Зайцев заметил стенгазету: «Разорим кулачье логово!». В комнате пахло немывтыми ногами. От запаха Зайцеву стало тошно. Не противно — обитатели ленинградского дна, с которыми их бригада имела дело чуть не каждый день, да и обычная очередь обычных граждан в винный магазин тоже не благоухали. Но просто стало тяжело, беспокойно и мутно. Будто вот-вот и прямо здесь должно случиться что-то особенно отвратительное. Вероятно, этим чем-то был предстоящий разговор.

Зайцев сел.

Артемов сидел перед ним. Прямой, как всегда. Прямее стула, на который уселся без приглашения, заложил один лакированный сапог за другой — сапоги лизало длинным языком солнце.

Зайцев передвинул свой стул в тень.

Артемов слушал его молча. Время от времени опуская глаза на нечистый стол, там и сям изрезанный скучающим перочинным ножичком — красный уголок местного ГПУ и этим не отличался от других.

Другого Зайцев и не ждал.

— Нельзя ставить людей в безвыходное положение, — заключил он.

— Вы думаете? — неожиданно отозвался Артемов.

— Опыт. Загнанные в угол обычно не ломаются. Они нападают. И этот скорбный для гражданина Жемчужного день пришел.

Артемов помолчал — как бы ожидая, не скажет ли Зайцев еще чего.

Ждал и Зайцев.

— Этого теперь достаточно для ареста? — презрительно произнес Артемов.

— Нет, — честно признался Зайцев. — Для ареста этого недостаточно.

Артемов двинул сапогами.

«Сейчас встанет и уйдет», — подумал Зайцев.

Но Артемов просто заложил заново ногу на ногу. Не привык подолгу сидеть в одной позе. «Не кабинетный», — отметил Зайцев.

— Да уж. Товарищ Зайцев. Только поверхностные люди не судят по внешности. Знаете, кто это сказал?

«It is only the shallow people who do not judge by appearances», — непроизвольно повторил голос у Зайцева в голове, голос из воспоминаний, которые он тотчас отогнал, как туман, который мешал ему видеть худощавое лицо Артемова.

— А впрочем, откуда вам. — Артемов выудил папиросы.

— Товарищ Баторский, что ли? — попробовал угадать Зайцев.

Как ни мало радовал его весь этот разговор, Артемов саркастически двинул уголком рта: улыбка. И ты, Брут. Зайцев был несколько разочарован. Даже умные люди были бессильны перед чувством собственного превосходства — и делали глупости; поразительно, как легко это работало.

Артемов снизошел до ответа:

— Товарищ Уайльд. Оскар Уальд.

Пересолить в этой игре было невозможно, и Зайцев подсыпал намеренно простодушным тоном:

— Иностраннный специалист?

— Вроде того.

Зайцев кивнул.

— Молодец товарищ Уайльд. Здорово формулирует. Вот и я тогда подумал: а может, зря я турысы на колесах развожу? Что, если мое первое — самое внешнее — впечатление и есть самое правильное?

— И какое же было ваше первое впечатление?

Зайцев чуть не ляпнул: «Тридцать три богатыря», но вовремя затормозил. Ученый мильтон был сейчас на сцене ни к чему.

— Дружный сплоченный коллектив. Строй. Я подумал: непросто будет разложить его на отдельных индивидов.

— Боже...

— Что?

— Какие словечки у вас смрадные, — снова дернул углом рта Артемов. Выговорил брезгливо: — Индивиды...

— А как надо?

— Личности! Личности, товарищ Зайцев.

Папиросы лежали перед ним. Но он опять шарил по карманам. Рука замерла, словно вспомнив что-то.

— Виноват. А пепельницу мою, ее вы стибрили — тоже в интересах следствия? Или как оно у вас называется?..

— Тоже, — выдохнул Зайцев. — В этих самых интересах.

— И возвращать не собираетесь? Я так и подумал. Ну что ж. Я не в обиде. Считайте, это был мой небольшой вклад в вашу работу.

Он закурил. Кивнул сквозь дым.

— Так что там с личностями? Продолжайте, не стесняйтесь. Я большой охотник до теорий.

Зайцев смотрел ему прямо в глаза. Вот они старческими не были: цвет их был по-молодому чист, а блеск выдавал настороженность, собранность.

— Вот тут-то и вышла картина ясная. Все детальки сразу встали на свое место. Все курсанты нуждались в деньгах. Но каждый на свой манер. Личности хоть куда!

Зайцев принялся загибать пальцы:

— Один пьет богато. Не водку трескает — иностранные коньяки, вина. Богато пьет... Денег прорва нужна. У другого, говоря словами поэта, кокаина серебряной пылью все дороги замело. Тоже недешево. Вдобавок покупать его где-то надо, кокаин этот. Чревато знакомством с разного рода непотребной публикой. Проститутками, беспризорниками. Не лучшая характеристика для будущего маршала.

Артемов двинулся на стуле, будто опять хотел переменить позу, но раздумал.

— Товарищ Давыденко, — сказал он, дернув челюстью, будто проглотил лишний согласный, — должен был употреблять морфин после тяжелого сабельного ранения.

— Должен был перестать.

— В вашем справедливом мире, товарищ Зайцев, — возможно. Только не хотел бы я жить в вашем справедливом мире.

— Это чем же вам мой мир не нравится?

Снова Артемов как будто проглотил согласный. В остальном лицо его было спокойно.

Зайцев продолжал держать перед ним растопыренную пятерню.

— Третий — с женщинами нетрудового поведения общение поддерживает. Тоже влетает в копеечку. Четвертый — книжки антикварные скупает. Пятый — в картишки перекидывается, причем хорошо так, по-крупному. Продувает вот только. Шестой... — Он остановился. — Да тут и пальцев не хватит, товарищ Артемов. Но нам столько не надо. Нас один интересует. Который с женами своими все разобраться никак не может. А тем временем обе семьи содержит. Благородно. Но никакого жалованья не хватит. Это ведь его вы тотчас потащили из-под удара — выдумали эту Сиверскую.

У Артемова дрогнули желваки.

Гипсовый Ленин смотрел на них добрым понимающим взглядом.

— Вам бы шаржи в стенгазету сочинять. Под рубрикой «Нравы», товарищ Зайцев.

— Само собой. И вам обоим — вам и товарищу Баторскому — происходящее в ККУКСе очень не нравилось. Вот история-то: ваши мальчишки — и так вляпались.

Тот хмыкнул:

— Вас послушать, так гнездо разврата.

— Зачем же так сразу, — дружелюбно поправил Зайцев. — Книжки — это хорошо. Да и жена-модница с любым человеком приключиться может. Даже честным. Соблазны — вот правильное слово. «Соблазны большого города» — ваши собственные слова. Верно? Я вначале не придал им значения. Подумал: жалобы немолодого человека. А потом понял вас. После деревень да провинциальных гарнизонов, маршей да военных лагерей ваши курсанты попали в Питер. Многие — впервые в жизни. Большой город. Не каждому по силам.

Артемов уронил столбик пепла, смахнул рукавом.

— Тут-то и нарисовался к услугам ваших курсантов, ваших мальчиков товарищ Жемчужный. Всегда готовый ссудить под грабительский процент или шепнуть, где взять деньги. Только второе еще хуже. Потому что напрямик вело на тотализатор ленинградского ипподрома. А там бедного юношу со взором горящим уже принимали опытные граждане жулики.

— Так-так.

— Вначале я подумал: когда прижало крепко, отлично все курсанты смогли преодолеть личностные и классовые противоречия. Разумеется, в этом деле понадобился лидер. Вожак. Потом я подумал...

— А вы, оказывается, мыслитель, товарищ Зайцев. Вы им и вождя назначили?

— Вот принято говорить: материнский инстинкт. Мол, мать всегда ринется на защиту своего дитя, презрит опасность, нападет на хищника, который крупнее ее самой, — ну знаете. Так вот. Мне как раз случилось понаблюдать в последнее время в условиях жизненных. Подумать над вопросом, так сказать. И знаете, что я понял? Отцовский инстинкт, он не хуже материнского будет. Злая штука — инстинкт этот отцовский. Вот что я понял, товарищ Артемов. Биология с ботаникой здесь совсем ни при чем. Мол, папаша свое собственное потомство будет защищать и кормить. Ерунда. Даже и вовсе чужого ребенка защищать ринется, будто собственного сына, если жизнь столкнет. Наладит, так сказать, между ними связь того или иного рода. Например, связь между учителем и учеником.

Зайцев умолк. Молчал и Артемов. Зайцев не торопился с ответом.

Папироса Артемова, поплясав в губах, наконец, повисла в углу рта. Зайцев ждал. Косые лучи солнца казались ему натянутыми от напряжения.

Артемов проглотил согласный. А потом холодно резюмировал:

— Ваша теория, стало быть, такова, что я его прихлопнул. Жемчужного.

— Его убили. Это факт.

Артемов кивнул.

— Дрянной был человек — с этим не спорю. Беда, если такой попадетя молодому человеку на пути. Присосется, как клещ.

— Испортит карьеру. Будущему маршалу. Мальчику. Любимому ученику. А впрочем, и ученик-двоечник — все равно дорог.

Зайцев нарочно подбирал те самые слова, что произносил Баторский. Что сам Артемов произносил.

Артемов поднялся. Вставил папиросу Ленину в ухо, затушил.

— Доказывайте, что хотите, товарищ Зайцев. Нюхайте, ищите, выдумывайте. А я разговор с вами поддерживать отказываюсь.

Зайцев смотрел Ленину в гипсовые глаза. Заговорил, не оборачиваясь, — только слушал шаги Артемова, движение воздуха.

— Но ведь вы сами пришли сюда, товарищ Артемов. В ГПУ. Вы меня искали. Вы хотели сами все рассказать. Не так ли?

Движение остановилось, слышал Зайцев. Может ли офицер бесшумно вынуть пистолет? Там, на лестнице, он не обратил внимания — был ли у Артемова на боку пистолет.

Сама спина его тоже, казалось, обратилась в орган слуха.

Дверь хлопнула. Зайцев вскочил. Поздно. Пусто. В лучах солнца плясала золотая пыль. В ухе Ленина торчал смятый картонный патрончик.

— Черт!

Холеные кавалерийские сапожки обладали способностью не только звонко печатать шаг на плацу. Когда надо, их владелец двигался бесшумно, как кот.

Зайцев ринулся вон. Открывшаяся навстречу дверь махнула прямо перед носом — за полсекунды до удара в лоб.

Зайцев изумился бы меньше, если бы увидел привидение. Неуловимый товарищ Емельянов собственной персоной. Огладил щетку на темени, заглянул Зайцеву через плечо и спросил:

— А товарищ Артемов где? Мне доложили, что вы его перехватили.

«А с вами что?» — чуть не вырвалось у Зайцева. Вид у товарища Емельянова был больной. Лицо пересекала свежая ссадина, а рука, превращенная с помощью бинта в небольшой тугий кокон, висела на перевязи. Сквозь бинт проступало ржавое пятно.

Зайцев старался на нее не смотреть.

— Он вышел, — ответил он. Так у них здесь принято отвечать.

— Что за ерунда. Товарищ Баторский специально его ко мне направил. А я тут за ним теперь бегай!

— Тов... Направил сам? Так Артемов приходил к вам? — не удержался Зайцев.

Черт! Черт!

— Ну да... по делу. Особому.

Ленин отвлек его.

— Засранцы. Уже нагадили.

Он выдернул окурок из гипсового уха. Бросил на пол. Качнул коконом.

— Товарищ Зайцев, какова ваша огневая подготовка?

— Умею ли я стрелять? — удивился вопросу Зайцев.

— Да.

— Да.

Емельянов вытаращился на него. Потом понял.

— Манера говорить у вас... спартанская. У вас в Ленинграде так все говорят? — Вздохнул. — Идемте со мной.

Зайцев шагал с ним по коридору. Только они двое и шли — все остальные бегали. В воздухе висело хаотичное напряжение разворошенного муравейника.

— Мои карточки... — начал Зайцев.

— Я помню про ваше пропитание, — хмуро подтвердил Емельянов. — Уладим.

Вышли во двор.

Телеги стояли, как в то утро, когда кавалькада отчалила. Только пулеметных ножек на них не было. Были ноги: человеческие ступни торчали из-под рогожи и были несомненно мертвы. Зайцев загляделся. Двое гэдэушников заталкивали в дверь избитого — Зайцев заметил только казацкие лампы.

— Идемте, товарищ Зайцев, — позвал Емельянов.

Боковой вход вел в подвал.

Зайцева охватил озноб. Прежний купец-владелец, очевидно, устроил здесь ледник. Сухой холод вьелся в стены. Желтенькая лампочка под потолком превратила лицо Емельянова в рожу вурдалака. Он отпер ключами дверь-решетку.

Ледника давно не было. Теперь здесь устроили оружейный склад. Винтовки вытягивали длинные твердые шеи. Тускло блестели пистолеты. В коробках наверняка патроны.

Товарищ Емельянов вынул из шкафа наган.

Перехватил за ствол — передал Зайцеву рукоятку. Зайцев не спешил его брать.

Емельянову не понравилось замешательство.

— Нам нужна ваша помощь. Нам вся имеющаяся человекопомощь сейчас нужна.

На один безумный миг Зайцеву показалось, что товарищ Емельянов сейчас попросит его — как гостя — расстрелять того несчастного, в лампасах. Того или другого. Любого. Прямо здесь, в подвале.

— Ведомство у нас теперь одно, не так ли, товарищ Зайцев?

— Товарищ Зайцев сам это знает, — донеслось с лестницы. — Не устает повторять.

Так и есть: косоглазый заместитель товарища Емельянова. Успел дать шефу полный отчет.

— Отлично, — отозвался Емельянов. — Мы все должны защищать жизнь и покой советских граждан, — добавил он невыразительно. — Я вам на месте все расскажу. Вам и другим. Чтоб по сту раз языком не молотить.

Он и правда еле ворочал слова. Вытер лицо ладонью, как будто снимал липкую паутину и знал, что это не поможет.

Только сейчас Зайцев разглядел, что темные мешки под его глазами и впалые щеки не были игрой подвальных теней. Товарищ Емельянов очевидно плохо ел и спал несколько последних ночей. Если вообще ел и спал. Лицо было блеклым, больным.

На солнечном дворе Емельянов жмурился и морщился: у него явно болела голова.

— Какое дело? — замедлил ход Зайцев.

— После. Там.

— Вы же чекист, — ехидно напомнил заместитель.

— Я милиционер, причем ленинградский.

Заместитель уже криво разинул рот, но шеф придержал его квадратной ладонью.

— Помогите, — коротко бросил Емельянов.

Первым залез в черный автомобиль. Плюхнулся, скрипнуло. Отмахнул круг рукой Зайцеву. Тот обошел, открыл дверцу. И опять почувствовал запах невымытых ног. Как будто под кожаными американскими сиденьями кто-то с зимы запрятал старые валенки.

— Полезайте. Ну что встали? У вас в Ленинграде что, машин не водится? — пригласил товарищ Емельянов. Зайцев поймал в зеркале глазки водителя — выжидающие, наблюдательные, две свинцовые капли. Они выдавали то, что Емельянов припрятал под своим дружеским тончиком.

По неподатливому взгляду Зайцева Емельянов, похоже, понял, что придется стравить нечто большее, чем просьбы о помощи или угрозы.

— Вы, приехав сюда и растрепав на вокзале, что из самого Ленинграда, в некотором роде сыграли роль живца. Город небольшой, молва быстрая, люди затаились опасные — тут и глазом моргнуть не успеешь. Знаете, что такое живец?

— В каком роде? — хмуро глядел через половинку пыльного стекла Зайцев. Другая половинка была выбита.

— Я вам всем изложу дело по порядку.

Зайцев перекинул себя на сиденье рядом с ним.

— ...И мы должны защищать порядок, жизнь, покой советских граждан! Нанесем удар по кулацким гнездам. Стальным советским кулаком! Каждым имеющимся человекостволом.

Ухабистая дорога встряхнула товарища Емельянова. На этот раз в голосе Зайцев услышал и энергию, и злость, и даже некоторое самолюбование.

Колыхались флажки, которыми была размечена беговая дорожка. По двум усачам на транспаранте, Сталину и Буденному, пробегали легкие волны, надувались и опадали пузыри — политически неграмотный ветерок заигрывал с вождями. Повязка товарища Емельянова ослепительно белела на солнце. Матово блестела

портупея. Зайцев стоял чуть позади него, ему мучительно хотелось почесать лоб под кепкой. Он спохватился, что сам-то вообще никакой не строевой кадр. Команда «смирно» к нему не относилась. Снял кепку, почесал лоб. Натянул снова.

Он все еще недоумевал, зачем он здесь. Зачем они все здесь. На лицах курсантов-кавалеристов — зернышки в ряд — не проступало ничего: ни тревоги, ни любопытства. Выражение выглажено дисциплиной. Глаза прямо, нос вздернут, рот сжат. Двадцать три богатыря, снова вспомнил Зайцев. Для чужака, извне — неотличимые в единении. Все как один. Вздымались пики усов Баторского. Зайцев нашел глазами Артемова. Тот смотрел прямо перед собой, как все — молодцевато и в никуда.

Речь товарища Емельянова так искусно подавала факты, что только опытное ухо могло их выщедить из политической трескотни. Факты эти очень не понравились Зайцеву. Где-то поблизости засела банда. И это было как-то связано со стрельбой, которой приветствовали их с Зоей приезд. И с мертвыми ногами в телеге во дворе ГПУ.

Товарищ Емельянов выпалил последние ядра:

— Классовый враг выдвинул ядовитое жало. Подавить кулацкий очаг. Пока он не раскинул террористическое пламя на колхозных землях. Это наш долг. Как людей с оружием в руках! Как советских людей! Как коммунистов! Как... — товарищ Емельянов замаялся — не мог придумать дальше. Махнул рукой, как бы оборвав замаявшуюся фразу.

Строй курсантов ответил неодинаково угрюмым выражением. У кого-то — с оттенком недоверия. У кого-то — скрытой насмешки. У кого-то опаски. Журов дернул подбородком. Больше ни движения, ни звука.

Еще залп — последний:

— Дадим кулацким бандитам коммунистический ответ!

Тщетно. Не зажег. От строя курсантов ККУКСа веяло могильным молчанием, гробовой неподвижностью.

Зайцев мог только гадать почему. Что слышали они в речи Емельянова, чего не слышал, не знал он?

Он тщетно пытался прочесть это в их лицах.

Их неподвижность грозила стать вечной.

— Что, бега не состоится? — вдруг прозвенел капризно голосок. Там, за свежесколоченной оградой, колыхался крепко надушенный шелково-крепдешиново-батистовый цветник: жены.

— Мы зря наряжались? — не унималась Аня Кренделева. Есть такие голоса, слабые и милые, которые способны звонко перекрыть любое расстояние и любой шум, как флейта-пикколо — симфоническое тутти. Забор им тем более не помеха.

Товарищ Емельянов слегка клацнул челюстью.

Кренделев сжал губы. Кто-то не выдержал — ухмыльнулся.

Тотчас издалека грянул хор жен — нестройный, возмущенный:

— Откроют трибуну или нет? В чем дело, товарищи? Ну и манеры. Я близка к обмороку, солнце так и бьет, мне надо в тень... Что случилось? Провокация? Не говорите ерунды. Это свинство! Товарищи, ау! Бега отменены? Вражеская вылазка?

Косоглазый зам уловил движение головы шефа — тотчас согнул стан, наклонил мохнатое ухо.

— Уведите. Распорядитесь. Разъясните. Уладьте, — проскрипел сквозь зубы товарищ Емельянов. — Ну!

Косоглазый припустил, пыля, к ограде.

— Бега разве отменены? — спросил властно голос из строя. Баторский.

Товарищ Емельянов сменил тактику и тон.

— Это, товарищи, вам решать. Я вам приказывать не могу. По мне, так странно устраивать праздник, когда враг поднял голову. В округе выявлено затаившееся террористическое гнездо бывших белоказаков. Несколько семейств. На станице.

Зайцев уловил не то что вздох, пронесшийся по строю. Словно ледяной порыв: всех так и заморозило.

А товарищ Емельянов даже начал раскачиваться — с пяток на носки, с пяток на носки. Как будто это помогало выталкивать из нутра слова:

— Они не пожелали вступать в колхоз. В свое время. Укрыли от советской власти! Зерно и скот! А теперь замечены! В новой попытке!

— Так это они стреляли в нас с товарищем? — спросил Зайцев, смяв шуршащую газетой речь Емельянова. В тишине каждое слово звучало отчетливо. — Откуда вы знаете?

Строй слушал во все уши. Емельянов клацнул челюстью.

— Такие вещи знают! Вы не местный — вам не понять здешней ситуации.

Он снова обернулся к курсантам:

— Первая попытка уничтожить гнездо показала! Враг вооружен и готов к сопротивлению. Я вам приказывать не могу, — вдруг задумчиво добавил он. — Я могу только сказать от себя. Враг сильный и опасный. Нам нужна помощь надежных советских людей. Каждый штык, каждый ствол.

— Я прошу прощения, — подал голос Баторский. — Вопрос. По составу врага.

Товарищ Емельянов ободрился, кивнул, приглашая.

— Спрашивайте, товарищ Баторский. Отвечу с прямоотой.

Баторский глядел не на него — на своих курсантов. Мальчиков.

— А сколько в этом гнезде — детей?

Товарищ Емельянов потрогал себя за жесткую щетку волос.

— О детях этих врагов позаботится советская власть. Даст им шанс вырасти честными советскими людьми. А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят. Кулаку — раскулачивание. Бандитам и террористам — ответ по закону. Жалость здесь неуместна.

Зайцев проклял тот миг, когда полез в его дьявольский автомобиль.

— Кто готов. Добровольцы.

И опять ничего. Только легкомысленный ветерок обдувал лица, хлопал флажками.

«Что же мне делать? — думал Зайцев. — Не могу, срочный телефонный разговор с Ленинградом? Симулировать внезапный приступ падучей? Боже, какая глупость. Есть выход лучше?» Ум его тщетно метался.

— Ну-с, товарищи курсанты, — задумчиво обратился к строю Баторский. — Вот хорошая задача для красных командиров. Карательная операция. Задача по плечу. Женщины, дети. Кто видит перед собой врага, по которому стрелять, — шаг вперед.

Зайцев внутренне ахнул. Баторский дернул себя за ус.

— Но здесь не знаю, что и сказать. Товарищ Емельянов однозначно настаивает: перед вами враг.

— Кулак, — уточнил Емельянов. — И террорист.

— И о карьере вам своей подумать самое время, — задумчиво выговорил Баторский.

Взгляд его переходил от одного лица к другому. Как бы прощупывая каждого.

— Какая уж может быть карьера, если курсант уклоняется от выполнения долга каждого советского гражданина? — почти монотонно, словно читал лекцию, выговаривал он. — Военный человек должен исполнять приказы. И отдавать. И честь знать. Вот уравнение — решайте.

«Честь», «честь» — билось у Зайцева сердце. Глаза Баторского на миг обожгли и его («думает, что я заодно с ними» — Зайцева окатило стыдом). Вернулись на побагровевшее лицо товарища Емельянова.

— Добровольцы. Шаг вперед! — выкрикнул Баторский.

«Вот вам и будущие маршалы, — лихорадочно думал Зайцев. — Вот вам и мальчики. Но что делать — мне?» А при этом какой-то частью своего существа с любопытством ждал: что они выберут?

«А я?» Сердце его бухало. Пока речь о них. Но дойдет и до него. Бесчестие или карьера. Одна катастрофа или другая. Выбор был неотвратим, как смерть. «Но что выберу я?» — вглядывался в собственную душу Зайцев. На самое дно.

Казалось, даже ветер стих. Раскаленный миг все тянулся.

— Я...

Чеканным шагом вышел из строя Журов. Вздернул руку к виску.

— Товарищ Баторский, разрешите обратиться.

Рука застыла у виска. Армейский истукан.

Все замерли, если только была еще одна — следующая — ступень неподвижности у того паралича, в котором цепенел строй.

— Разрешаю.

Журов отмахнул руку вниз.

— Прошу позволения покинуть строй.

И добавил:

— Лошадь ждет — перегреется.

У Баторского дрогнули зрачки.

«Вот тебе и будущая звезда. Сорвалась и упала. Кончено», — только и подумал Зайцев.

— Разрешаю, — распорядился Баторский. С болью? С облегчением? Зайцев не успел понять. Журов крутанулся на каблуках.

— Я тоже, — щелкнул шаг из строя. — Прошу позволения.

Артемов. Журов бросил на него взгляд. Ученик учителю.

«Что ж ты делаешь», — успел пожалеть Зайцев. Но больше не успел подумать ничего.

— И я.

— Прошу позволения.

— И я.

— Я тоже.

— Выйти из строя.

— Разрешите покинуть.

— И я.

Пронеслось через всю шеренгу, через каждый рот. Что крестьянского сына, что дворянского.

Молчание Емельянова стало ватным.

— Добровольцев нет, — отчеканил и с фальшивым сожалением развел руками Баторский. — А приказ я отдать не могу, товарищ Емельянов. Надо мной товарищ Буденный. Я приказы лишь исполняю. За самоуправство меня под трибунал.

— Я уверен, что товарищ Буденный, когда узнает... — залопотал Емельянов.

Фигуры его зама, гэпэушных молодцов казались будто вырезанными из картона. Казалось, если ветер сейчас опять дунет, они опрокинутся. Их покатит, потащит в пыли. И все окажется сном. У Зайцева звенело в ушах. Он уже не знал: от голода, от жары, от всего?

Чуть не подпрыгнул:

Пам! Пам!

Откуда-то сверху разрывались пушечные хлопки — аплодисменты: пам! пам! пам!

Каждый хлопок тяжело падал с трибуны. Зайцев обернулся. Со скамьи медленно поднимался военный. Светлые глаза. Что-то неуловимо наполеоновское в холеном лице под фуражкой. Большой чин. Ладони ковшами: так лупили с галерки Мариинского театра петербургские студенты.

Пам! Пам! Пам! — уронил он еще несколько хлопков стоя.

Не спеша спустился по грубо сколоченным боковым ступеням, сошел с трибуны. Подошел.

Рот усмехнулся. Губы, которые обычно называют «капризно изогнутыми». Рот баловня судьбы, любителя и любимца женщин.

Глаза холодно осмотрели строй.

— Цирковое представление окончено, я полагаю.

Зайцев его узнал. Тухачевский. Совсем недавно был командующим Ленинградским военным округом. А потом? Зайцев не знал: видимо, Тухачевский взлетел так высоко, что взгляды простых смертных туда не добирались.

Тухачевский перевел взгляд на Баторского.

Тот отдал честь.

— Здравствуйте, товарищ Баторский.

— Здравия желаю.

— Товарищи.

Тухачевский заложил руки за спину. О сходстве с портретами Наполеона — только не обычными, а парадными, льстивыми, сам Тухачевский, похоже, отлично знал.

— Товарищи курсанты недовольны, что там окопались женщины и дети, — поспешил с объяснением Емельянов.

Зайцев его тут же возненавидел. Но отчасти и пожалел; в голосе Емельянова он слышал: такой роскоши, как милосердие к женщинам и детям, ему, Емельянову, по должности не положено. Не по чину. Не то бы он, Емельянов, так пожалел, он бы утопил в своей жалости этих кулацких женщин и детей...

— Враг может принимать любое обличье, товарищ Емельянов, — величаво и безразлично заверил Тухачевский нисколько ему не интересного провинциального гэпэушника.

А смотрел — на курсантов.

— Уничтожать врагов советского строя — первостепенная задача Красной армии.

Слова веские, как ледяные глыбы. Такой не заорет, сапожками не застучит.

Его, в отличие от Наполеона, рост не подвел — будущим портретистам не придется приукрашивать.

— Очень жаль, товарищи, — неторопливо выговаривал Тухачевский. — Что такие вот настроения проникли в кадровый оплот Красной армии — Высшие командирские курсы. Очень жаль.

«Барский голос», — отметил Зайцев. Прозрачные глаза несколько задержались на Зайцеве — уделили миг человеческой мошке, не вполне понимая, что гражданский тип здесь делает. Зайцев встретил его взгляд, понял: «Ничего тебе не жаль. Никого и никогда». Скользнули дальше.

— Примечательно, что из всех подразделений ККУКСа подобное имеет место не на артиллерийских курсах. Не на химических. Не на штабных. Не на авиационных. Не на бронетанковых. А именно кавалерийских. Не удивлен. Род войск, который доживает свои последние дни перед тем, как уйти в историю.

— Славную историю, — расцепил губы Баторский.

Тухачевский обернулся.

Ответил не сразу — и глядя несколько мимо Баторского:

— Могу только догадываться, откуда, от кого эти настроения проникают в будущий комсостав Красной армии.

Тон говорил, что догадки здесь ни к чему: кто заражает будущий комсостав, он, Тухачевский, был уверен.

Глаза его снова морозили курсантов.

— Только настроения ваши никому не интересны. Приказ есть приказ. За неповиновение — трибунал. Надо будет — весь курс под трибунал, под расстрел пойдет.

Он остановился напротив Журова.

— Не сомневайтесь. Это армия. Незаменимых нет.

Но голубые глаза спокойно смотрели в ледяные серые.

Журов снял фуражку. Движения его были спокойными, плавными. Зайцев знал эту подчеркнутую плавность у ленинградских бандитов. Она предвещала единственное и неизбежное развитие событий. «Сейчас даст ему в морду», — на миг ахнул он.

Но Журов не размахнулся. Не сунул коротким жестом кулак в живот. Не боднул противника головой в лицо.

Он так же спокойно отстегнул кобуру с пистолетом. Положил ее в фуражку. Протянул товарищу Тухачевскому.

Зайцев увидел бледное, совершенно побелевшее лицо Артемова. Он и не знал, что живой человек может так бледнеть — до восковой прозрачности.

Журов стоял с фуражкой.

Тухачевский не вынул рук из-за спины. Лицо его не дрогнуло ни мускулом. Это был поединок воль. Журов тоже ничуть не изменился в лице. Не сводя глаз, спокойно уронил фуражку плашмя — в пыль, у сверкающих сапог товарища Тухачевского. Рывком отдал честь. Резко развернулся — прямая спина, вздернутый подбородок. И покинул строй. Шаги его, казалось, отдавали в ребрах. Зайцев не сразу понял, что это бухает его собственное сердце.

— Превосходно. Ну что ж, — медленно, как удав, разматывающий кольца, развертывал фразу Тухачевский. — Подождем прибытия товарища Буденного. Вашего непосредственного командира. А пока командуйте вольно, товарищ Баторский.

— Строй. Воль-на! Раз-зой-тись!

С шорохом порядок расстроился: люди пошли, побрели, зашагали прочь. Но еще не решались глядеть друг на друга.

Зайцев сделал несколько шагов. Остановился, точно не узнавая, где он. Трибуны разевали пустую пасть.

— Товарищ Зайцев! — подал голос Емельянов. — Вы идете?

— Нет, — неожиданно просто ответил Зайцев. — Я не иду.

Повернулся и пошел прочь. Удивляясь этой легкости.

Веселой легкости мертвеца.

Новости еще не дошли в главное здание — купеческий чертог ГПУ сиял. Секретарша проводила Зайцева к телефону: черная трубка лежала на столе, междугороднее соединение.

— Алло. Товарищ Коптельцев.

— Трескаешь там арбузы, Вася?

Если бы Зайцев не знал наверняка, что Коптельцев его ненавидит, он бы решил, что они лучшие друзья. С горшка.

— Так точно. Трескаю.

— «Так точно», — передразнил Коптельцев. — От армейских наблошился?

«Накатил он там, что ли?» — с сомнением скосил глаза на трубку Зайцев. Как будто мог, приняхавшись к рожку, из которого шебуршал голос, уловить ответ на свой вопрос, на идиотски веселый тончик начальника угрозыска.

А Коптельцев все веселился:

— Паек слопал уже? Понравилось?

— Посылку мою получили?

— Получили, осмотрели, приобщили, отреагировали.

— И?

— А. О. У. Э.

«Точно поддал, подлюка».

— Товарищ Коптельцев?

— Ты связывай буквы в слова, Вася. Чего хотел?

— Хотел узнать. Совпали ли отпечатки на пепельнице или на ложечке, что я прислал, с отпечатками на пустых гильзах из-под газовых снарядов или на вагоне Пряника — засове, замке...

— Совпали.

Зайцев почувствовал, как волосы на затылке шевельнулись. И даже обернулся на миг — не сквознячок ли от двери, приоткрытой любопытной секретаршей? И тут же понял, что это не сквознячок. Разочарование? Печаль?

— Не совпали. Какая разница.

— То есть?

— Не важно это уже, — неожиданно поскущел Коптельцев. — Выдвигайся обратно ближайшим поездом. Кончен бал.

— Как это?

— На вокзал звонили, проездной выправили. Обратись к начальнику вокзала. Документом только сверкни.

— Как?

— Возвращайся, и все.

«Он не может знать», — уверил себя Зайцев. О том, что случилось на ипподроме, не знают еще здесь. Не то что в Ленинграде.

— Что за хрень?

— И знаешь что?

Зайцев несколько секунд слушал потрескивающую тишину.

— Ее с собой не бери.

— То есть?

— Сам решай. Полюбила телеграфиста. Климат понравился. Решила остаться.

Голос был такой, будто Коптельцев сказал секретарше захватить со склада канцелярские кнопки.

— А если не решила?

Трубка опять помолчала.

— Как угодно. Несчастный случай. Попала под лошадь. Утонула в тихом Доне. Или там шальная пуля кулака-казака убивает храбрую комсомолку. Шутка. — Но тон был серьезен. — Короче, Вася. Работай. И повесил трубку.

Последняя глава

Зоя напрасно пыталась отгородиться от Патрикеевой своей книжкой. Патрикеева была из тех, кто считал чтение всего лишь формой молчания, а молчание — приглашением к разговору. То есть болтала без умолку.

— Вы не знаете, почему отменили бега? А вы? — тут же обернулась она на вошедшего Зайцева.

— Не слышала.

— И вы тоже не слышали? Вы же каждый день ходите в ККУКС... — Но тут Патрикеева сообразила, что сболтнула лишнее: знать, куда ходит Зайцев, она — в ипостаси доброй самаритянки, приютившей командировочных из Ленинграда по просьбе товарища Емельянова, — не могла. И скосила глаза на свои постукивающие спицы. Из-под них тянулось что-то полосатое. Внезапная тишина показалась Зайцеву оглушительной.

— Зоя, вы не польете мне на руки?

Рукомойник по случаю жары выволокли в сад.

— С какой стати? — сразу набычилась та.

«Ну и пошла к черту», — хотел сказать Зайцев.

— Сделайте такое одолжение, — терпеливо попросил он. — Что-то у меня локоть сегодня плохо разгибается.

Зоя недоверчиво оторвала глаза от страницы — явно впервые слышала о локте. Но книгу отложила. Патрикеева глянула поверх спиц.

— Вы рукомойник-то потом как наполните? С локтем-то? Таз-то таскать. Я помогу!

— Да что вы, спасибо, не надо. Мы справимся.

Патрикеева приподняла зад, откладывая вязанье.

— Да куда ж вам и ей. Воды нанести-то.

— Справимся, я сказал! Спасибо.

В саду пахло разогретой листвой, травами. Томно гудели на лету тяжелые пульты насекомых. Зайцев закатал рукава. Зоя хмуро наклонила кувшин. Причин у этой хмурости могла быть тысяча. Он уже научился не принимать это на свой счет.

— Здесь хорошо, да? — оптимистично начал Зайцев.

Она посмотрела на него как на безумца.

— Солнце, воздух, природа, — уточнил он.

Настоявшаяся на солнце вода была теплой.

— Чего хорошего? — соизволила Зоя.

— Не то что в Питере!

— «Природа». Скукота.

— А я бы мог здесь жить. Купил бы себе индюка. Домик, садик, красота. А вы?

— Ни за что.

«Черт».

— Вот что в Питере, скажите? Сырость, холод, ветер. — А сам ностальгически подумал: «Ветер бы сейчас не помешал». И даже ощутил на губах вкус невского ветра, услышал скрипучие крики чаек. — Для ребенка-то здесь расти — самое оно.

— Чушь.

— Не чушь, а медицина и гигиена. Сплошные витамины и калории. Как в санатории.

Позади скрипнула дверь. Патрикеева толкнула ее задом. Руками обхватывала большой таз.

— Я вам помогу! — льстиво заверила она. А ушки наострила. Колодец, к ее сожалению, был на другой стороне — нужно было обойти дом. Потоптавшись под немymi взглядами Зои и Зайцева, она все-таки потащила за водой.

— В старые времена ребенок, может, и связывал женщину, — надменно выговорила Зоя. — Ей приходилось приносить себя в жертву материнству. Менять свою жизнь навсегда. С этим, к счастью, в нашей советской стране покончено. Ребенок сейчас включается в нормальную активную жизнь женщины. Молочные кухни, ясли, очаги снимают ряд забот. Освобождают мать для трудовой активности.

— Я так и думал.

Черт. Ремиз. Зайцев стряхнул капли.

Патрикеева, перегнувшись назад, уже волокла полный таз. Зайцев не бросился ей помогать. Она еще не могла их слышать.

— Мы уезжаем, Зоя, — сказал он тихо. — Командировка окончена.

— Когда? — удивилась Зоя.

— Минуту назад.

— Как это? Но...

Но Патрикеева уже приблизилась достаточно.

— А как книжка ваша? «Тихий Дон» или как ее там? — весело сменил тему Зайцев, и, как ни тупа была Зоя, она сообразила если и не подыграть, то хотя бы заткнуться. — Интересная? Про любовь?

— Отчасти.

— А вот и я, — запела Патрикеева. — Сейчас мы этот рукомайничек наполним.

Вернулись в дом. По лицу Зои Зайцев видел: вопросы так и щекотали ее изнутри. Она, как карась, открывала и закрывала рот. Патрикеева вилась вокруг.

— А как ваш локоть, товарищ Зайцев? Я и не замечала. Что случилось?

— Старые раны. Бандитская пуля.

Патрикеева делано ахнула.

— Может, вам примочку сделать? Тут где-то была сушеная календула. ...Где же она была?

— Примочка — это отлично! Я с радостью! Примочку! — тотчас оживился Зайцев. Патрикеева и дала бы задний ход, но оживление Зайцева гоняло ее по комнате, заставляло открывать крышки, совать нос в жестяные коробочки.

— Скорее же примочку!

— Где же эта календула чертова?.. Где же я ее видела?

— В сенях, может? Точно. В сенях был какой-то сушеный букетик. Я видел.

Патрикеева глянула на него, как утопающий, у которого из рук вырывают резиновый круг.

— Точно. В сенях. Висит на гвозде, — отрезал спасение Зайцев. И Патрикеева метнулась со всех ног, уповая, что сумеет вернуться тотчас и немного упустит.

— Езжайте на вокзал, Зоя, — быстро, тихо и твердо проговорил Зайцев. — Сейчас же! Ну!

— А вещи? Чемодан?

— Там встретимся. Шевелитесь!

Нежные уговоры на Зою действовали плохо. А вот когда поджимало, товарищем она, пожалуй, оказывалась правда неплохим, признал Зайцев: не подводила. Зоя метнулась в свой угол, выскочила

оттуда с небольшим узелком (Зайцев узнал жирные розы шали) и в дверях столкнулась с Патрикеевой. Обе вскрикнули, ахнули.

— Я вас не ушибла? — медово поинтересовалась Патрикеева. Но Зоя уже выкатилась вон.

В руках у Патрикеевой и правда был сушеный веничек.

— Товарищ Соколова очень обидчивая, — пояснил Зайцев. — Вот женский пол! Ну как с вами прикажете разговаривать? — притворно сокрушался он.

— Что вы ей сказали?

Зайцев подумал, что наконец-то слышит у Патрикеевой человеческие интонации — обычной бабы-сплетницы. Но не стал долго раздумывать о том, что бы ей такое скормить. Судки, которые он вынес из столовой ККУКСа, были разложены на подоконнике на полотенце: вымыты и сохли. Солнце нагревало медные бока.

— Знаете что? Не надо пока примочку.

— Но...

— Имущество казенное вернуть надо. Пока не закрылось учреждение. А потом — примочка!

* * *

У Зайцева было несколько правил, которых он придерживался всю жизнь. Правила были очень простые и только поэтому устояли, когда менялся мир; пережили революцию и вписались в советский строй. Одно из них гласило: не обижать малых сих.

Дашке-курве, мелкому винтику кавалерийской столовой, могло не просто влететь за потерянные судки. В умелых ненавидящих руках анонимного доносчика дело могло быть подано как кража, порча казенного имущества, преступная халатность. Кухня столовой с ее доступом к продуктам и наличием заднего входа, вернее выхода, через который по вечерам выносились полные сумки (в этом Зайцев не сомневался), кишела тонкими сложными интригами. Нельзя было

бросать врагиням Дашки жирный козырь. Зайцев бодро пылил к столовой, позвякивая судками.

Было самое жаркое время дня. В открытых окнах маленьких домиков не двигались ни герань, ни коты, ни занавески. Маленькие, будто ссохшиеся воробьи, купались в пыли. Служащие томились в накаленных учреждениях. Прохожие попрятались. Зайцев ощущал, как липнет к телу рубашка, и старался держаться куцей рваной тени тополей и акаций. Он чувствовал, как весь видимый мир чуточку плавится, дрожит и на четверть мгновения не успевает за движениями глазных яблок. То ли усталость, то ли липкий тяжелый сон последних ночей, то ли голод. Он был рад, что скоро уедет отсюда навсегда. От людей, которым он не мог помочь. От дел, которые невозможно уладить, — приходится только смотреть с отвратительным бессилием дурного сна.

В Ленинграде хотя бы все ясно: кто ты, зачем ты и как поступить. В большинстве случаев.

Здание ККУКСа притворялось слепоглухонемым. Зайцев даже подумал на миг, что курсанты опять смылись, как тогда из Ленинграда. И с облегчением увидел, как дневальный разморенно спит на посту, привалившись к стене. Из угла мальчишеского рта повисла ниточка слюны.

Прошел мимо, ступая с носка.

Обед уже кончился. Ужин — еще не начался. В обеденном зале была кафельная тишина. Из кухни не шипели ни вода, ни масло. Только доносился тихий стук. Там перекладывали, убирали вымытую посуду.

Зайцев втянул воздух, с облегчением почувствовав легкий табачный дымок. И только тогда признался себе, что не мог уехать, не поговорив с Артемовым. Старый кавалерист оказался там, где Зайцев и рассчитывал его найти в этот час. То есть предавался своей обычной медитации среди задранных стульев — невидимый за выступом стены.

Зайцев, забыв сменить шаг после встречи со спящим, ступал неслышно. Тихо поставил судки на стойку. И тут зарокотали голоса.

Зайцев замер, разжал руку. Очевидно, он вошел в паузу, повисшей среди нелегкого разговора. Голос Артемова не обещал хорошего. Но и обычным разносом это тоже не было. Говорили зло и тихо.

— Мостки под Злым, — прошипел Артемов.

— Мостки под Злым рухнули потому, что доски дерьмовые.

— Тебе виднее.

— Ты на что намекаешь?

— Не намекаю я, друг любезный. Я прямо говорю: мостки под Злым ты сколотил. А они разъехались. Да в такой неподходящий момент. И вот я с той поры все думаю...

— Злой свалился по несчастью. Любая лошадь могла.

— Все думаю: и надо же как — момент самый был подходящий. Не диво ли?

— Любая лошадь могла. Испугался поезда, рванул — доски разъехались. Бывает, — гнул свое собеседник.

— Но свалился Злой! — шепотом взвизгнул Артемов. — Лучший наш орловский рысак! Погиб! Как раз накануне отправки в завод!

— Он издох, потому что его пристрелили.

— Его пришлось пристрелить! Потому что он свалился и сломал себе шею. А свалился, потому что разъехались мостки!

— Да что ты на меня набросился? Я не плотник!

— Но ты сам вызвался их сколотить! Эти мостки, будь они прокляты!

— Дрянная лошадь. Нечего жалеть.

— Я не жалею. Сколько ездил поездами. И вдруг на тебе — рванулся и упал. Сколько лошадей возили — все путем, и вдруг на тебе — доски взяли да разъехались. Да ровно накануне отправки Злого в завод!

— Что ты пристал как банный лист? Белены ты объелся, Модест Петрович? Или мерзавец Бутович тебе мозги тоже запудрил? — голос перестал отбиваться, перешел в наступление. — С каких пор ты об орловцах и их заводе печешься? Переметнулся? Нет, ты скажи? Предал нас? К орловским переметнулся? К Бутовичу? — загонял он Артемова в угол.

Кто же это?

Зайцев неловко отступил, едва удержав равновесие на носке, заехал локтем. Посыпались судки, покатались по полу, запрыгало, отскакивая от стен, пола, потолка, медно-кафельное эхо. Как жизнь перед глазами сорвавшегося в пропасть, говорят, проносится в один миг, так все известные ругательства пронесли в мозг Зайцева.

Голоса оборвались. Оба собеседника вышли из своего закутка.

— Товарищ Зайцев, — сухо поприветствовал Артемов, не глядя в глаза. Сапожник Николаев пробормотал нечто напоминавшее «добрый день».

— Я посуду вернуть зашел. А чертово колено не сгибается.

Артемов молча присел на корточки, подцепил судок, другой. Николаев нехотя сделал шаг в сторону, поднял беглую крышку, ложку.

Зайцев вынул носовой платок. Снял кепку, промокнул несуществующую лысину. Утер лоб.

— Товарищ Артемов, я хотел вам сказать: теперь я знаю все. Журова вовсе не требовалось отсылать в Сиверскую.

Поймет ли Артемов намек. А если нет?

— Я знаю, почему убили Леонида Жемчужного.

Артемов так же, не говоря ни слова, поставил судки на прилавок. Не глядел на Зайцева. Точно его тут и не было. Повернулся и пошел вон. Николаев с добычей двинулся к стойке. Зайцев встрял на его пути, протянул руку.

— Спасибо. Позвольте.

— Да я поставлю, не трудитесь.

— Что вы. Мне неловко. — Зайцев почти силой вытянул у сапожника и крышку, и приборы. Приборы — рукой, все еще сжимавшей платок. Положил крышку рядом с судками.

Николаев пожал плечами.

— Доброго дня.

— Всего хорошего, — кивнул его удалявшейся спине Зайцев. — И спасибо за помощь! Проклятое колено, уж извините.

Николаев, не оборачиваясь, махнул рукой: мол, не стоит.

Высунулась Дашка-курва — через плечо у нее висело полотенце, один конец его был влажен.

— А Модест Петрович где? — удивилась она.

— Только что вышел. Спасибо за судки.

— Ишь ты, — призналась Дашка, снимая полотенце. — Даже вымыл за собой. А думала — спер.

Зайцев, уже не таясь, обычным шагом подошел к стойке, брякнул в судок вилку. Другую руку он держал в кармане. Там, где лежала ложка, обернутая платком.

В зале ожидания прела обычная человеческая каша. Все лавки заняты. Кому не хватило, сидели на собственных узлах и чемоданах. Пахло немывтыми телами и вокзалом. Зайцев почувствовал, как повеселел. Оба запаха обещали: скоро Ленинград.

— Мы едем? Когда? Почему? Теперь вы можете мне сказать? — всполошилась, поднимаясь ему навстречу Зоя. Позади нее тут же протиснулась гражданка, плюхнула рядом узел, вдвинула зад в выцветшей юбке на открывшийся дощатый пяточок, глянула вокруг победно и грозно, дав понять, что место не отдаст.

Зайцев за локоть отвел Зою в сторону.

— Первый подходящий нам поезд — рано утром. Подождем здесь.

— Ночевать? Здесь?

— К Патрикеевым мы не вернемся.

— Чем вас не устраивают Патрикеевы?

Зайцев почувствовал, что опять заныл висок. На дубовую Зою можно было без опаски опереться, когда прижимало: не сломается. Но когда приотпускало, эта дубовая дубина била по голове.

— А вы знаете... — вдохновенно начал он. — Вы правы. Здесь ночевать нельзя.

Зоя опешила. Она, видно, настроилась на борьбу.

— Ни в коем случае! — продолжал Зайцев. — Здесь мы не останемся. Здесь дурно пахнет. Жарко. Тесно. Уж извините. Не гостиница «Астория». Простой народец.

— Я такого не говорила, — залепетала Зоя. На миг Зайцеву стало стыдно за свой нечестный прием. Но только на миг. Потому что Зоя смущенно пробормотала: — Ничего я такого не имела в виду. С чего вы взяли. Переночуем.

Зайцев смягчился.

— Стойте здесь.

— А вы куда?

— Поговорю с начальником вокзала. Может, устроит вас где-нибудь на диване в кабинете.

— Мне не нужны особые условия. Я и здесь посижу... постою отлично.

— Постоите и там. Может, он и чаем горячим угостит.

При словах «горячий чай» желудок голодно завыл.

— Подождите. — Зоя, оперев узелок на поднятое колено, теребила концы шали.

Показала нечистому миру роскошный янтарный бок заграничная бутылка.

— Вот. Для смазки.

Зайцев понял: остатки Зоиной коммерции, не иначе запасы товарища Панкратова, разоренные женой в обмен на — что?

— Спрячьте. Вы что? — Хлестнул он кистями шали поверх бутылки.

— Вы что, никогда не давали взяток? — оскорбилась Зоя, как актриса, у которой перехватили роль. Указывать другим на чистоту принципов она предпочитала сама. — Не изображайте чистюлю.

— Не в этом дело. Он простой мужик. Не поймет. Ему хоть коньяк французский, хоть клопомор. Вот родная беленькая сюда бы, это да. Только где ж ее взять.

— Сменяем, — оживленно начала Зоя.

— Ну-ну. Зачехляйте коммерческую жилку. Пора. Мы почти в Ленинграде, там борьба со спекуляцией поставлена на широкую ногу. Да, пузырь бы сейчас не помешал. Ладно, будем работать на обаянии и трясти удостоверением угрозыска. Идемте.

Зоя спала на страшном, продранном в нескольких местах диване, натянув шаль с розами по самый подбородок. Окно было заполнено чернилами от рамы до рамы — непроглядная новочеркасская ночь. От зеленого колпака лампы на столе лежал круг света. Взгляд Зайцева лип к нему, как мотылек. Задремать не получалось.

«Надо будет, и весь курс под трибунал пойдет». «Расстрел». «Незаменимых нет».

Неужели решатся? И понимал: да.

Как все пройдет? Кто расстреливать будет? Позовут соседних красноармейцев? Хозяина смешного индюка тоже? Потом он вечером придет к жене, своей симпатичной Татьяне Григорьевне, которая умеет держать в руках винтовку. Сядут за стол. «Тяжелый был день». — «Выпей еще чаю, дорогой». Бред.

Или выпишут особую расстрельную команду? Или товарищ Емельянов сам почтет за честь?

Когда? Утром, вечером, завтра, через неделю, подержав для приличия на гауптвахте?

Всех? Только курсантов-смутьянов? Только Журова? Только преподавателей? Товарищу Тухачевскому лучше знать, от кого расползаются настроения. Рыба гниет с головы.

Кури, не кури — пуле все равно, вспомнил он Артемова. Какая странная смерть. Пережить войну. Одну, другую. Империалистическую, гражданскую. И быть расстрелянным как собака. Своими же. Да нет же, не своими. Есть они. А есть мы. Только кто эти мы?

А если б до него первым дошла очередь? Что бы он ответил?

Невыносимо.

Зоино лицо белело твердым камешком.

Стараясь не шуметь, не скрипнуть стулом, Зайцев ногой придвинул к себе ботинки. Обулся и вышел.

Зал ожидания был наполнен обмершими душами в ожидании страшного суда. Зеленовато-желтый свет на лицах. Закрытые глаза, открытые рты, подобранные или разметавшиеся руки. Над скамьями — как днем гул голосов — теперь висел колеблющийся сон людского множества. Развернулся калач собаки. Пес сонно глянул на Зайцева — в уголке глаз белело дополнительное веко. И опять свернулся. Зайцев ступал тихо. В кармане пиджака тяжело булькало: забыл выложить бутылку. Возвращаться в канцелярскую духоту кабинета, чтобы оставить ненужный пузырь, не хотелось. Как и пытаться уснуть. Ночь все равно пропала. В поезде выспится. И в поезде чай.

От окон, стекол на дверях на траву ложились бледно-желтые квадраты света. Чернели причудливо вырезанные аппликации деревьев. Было свежо и душисто. Над ступенями медленно плывал туда-сюда рубиновый огонек: затяжка — невидимый дым, снова затяжка.

Зайцев остался в тени. Ночной треп с незнакомцами его сейчас не интересовал. Хотелось побыть в одиночестве. «Повыть на луну». Он посмотрел: новочеркасская луна поражала желтизной, как выдержанный сыр. В Ленинграде она почему-то несъедобная, фосфорная. Рубиновый огонек описал дугу, как падающая звезда. Брызнул искрой, ударившись оземь.

— Товарищ Зайцев.

Зайцеву показалось, что это все: ночь, вокзал, деревья, треск насекомых — ненастоящее. А настоящее: мертвецкие лица грешников вповалку, ад и Цербер, спящий калачиком. Тот свет. Перед ним стоял Журов.

Не расстрелянный. Не под арестом. «В бегах?» — предположил напоследок Зайцев.

Журов ухмыльнулся.

— Встреча у фонтана.

Протянул папиросы. Зайцев помотал головой.

— Я думал, вы под арестом. — Журов вместо ответа пыхнул сизым дымом. — Товарищ Тухачевский выглядел серьезно.

— Погладили товарища Тухачевского против шерстки, — с улыбочкой пояснил Журов. — Усы. Разговор был телефонный, но пылкий. Товарищ Тухачевский ошибочно предположил, что может закрыть Кавалерийские курсы как не соответствующие историческому моменту. Не впервой.

— Поздравляю тогда. А вы?

Журов махнул папиросой.

— А я — в Забайкальский гарнизон. Дисциплинарное. Я на Усы не в обиде. Все-таки надо было изобразить наказание. Перевод в двадцать четыре часа. Поезд через два. Да ерунда. Ознакомлюсь с бурятскими — или какими там? — монгольскими лошадками. Тоже дело.

Огорченным он не выглядел. Что там думал Журов на самом деле, было глубоко упрятано и заперто на замок.

— Может, оно так и к лучшему, — не стал напирать на эту дверь Зайцев.

— Это точно. От обеих баб моих подальше.

Зайцев поразился легкости, с какой Журов сам заговорил о своей тайне. Понял: в этой темной, смутной и душистой ночи под крупными южными звездами, которые и не снились Канту, Журову не хотелось отпускать его, случайного собеседника. Хотелось поговорить. Видимо, желание быть откровенным все-таки нашло себе безопасное русло: выражаясь языком комсобраний, «моральный облик».

— Женаты сами-то?

— Нет.

— Чего так?

— Служба.

— Чего там. Не хуже прочих служба, — не поверил Журов.

— Недавно выезжали на вызов. Сторож зарубил топором собутыльника. И спать лег рядом. Проснулся. Думал, что протрезвел. Разделал труп на куски, как тушу. Сложил в тележку. Взяли, когда он эти куски по одному в канал опускал. И это легкий случай: тут тебе сразу на месте и подозреваемый, и мотив, и убитый, и улики. ... Придешь вот так домой, а там жена в папильотках. Дети? Гладить их по голове?

Он пожал плечами. Журов слушал внимательно. Сбросил пепел. Помолчал.

— Не знаю. На гражданской я тоже видел кое-что. И с белой стороны, и с нашей. Тоже радости мало. Не советчик, но так скажу: все равно женись. Мужу нужны на шее жернова. Баба, дети. Да, тащить тяжело. Но без них улетишь. Жизнь такая. Закрутит, с ног собьет, унесет.

Зайцев почувствовал симпатию. Не любовная путаница, не слабость характера, которая бы мешала Журову развязаться со своими двумя женами, и даже не банальное «можно ли одновременно любить обеих». Журов навесил себе на шею один жернов. А потом понял: еще один. Чтобы потверже стоять на земле.

Чтоб не каждому злему жеребцу на спину вскакивать.

— Бабы-то не возражают?

— Возражают, — чистосердечно вздохнул Журов.

— Философии насчет жерновов понять не хотят? Надо назвать по красивее. Жемчуга, например. А то — жернова...

Журов сел на ступеньки. Кивнул рядом.

— Тут коротко не поговоришь. Или есть другие дела?

Сел и Зайцев. В кармане стеклянно булькнуло, напомнив о себе.

— Есть неплохая идея, — сказал он Журову.

Товарищ Панкратов был не дурак. Зайцев вполне оценил его стратегию. Опытный и мудрый алкаш, алкаш с предохранителем. Чтобы не квасить по-черному, не сойти с круга, задал себе трудные границы — только импортное. Опыт Зайцеву понравился. Качество импортного свинобоя не оставляло желать ничего лучшего на этом свете.

Он не очень помнил, как они с Зоей сели в поезд. Крутые ребра реальности приятно подтаяли, углы жизни блаженно смягчились. Руки мотались легко. Зоино ледяное презрение смешило. Как и собственные ноги, которые шли не туда. В купе сразу повалился спать. Проспал весь день. Обнаружил за окном малиновый закат. Ужаснулся: всю ночь теперь куковать.

Зоя обдала его морозным взглядом. Но консервная баночка перед ней, из пайка товарища Журова, была пуста, а кирпичик армейского хлеба — подщипан с одного конца. Консервы и хлеб Журов всучил ему почти силком — уже на темном перроне, когда его паровоз выпростал пышный рукав белого дыма и дал свисток. Сунуть еду обратно Зайцев уже не успел.

— Не свались под поезд, милиция! — захохотал Журов, чуть не упал сам и, махнув на прощание рукой, втащил себя за поручень в вагон — под неодобрительный взгляд кубообразной проводницы.

— Нажрались, — прошипела Зоя. И вышла с прямой шеей.

Они были на пути в Ленинград. Роли вернулись: конторская фифа с передовыми принципами — недалекий мильтон с домостроевскими взглядами. Зайцев снял рубашку и брюки, блаженно ощущая всем телом холодок крахмальных простыней. И не успев ни как следует ужаснуться утренним перспективам («вот завтра-то башка треснет»), ни обежать мысленно ночной разговор с Журовым, снова провалился в темноту. И в темноте этой не навестили его ни обессилевшие скелетики с распухшими животами, ни отчаявшиеся матери с ввалившимися глазами и руками-цевками. Ни Пряник, ни Жемчужный, ни курсанты, ни Артемов, ни товарищи Буденный и Тухачевский, ни собаки. До самого утра.

Тушенка в дрожащих желатиновых каплях, черный хлеб и горячий чай на завтрак показали ему пищей богов.

Зоя глянула строго раз, другой. Потом лицо ее смягчилось.

— Вам плохо? — сочувственно спросила она.

«Ну и видок у меня, наверное», — подумал Зайцев. Перекатил непрожеванное за небритую щеку и ответил честно:

— Как ни странно — хорошо.

Да, импортный коньяк — это вещь. После приятельства с отечественным продуктом он бы проснулся с ощущением, что в голове топор. Мысли были легкими, ясными. А может, все дело было просто в

том, что он, наконец, выпался — наконец, кто-то отключил жару за окном.

Зоя глядела веселей. Словно приближение к Ленинграду тоже наполняло ее силой.

Она даже слегка улыбалась, поглядывая в окно.

— Чему вы улыбаетесь?

— Разлука все расставит по своим местам.

Очевидно, остатки дорожной интимности еще болтались на дне, и она, как Журов, спешила распить их с собеседником, которого вскоре покинет навсегда.

— Верно? Что, товарищ Зайцев? Скажете, я не права?

— В целом — да. Главное, чтобы места оказались как надо.

— То есть?

— Разлука расставляет, да. Но не факт, что туда, куда нам хочется.

— А что?

Начинать следовало осторожно.

— Может, ваш герой, посидев без вашего очаровательного общества, все взвесил — и решил вернуться к жене. Партийная карьера, знаете ли, моральный облик. Дело большое. Такие вопросы романтическим наскоком не разрубаются.

У Зои презрительно дрогнуло лицо. Но она ничего не сказала. Зайцев приободрился.

— Вы бы не спешили к нему на крыльях любви. Позвоните сначала. Прощупайте почву, — принялся советовать он. — Как бы невзначай.

— Много вы понимаете! В любви.

— Считайте, что я просто представляю собой мужской пол, — миролюбиво предложил Зайцев.

— Чушь! Мужчины и женщины — всего лишь люди. В вопросах пола и отношений между полами они одинаковы. В старину, может, и водились различия, насаждаемые и поддерживаемые охранителями, косными классами. Но сейчас...

Оседлав любимого конька, она в мгновение ока унеслась так далеко, что Зайцеву не оставалось ничего, как только дать обеими ладонями по столику. Подпрыгнули пустая банка, хлебные крошки и Зоины плечи. Она умолкла.

— Слушайте, вы... Вернетесь в Питер — и вы пропали!

— Что вы...

— Слушайте. Финтить я с вами не намерен. Дело ваше плохо. Хуже, чем вы думаете.

— Что вы несете?

— Я знаю об этом наверняка. И говорю вам прямо, польку-бабочку танцевать вокруг вас не собираюсь. Вас он отослал в эту поездку с надеждой, что вы сами все поймете и не вернетесь. Так поймите, наконец!

— Вы не понимаете... Вы хоть понимаете, насколько оскорбительны ваши слова? По отношению к человеку, которого вы никогда не видели. Человеку, которому вы и...

— Отослал — чтобы не видеть больше.

Она не верила его словам. Но тону, похоже, верила против собственной воли.

— Кто вам сказал? Вы с ним даже не знакомы! Я вам даже ни разу не назвала имя!

— Хорошо. Не знаю. Не спорю. Просто выслушайте. И с этими фактами на руках — сами поглядите на ваши с ним высокие отношения. Я вам свое мнение не навязываю. Хотя оно таково: сойти на ближайшей станции, раствориться, исчезнуть, никогда не возвращаться в Ленинград. Союз большой.

— Вы...

Зайцев не дал ей перебить его.

— Ваш женатый герой — не герой. Совсем не герой.

— Да кто дал вам право? Этот человек в сто, в тысячу раз лучше вас.

— Договорились, я дерьмо. А от него мне просто передали приказ оставить вас в Новочеркасске. Как угодно. Вплоть до...

— Лжете.

— Зоя!

— Кто вас надоумил? Она?

Зайцев мог рассчитывать на свое умение колоть трудных свидетельниц. Но спорить с влюбленной женщиной...

— Мой совет: уезжайте сами. В провинцию, в союзную республику. Найдите службу. Устройтесь. Вы справитесь. И ребенка сами подымете. Это единственное, что... Иначе конец. Совсем конец. В худшем смысле.

Она молчала. Убедилась, что он сказал все. Поверила, наконец?
Ее лицо чуть озарилось.

— Я поняла. Вы все еще пьяный.

Поднялась.

— Зоя, прошу вас. Сделайте, как я говорю. Верьте. Ведь у вас малыш скоро. Вы теперь не только за себя саму решаете.

И вышла из купе.

Зайцев задремал. Сквозь дрему чувствовал постукивание, покачивание стенки у виска. Остановку. Снова постукивание и покачивание. Когда открыл глаза, Зою не было.

Не появилась она и когда поезд притерся боком к ленинградскому перрону, паровоз остановил железный локоть и выпустил, как кит, струйку из лобастой головы.

Зайцев тщетно высматривал Зою на перроне под ребристым навесом, в толпе, потом — когда шел через рокочущий, толкучий зал ожидания.

Но по краям его сознания — помимо воли — уже собиралась радость, которая смывала все. Знакомый запах Ленинграда, знакомые очертания крыш. Вдохнул знакомый тяжелый влажный воздух. Для которого больше подходят не легкие — жабры.

На вокзале с равнодушной радостью влюбленного Зайцев пробежал мимо извозчиков, таксистов, мимо трамвайной остановки, плотно облепленной черной кашей-толпой. Пропустил рогатенький троллейбус. Ступни жадно щупали ленинградский асфальт. Даже озноб от набегавшего ветра был в радость. Даже хмурые доходные громады на Лиговке ласкали взор.

Зайцев шел по Невскому, в глаза катили знакомые дома, вензеля трамвайных опор, мост с колючими конями по углам, рябь на воде, белые платки чаек, и в груди его расширялось счастье — несмотря ни на что.

Первым в коридоре ему попался Самойлов.

— О, Вася, снова дома? Ну как, отъелся на юге?

— Не то слово.

— Ты когда приехал-то?

— Только что. С вокзала прямиком притрехал.

— Ты что, налегке?

— А чего барахло с собой таскать?

— Ты даешь! Иеромонах. И гостинцев не привез? С житницы Союза-то. Мог бы и прихватить дары полей. Ребята губу раскатали.

Зайцев вспомнил скелетики. «Хлеба! Детке моей».

Но Самойлов уже потянул его за рукав.

— Иди сюда. Расскажу что.

В кабинете никого не было. Самойлов прикрыл дверь.

— Слушай, Вася. Тут какая петрушка без тебя случилась.

И умолк, принялся расправлять свои кошачьи бакенбарды.

— Епт, ты умеешь начать. Говори скорей.

— Ты помнишь девочку ту, комсомолку? На которую хулиганы напали, ту, которую мы в больнице... Ох, подложила она нам свинью.

— Девочка? Или больница?

— Не дури. Девчонка-то по фото нам опознала...

И опять многозначительно умолк.

— Хватит спотыкаться уже. Чего там? Короче!

— Короче. Шестерых по ее показаниям к вышке приговорили и в тот же день — чпок. Остальным — четвертачок строгого. Знаешь, как с такими после чубаровского дела. Ускоренное судопроизводство. Показательная строгость закона. А потом суть да дело, туда-сюда — выяснилось, что одного из расстрелянных даже и в городе в день нападения не было.

Зайцев похолодел. Один из тех, кого он сам отобрал по фотоснимкам. Вот тебе и рука судьбы. Он невольно опустил взгляд на собственные руки.

— Да ну. Может, был.

— Нет, точно не был. Есть билеты железнодорожные, и свидетелей толпа: был на слете рабочей молодежи в Луге.

Зайцеву стало холодно и тошно.

— Может, это с билетами ошибка. И свидетели — много там они помнят, в толпе-то.

— Могло быть. Только кадр этот на слете докладчиком был. Не проморгаешь.

— Это который же?

«Не хочу знать, не хочу знать!» — лихорадочно думал он. И говорил спокойно Самойлову:

— Я помню рожи на карточках: хулиганье, пробу некуда ставить. Таких не на слет отправлять, а куда Макар телят не гонял.

— И я так думал. А оно вон как вышло. Рожа овечья, а душа человеческая.

— Чего ж теперь будет?

— А ничего. Я тебе просто так рассказываю. Из злого удивления, блин, перед жизнью. Не будет ничего.

— Как это?

— Повезло нам с тобой. А главное, девочке той. Если это можно назвать везением — пусть ходит теперь с мыслью, что жизнь загубила невиновную. Ладно. Брехня это все философская. А трепаться некогда. Ты давай тоже подключайся. Тут у всех под задницей горит. Говорю же: повезло нам — такое началось... Всех под ружье поставили. Как раз летучка вот-вот. По операции «Весна». Тебя просветят.

— Все свободны, — объявил Коптельцев. — За работу, товарищи. Застучали отодвигаемые стулья.

Зайцев смотрел на свой список. Фиолетовые строчки: имена и адреса.

Так вот почему Коптельцев тогда финтил с этим делом Жемчужного. То палки в колеса вставлял, то выпульнул Зайцева в Новочеркасск. Операция была секретной, и роль ККУКСа в ней была еще не ясна. Операция, которая родилась в морозной голове товарища Тухачевского. Чистить армию от «настроений». Нет человека — нет настроения. Так вот почему ККУКС спешно переехал из Ленинграда.

От листков на пальцах Зайцева осталась фиолетовая пыльца. Ему выдали район бывших Морских улиц, Большой и Малой. Фиолетовые буквы липли к пальцам, он чувствовал испарину и на лбу. Как в южном сне, из которого с усилием просыпаешься — и, осмотревшись, обнаруживаешь, что все-таки не проснулся.

Карьера или честь? Нет, хуже и проще — жизнь или честь. «Разрешите выйти из строя. Лошадь ждет». Зайцев вытер ладонь о брюки. Шаркали голоса, грохотали шаги. Зайцев остался сидеть.

— Вася, приклеился? — позвал Крачкин.

— Догоню.

Коптельцев с неудовольствием ждал на своем председательском месте. Зайцев не двигался, не сводил с него глаз.

— У вас вопросы, товарищ Зайцев? — спросил он тоном, явно дававшим понять, что вопросы ни к чему.

Неужели он не решится? Коптельцев смотрел глазками-буравчиками.

— Есть пара.

— А не должно. — Коптельцев нарочито деловито стал собирать бумажки, ровнять листки. — Процедура ареста обычная. Сотни раз проделанная. Замнешься, не будешь знать чего-то и как — кивни помощникам, подскажут.

«Помощники» — молодцы из ГПУ. Арестовывают всегда двое, лучше — трое. Мильтоны им только зачем?

— Чего, помощники сами не справляются?

— Им кадров не хватает. Большая операция, «Весна» эта. Покрываем недостаток человекосил. Протягиваем товарищескую руку.

— А только мое дело — бандитов ловить.

— Это и есть бандиты. В своем роде.

— Пока что, — тряхнул списком Зайцев. — Они просто советские граждане.

— Которые в любой момент могут стать террористами. Бывшие царские офицеры.

— Это не уголовное преступление.

— Я, Вася, чего-то не понял? Ты споришь? Поможем коллегам сейчас — нам же меньше забот в будущем. Это не нам решать, преступники они или нет. Операция санкционирована товарищем Тухачевским. Ему лучше знать, кто там в армии преступник, а кто не преступник.

Липкая испарина кошмара, от которого думал, что проснулся. А на самом деле — нет.

И выбрать придется. Не тогда, так сейчас.

Зайцев держал список. Фамилии, фамилии. Свернул в трубку. Развернул.

Бросил список на стол. Коптельцев приоткрыл ротик — дырка среди толстых щек.

— Меня ждет лошадь, — только и сказал Зайцев.

— Какая лошадь? Ты что, спятил? В самоволку? — заорал Коптельцев вслед. — Да я тебя самого...

Зайцев взялся за дверную ручку и спокойно ответил, не поворачиваясь:

— Пряник. Такая лошадь. Дело особой важности. Забыл? Вот и я — нет.

У двери точно топтались два «помощника» в фуражках с голубым околышем.

— Товарищ! Вы Зайцев? — бросились они к нему. — А мы уж думали, перепутали что.

Славные такие. Крепкие и розовые, как два подосиновика.

— Может, и перепутали. Я что-то не в курсе, что вы ждете. Вам не ко мне.

— Точно-точно. Вас ждем.

Они устремились за ним. Зайцев остановился.

— Вон дверку видите. Товарищ Коптельцев там заседает. Вам к нему. Товарищи.

На крыльце он чуть не налетел на Крачкина.

— Вася!

В пальцах — пенок папиросы. Поодаль — еще два подосиновика, приставленные для операции «Весна» к Крачкину.

— Вы докурили, товарищ Крачкин? — нетерпеливо подал голос один.

— Еще нет. — Крачкин выглянул из-за зайцевского плеча. Помахал молодцам тлеющим окурком. И тотчас прикурил от него новую папиросу. — Последняя папироса приговоренного, — невесело пошутил он. Зайцев понял: от этой «Весны» тошно и Крачкину, он тянул время. — А где твои гаврики?

— Я делом Пряника занят.

— Везунчик. Это Жемчужного-то?

— Смотри-ка, помнишь.

— Вы про которого Жемчужного? — встрял один из гэпэушников. — Это на лошади разбился который?

— Он. А вы что, мужики, беговыми лошадьми интересуетесь? — машинально откликнулся Зайцев.

— С лошадьми вечно возня какая-то мутная, — подтянулся на огонек разговора другой. — Из-за ККУКСа сраного у нас план по выборке и посадкам на «Весне» никак не выполняется.

— А что такое ККУКС? — Зайцев спросил и подумал: «Метод Нефедова, теряю стиль».

— Кавалеристы, — охотно пояснил гэпэушник, славный, видимо, парень, если не... — Курсы командирские. Их бы взяли пучком еще здесь, в Питере, да Буденный, хитрожопый, своих загодя увел.

— Своих? Врагов народа и террористов? — ядовито поинтересовался Крачкин.

Зайцев смекнул игру.

— Ты что, Крачкин, дурак? — тотчас встрял он. — Кавалеристов. Тебе ж сказали русским языком: курсы лошадиные.

Гэпэушник глянул на Зайцева с симпатией. На хорошего милиционера. И зло — на Крачкина, милиционера плохого.

— А вы что же, папаша, сочувствуете бывшим царским офицерам?

Дальше следовало играть по роли. Зайцев знал ее до каждой ноты.

— Уйди, Крачкин, а еще лучше — в отставку.

Крачкин отошел, бурча.

Зайцев вздохнул.

— Маразматик старый. Что с него взять. С вами на задержание едет?

— Ну. Подфартило с кадром.

Теперь эти двое ощущали себя с ним заодно.

— Что ж вы таких держите? Не вычистили? В угрозыске-то?

— Да приходится держать. Что еще остается. Молодые и шустрые в ваше ведомство перебегают.

— Это точно. Паек у нас лучше. И с комнатами побыстрее.

— Вот-вот. А Буденный-то и Тухачевский, ты смотри. Я думал: герои гражданской войны — они как футбольная команда.

— Герои-геморрой. Буденный, говорят, ненавидит Туха. Но разгадал его хитрости, ничего не скажу. Перехитрожопил. Мужичья смекалка. Смекнул — и своих увел подальше. Только не поможет. Прошло их время.

— Ну ты, — вмешался его товарищ. — Тебя послушать, так Буденный с Тухачевским твои корешки, с тобой выпивают и планы тебе свои рассказывают вместе с мыслями. Леха, говорят, ненавижу его, душа прямо горит. Три друга: Леха, Тухачевский и Буденный.

— Чего?

— Знаток тоже выискался.

— А вот и знаю.

— Не свисти!

— А вот и не свищу. Буденный этот нам план уже раз срывал. Он одного такого... — Он несколько раз ткнул Зайцева пальцем в грудь, мол, слушай сюда. — Бутович его фамилия. Он, Буденный то бишь, выдернул этого Бутовича из дела уже практически сшитого.

— Бутович?

— Ага. Как сейчас помню. Из-за Бутовича, дела то есть развалившегося, нам в паек дополнительных пузырей не вложили. Премииальных, так сказать. А у меня пузыри эти вперед расписаны были: какой плотнику за крышу отдать, какой — женой портнихе, какой — тестю в зубы.

— Да, — согласился Зайцев. — Сволочь. Такое не забудешь. Ну бывайте, мужики.

Крачкин стоял за углом, подпирал стену, зажмурившись и подставив тощий кадык тусклому ленинградскому солнцу.

— Как там юга, Вася? — спросил он, не открывая глаз. — Степь — житница Союза. Нажрал себе бока на донских разносолах?

— А как же.

— Чего нарыл-то?

— А ничего.

Крачкин открыл удивленно глаза.

— А пальчики, которые я снял?

Зайцеву на миг стало совестно. Но с Крачкиным никогда не поймешь — то к сердцу прижмет, как вот с этими молодцами, то к черту пошлет. И Зайцев соврал:

— Пустое дело: Жемчужный сам отравил лошадь. Идиот. Думал, снаряд старый, хренакнул — а он не такой уж старый оказался.

— Теория Дарвина в действии. Противоестественный отбор.

— Ну.

— Марксистский подход: эволюция сама отбраковывает ненужные формы жизни, — меланхолично продолжал Крачкин. — Вот и с офицерами этими тоже — которых мы вынимаем сейчас по всему Питеру. Думаешь, не знаю я, что почти все они обычные скучные старики и никакой угрозы советской власти не представляют? Но так и должно быть. Просто кончилось их время. Они не нужны времени. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке и все

такое. Будущие войны будут вести не кавалерия — а авиация и танки. Товарищ Тухачевский прав.

— Какие войны? С Англией? — Зайцев вспомнил новочеркасских обывателей с их прогнозами.

— Почему с Англией? А может, и с Англией. Вокруг же капиталистические страны.

Все ждут войны. Вот и Журов все рвется на войну, вспомнил он ночной разговор. И Крачкин о войне говорит. Может, прав Журов — и он еще проскачет на белом коне на параде в честь победы.

— И мое время тоже кончилось, Вася.

— Ты чего, Крачкин? Я же в шутку. Дуракам этим подыграть только. Ты еще хоть куда.

— Кончилось-кончилось, Вася. Но это и к лучшему. Не увижу я этой новой войны.

* * *

— Вас что, не взяли? Всех вроде сняли и погнали, — удивился Нефедов, изучая дно пивной кружки. Сутки, когда ленинградские бандиты на несколько часов остались без бдительного ока угрозыска, брошенного на операцию «Весна» в помощь захлебывающемуся арестами ГПУ, догорали. Новая ночь валила через коротенькую черную полосу. Дым под сводами пивной обрел предельную густоту, а разговоры, наоборот, становились все жиже: глаза глядели осоловело, языки заплетались. На Ленинград катило утро.

— А тебя куда бросили?

— Бывшая Литейная.

— И чего, много взяли?

— Ну. Всю ночь по квартирам шарились. Транспорт под завязку. И это еще только самый центр, без окраин. А чего брали — не понятно. Старичье все больше. Мелюзга человеческая — вахтеры да счетоводы.

— Не знаю. Не знаю... Мне бы самому кто объяснил.

— И вы не знаете?

— Все так запуталось, Нефедов. С законом. Что случилось с простой и честной уголовной статьей?

— А чего?

— А того, что теперь всякому самому придется решать, что правильно, что нет, кто преступник и должен быть наказан, а кто — нет, даже если состав преступления налицо. Или наоборот, неочевиден. Да и это, как оказывается, не спасает.

— От статьи?

— От нечистой совести.

— Какие-то новые песни у вас. Не выпались?

— И это, конечно, тоже. Кто рожден от помеси корюшки с клюквой, тому на юга лучше не соваться. И как это люди в Крым или на Кавказ ездят отдыхать? Окосеть же можно. Мучение одно. А главное, какие-то новые времена идут, Нефедов. Такие, что не хочется глядеть им в лицо. Ладно, лучше расскажи, как собачники-то. В служебный питомник ездил? Встречался с товарищем Кошкиной?

— Кошкина. Смешно: сама Кошкина, а работает — с...

— Обхохочешься, — перебил Зайцев, вспомнив искусанную рукавицу, которую Ольга Дмитриевна тогда бросила на стол. Изодранную зубами ватную куртку вспомнил.

— Было время хоть взглянуть на списочек, что я тебе оставил?

— Не особенно. Но один факт примечателен.

— То есть все-таки было. А ты меня тут на пивную философию разводишь! Ну не томи. Выкладывай.

— А факт простенький. Может, и не значит он ничего.

— Гони.

— Вскоре после того, как мы с вами в Неве купались, из клуба служебных собак уволился некто Смирнов. Он в том списке, что вам дала товарищ Кошкина и что вы...

— Ну-ну, понял, понял. Дальше.

— С тех пор о нем, Смирнове этом, ни слуху ни духу.

— Может, ГПУ его прихватило.

— Похоже, вовсе из Ленинграда уехал.

— Ну. Может, и значит этот факт чего. Молодец Нефедов.

— А радости? Смирновых везде как грязи. Где искать его? Как?

— Да, это не Жемчужный, конечно.

— А с Жемчужным что? Кто его хлопнул-то в итоге? Нашли?

— Да в том-то и фокус, Нефедов, что его — никто.

Нефедов завис над кружкой — флегматично подождал, не скажет ли Зайцев еще чего. Совиное личико по обыкновению не выражало ни любопытства, ни нетерпения.

Но Зайцев не сказал.

Соседи при его появлении в утренней очереди в ванную оживились.

— Товарищ Зайцев. С возвращением. Как там юг? — Деловой мужской голос.

— Наверное, жрачки полно. — Голос женский, мечтательный.

— Житница Союза! — Назидательный голос читателя газет.

— Что-то вы там не отъелись, товарищ Зайцев, а по-моему, еще больше похудели? — Женский, участливый.

Зайцев увидел на другом конце коридора побелевшее лицо Матрены — блее кухонного полотенца, переброшенного вокруг шеи. Ее круглые глаза смотрели в его. Теперь он знал, что они видели там — от чего она бежала.

— Беда, Матрена, в дороге произошла. Я ваше полотенце потерял, — произнес Зайцев. — Простите.

Матрена моргнула, как спугнутая птица, сорвалась — суетливо понеслась дальше.

— Что ты ерунду порешь, Валя? За преступниками побегаешь, да по жаре, еще не так с лица спадешь. Верно говорю, товарищ Зайцев? А, товарищ Зайцев?

— Нормально, — бросил Зайцев. — На юге полный порядок. Покрытие колхозным движением по району практически стопроцентное.

— То есть?

— Да не приставай ты к человеку! Товарищ Зайцев, идите вперед. Пролезайте. Вам ведь на службу.

Из кухни доносилось мерное гудение примусов.

— Товарищ Бутович?

Черный глаз поверх цепочки.

— Я вас знаю, — неприязненно ответил старик. — Я вас видел. И там, и там.

— Взаимно. Можно войти?

— С удостоверением уголовного розыска вы можете войти куда угодно. Моего разрешения или приглашения не требуется.

Зайцев вполне понял антипатию, которую к Бутовичу питали его собеседники.

— Я вас не арестовывать пришел. Поговорить просто. Я знаю, что случилось с Пряником. Не с Жемчужным. А именно Пряником. Речь об убийстве лошади, не наездника. Наездник погиб случайно. Хотя и был прохиндеем и личностью, прямо скажем, дрянной. Но целью с самого начала был Пряник, не так ли?

Цепочка щелкнула.

Оба — опытные жители коммуналок — молча прошли по темному коридору, заставленному барахлом. Бутович толкнул дверь в свою комнату. Серенький ленинградский свет деликатно скрывал подробности, но Зайцев и так ощутил запущенность жилища. Бывший миллионер, помещик, жуир и бонвиван теперь жил обычным неряхой. Это бедняки привыкли сами наводить чистоту.

— Говорите, — коротко распорядился Бутович.

«Смотри-ка, привык командовать», — незло отметил Зайцев.

— Вы первый, — предложил он. — Вы же вызвали милицию на ипподром.

— Не хочу. Никто не желал мне верить, когда я говорил. Я устал говорить.

— Верно. Баторский вам тоже не поверил.

Бутович блеснул темными глазами.

— Поначалу, — уточнил Зайцев. — И это вас задело особенно. Однополчанин, член Рысистого общества, сторонник чистоты орловских рысаков — и вам не поверил.

— Его настроил этот...

— Артемов, — подсказал Зайцев. — Тоже однополчанин, но сторонник рысаков американских. Вернее, орловско-американских метисов. Видите, я изучил вопрос.

— Да, вы дотошный.

— Именно. Так что вы мне поверите, если я скажу: именно Артемов первым заподозрил, что дело тут неладно. Не сразу. Вначале он думал на одного дорогого ему человека. Но потом и он понял.

— Артемов только рад был, что Пряник погиб! Исчез крупный козырь.

— Ерунда. Артемов любит лошадь. Обожествляет лошадь. Вам это лучше меня известно. Ни одной он не желает гибели. Независимо от ваших старых партийных склок и своих взглядов на селекцию. Он ведь и заподозрил, что дело неладно, когда погибла вторая лошадь.

— Ах, Злой. Злой... Норовистый, да, это для орловца большой минус. Но в остальном...

— Не хуже Пряника?

— С Пряником не сравнится никто!

— Да, верно, что это я...

— Но только вы зря выгораживаете Артемова. Что-то он не спешил делиться своими мыслями. Когда я встретил его в Новочеркасске...

— Он ими поделился. Как странно, все тогда стояли вокруг мертвой лошади. Жалели. А на погибшего человека никто не смотрел. Меня это задело. И отправило неверной логической дорогой. Картина-то преступления была верной. С самого начала это и было убийством лошади — не Жемчужного. Как оказалось, это совсем не трудно — проникнуть в вагон, обезвредить патрон, потом раскрутить снаряд, вскрыть капсулу с газом... Предварительно, конечно, надев противогаз. После чего счет жизни бедного коня пошел на часы. Но вот беда с газом: можно знать предмет досконально — и все-таки никогда точно не угадаешь. Здоровый сильный Пряник продержался в живых несколько дольше, чем рассчитал его убийца. И в итоге погиб, разбился Жемчужный. Я и сам, признаться, сплоховал: не сразу понял назначение маленькой зеленой сумочки. В ней был противогаз. Ах, эта советская нищета. Он бы никогда не попался! От противогаза-то он сразу же избавился. Противогаз, наверное, до сих пор плавает где-нибудь в Обводном канале вместе с прочим мусором. Но эта привычка советской нищеты — не выбрасывать вещи. Сумку он пожалел! Приберег. Инструмент, там, сложить или в Новочеркасск поехать... Или обратно в Ленинград.

— Этим всем Артемов с вами поделился?

— То, что я вам рассказываю, мое понимание событий. Ни Артемов, ни Баторский к смерти Жемчужного не причастны. Это я доказал железно. Может, им это поможет, — с сомнением прибавил он.

— Кто же причастен? Кто это сделал?

— Подождем. Сейчас он сам к вам придет.

— Сюда?

— Он тоже понял, что я теперь знаю ответ. Я надеюсь, что понял.

Уж я ему намекнул так жирно, что столько жира не кладут даже в котлеты столовой ККУКСа. Скажу вам, мне еще не приходилось расследовать убийство лошади.

— Когда?

— Никогда.

— Когда придет?

— С минуты на минуту, полагаю. Но никогда не скажешь наверняка о старом человеке. Лестницы, то-се. Вряд ли ошибусь, если скажу: теперь ему очень хочется отнять мою молодую жизнь. Заварите, что ли, пока чаю?

— У меня нет чая, — мрачно отозвался Бутович. — Могу подать воды.

Зайцев взял за спинку немолодой стул. Развернул к двери. Сел.

Он бы еще охотно поболтал с Бутовичем — расспросил о рысаках, а может, и о роковой красавице Катеньке Бутович, взбаламутившей Петербург. И о... Но не успел. Дверь дрогнула. Тихо подалась. Кто-то был очень осторожен.

— Убийца Пряника и Злого. Прошу! — гаркнул Зайцев голосом конферансье. В его выкрике, как заяц в луче внезапного света, замер сапожник Николаев. Туловище его пересекал выцветший ремень сумки от противогАЗа — теперь в ней помещалось все небогатое барахло сапожника. Зайцев хмыкнул.

— Следил за мной чуть ли не от самого Новочеркаска. Думал, что его никто не заметил. Да, искусство фронтовой разведки с тех пор ускакало вперед, как не снилось рысакам.

Бутович хватал воздух ртом:

— Юр... Юрий Георгиевич... Ты...

Глаза его вылезли из орбит.

— Я стараюсь вам посочувствовать, товарищ Бутович. Ей-богу. Но не получается. Никогда не оскорбляйте малых сих, — задумчиво проговорил Зайцев. — Никогда не знаешь, когда вызреет их месть. Если бы вы, товарищ Бутович, в прошлой жизни со своей надменной барской высоты не опозорили скромного секретаря Императорского

рысистого общества, не обвинили облыжно в нечистой игре на тотализаторе, Пряник сейчас радовал бы вас потомством.

— Мер-р-р-завец!

Невысокий плотный Бутович ринулся на тощего Николаева. С грохотом повалился стул. Поехал, треща ногами по загаженному паркету, стол. Дерущиеся старики повалились, покатались, рыча и собирая сор на бока.

Зрелище было страшным и жалким.

— Проклятые старые истории. Чудеса природы, — грустно заметил Зайцев. — Из ничтожного зернышка — ядовитое дерево. Не буду мешать, господа. Неотложное дело!

Зайцев переступил через дерущихся. И вышел вон.

Ветинститут выглядывал из густой зеленой каши уже совершенной дачницей. Окраина города.

— А я, когда вы нарисовались, подумал, у вас опять коня угробили, — наконец, сумел выговорить Кольцов. — Куда ж я денусь?

— Предлагаю Елец. Например.

— Вы там были?

— Нет. Но название симпатичное.

— У жены родня в Орле.

— Вам нельзя соваться туда, где вас придет в голову искать.

— Так точно. Значит, дать драпу. Как заяц. Позорище.

Если Нефедов верно помнил, окраины будут прочесывать по спискам «Весны» сегодня вечером.

— Ничего подобного. Ветеринар в Ельце — человек уважаемый. Готов спорить.

— Ладно. И спасибо. Товарищ Зайцев. За слово чести.

Он направился к входу в академию.

— Вы куда? — обомлел Зайцев.

— Отчет только допишу и...

— Какой отчет? У вас уже нет работы, комнаты, родни. Вы уже никто. Вы не поняли меня? Вы с тех пор никто, как ваша фамилия появилась в этом списке. Прямо сейчас уходите.

— Я только пиджак...

— Да бросьте вы этот сраный пиджак! — рассердился Зайцев.

Трамвай тренькал — мимо грязноватыми углами тянулась Лиговка. От ветерка поземкой стелилась по мостовой пыль. Пассажиры дремали, прислонив головы к теплым стеклам. Лавки были заняты, но в середине стоял прозрачный параллелепипед воздуха. Солнце трогало кожаные петли, продетые наверху для удобства стоящих, и катушки билетов на пологой груди кондукторши — казалось, они качались от его прикосновений. Покачивался, постукивая деревянной дверью-гармошкой, вагон. Зайцев прикрыл глаза. Было одновременно легко и паршиво на душе.

Он думал об Артемове, о Журове. Что с ними будет? Что с ними со всеми будет? Только если правда война. Смоет грязь, ложь, взаимные счета, всю дрянь. Вынесет наверх настоящих героев. Или так думает он, потому что не видал настоящей войны?

Он провалил дело. Не удалось стать палкой в колесе: палку выбросило движением, а колесо покатило дальше, топча жертвы. Но все-таки хотя бы некоторых он из-под него сумел выдернуть. Вот такой теперь счет: одного спас — уже победа. Двух — триумф.

Зайцев открыл глаза и занялся тем, что всегда утешало хотя бы на время, — принялся разглядывать город, в котором знал каждую пядь. Убегали назад дома, столбы, женщины с вечными авоськами и вечной морщинкой между бровей. Убегала очередь в магазин, название которого он не успел прочесть. Убегали прохожие в кепках, тюбетейках, лысые, кудрявые. В пиджаках, цветастых платьях. Уносились прочь платочки и шляпки.

Женщина стояла, терпеливо дожидаясь, пока пройдет трамвай — чтобы перейти мостовую. Руки поверх шелкового платья — придерживают небольшой, но круглый живот извечным жестом всех будущих матерей. Знакомый камешек лица с вечным выражением принципиальности. Теперь на нем растерянность.

— Зоя! — страшно заорал Зайцев. Пассажиры пооткрывали глаза, вскочила, трясая бусами-катушками кондукторша. — Зоя! — схватился он за раму, рванул окно вниз.

Но трамвай уже нес его дальше.

Table of Contents

[Юлия Яковлева Укрощение красного коня](#)

[Начало](#)

[Глава 1](#)

[Глава 2](#)

[Глава 3](#)

[Глава 4](#)

[Глава 5](#)

[Глава 6](#)

[Глава 7](#)

[Глава 8](#)

[Глава 9](#)

[Глава 10](#)

[Глава 11](#)

[Глава 12](#)

[Последняя глава](#)

